



научно-
атеистическая
библиотека

Б. Фонтенель

Рассуждения
о религии,
природе
и разуме





Научно-
атеистическая
библиотека

Б. Фонтенель

Рассуждения
о религии,
природе
и разуме



Москва
«Мысль»
1979

Редакционная
коллегия серии:

доктор
философских наук
А. Ф. Окулов
(председатель),
доктор
философских наук
Х. Н. Момджян,
доктор
философских наук
А. Д. Сухов,
кандидат
исторических наук
Г. С. Лялина
(ученый секретарь)

Ответственный
редактор тома
и автор
вступительной
статьи
доктор
философских наук
Х. Н. Момджян

Составитель,
переводчик,
автор примечаний
и указателя имен
кандидат
филологических
наук

С. Я. Шейнман-Топштейн

Ф $\frac{10509-142}{004(01)-79}$ БЗ-16-31-79. 0302010000

У истоков
французского
Просвещения XVIII века

Среди выдающихся мыслителей, подготовивших французское Просвещение XVIII в., важное место принадлежит *Бернару Ле Бовье де Фонтенелю*. Многогранно образованный, талантливый и прозорливый Фонтенель много сделал для расшатывания основ феодально-клерикального мировоззрения и подготовки того идейного революционного потока, которому было суждено стать введением к французской революции конца XVIII в.

В полной мере можно согласиться с одним из видных знатоков жизни и творчества Фонтенеля, Робертом Шеклтоном, когда он пишет: «Восходя к Монтеню и Шаррону, Джордано Бруно и Кампанелле, к ученым-вольнодумцам начала XVII в., Фонтенель перебрасывает мост также и к Монтескье (которого он пережил физически), к Вольтеру и Гольбаху и является живой иллюстрацией развития мысли от Ренессанса до революции»¹.

Выходец из аристократической среды, он стал защитником новых, прогрессивных идей, страстным пропагандистом достижений естественных наук своей эпохи, глашатаем передовой философской мысли. Отстаиваемые Фонтенелем идеи — открыто или замаскированно, прямо или иносказательно, со многими оговорками и вынужденными отступлениями — были заострены против феодальных отношений и институтов, против деспотизма и религии.

* * *

¹ *Fontenelle. Entretiens sur la pluralité des mondes*. Ed. by Robert Schackleton. Oxford, 1955, p. 28.

Фонтенель прожил долгую жизнь — целых сто лет. Родился он в 1657 г. во французском городе Руане, в семье среднего достатка. Отец Фонтенеля был адвокатом при местном судебном учреждении. Юноша Фонтенель окончил иезуитский колледж в родном городе. Воспитание не дало ожидаемых результатов. У пытливового, любознательного ученика оно не столько закрепляло религиозную веру, сколько порождало скепсис, тысячу вопросов, на которые было бы бесполезно искать ответы в «священных книгах» и в изощренных софистических рассуждениях отцов церкви. По свидетельству одного из наиболее осведомленных биографов Фонтенеля, Ж.-Р. Карре, воспитанник иезуитского колледжа прониклся «нечестивыми мыслями», которыми он делился только с матерью, приводя ее в содрогание¹.

Отец Фонтенеля рассчитывал, что сын пойдет по его стопам и станет преуспевающим адвокатом парламента. Однако сын явно тяготел к литературе и науке. Интерес молодого Фонтенеля к художественной литературе, к театру, по всей вероятности, был обусловлен тем, что знаменитый Пьер Корнель был дядей Фонтенеля по линии матери и не мог не оказать влияние на племянника. Имело значение и то обстоятельство, что другой дядя по материнской линии, Томас Корнель, также был связан с литературой и издавал известный в свое время журнал «*Mercur galant*».

В 1674 г. Фонтенель приезжает в Париж и обосновывается в доме братьев Корнель. Однако он не порывает связи и с Руаном, часто возвращается в родной город — размышлять и работать в тиши. Он получает возможность наблюдать панораму экономической, социально-политической и духовной жизни современной ему Франции из столицы.

Блеск двора Людовика XIV — «короля-Солнца» — не мог скрыть начавшийся кризис феодального строя. Такова была диалектика эпохи, что французский абсолютизм — порождение и опора развитого феодализма — многими сторонами своей деятельности, в частности меркантилистской политикой, объективно содействовал

* * *

¹ J.-R. Carré. La philosophie de Fontenelle ou sourire de la raison. Paris, 1932, p. 490.

развитию капиталистических отношений, росту и укреплению французской буржуазии, которая и возглавит борьбу против того же феодализма.

Феодальная система пыталась разрешить свои противоречия за счет народа, прибегала к войнам. Фонтенель наблюдал и грозные народные восстания, для подавления которых власти еще располагали силой. Все предвещало необходимость коренных перемен в важнейших сферах общественной жизни.

Развивающийся капитализм нуждался в рационалистическом мировоззрении, в научном познании для реализации своих экономических и социальных задач, и Фонтенель видел растущее противоборство между реакционными и передовыми идеями XVII в. Это противоборство особенно обострилось в сфере духовной жизни — литературе, искусстве, науке, философии.

Выдающиеся открытия Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона, Декарта расшатывали религиозную картину мира. Ко времени Фонтенеля французские традиции свободомыслия и атеизма были уже представлены такими именами, как Монтень, Гассенди, Бейль. Новые идеи, рожденные экономическим и социальным прогрессом, теснили схоластическое мышление, религиозно-мистическое миропонимание, отстаивали более справедливые взаимоотношения между людьми, более широкие границы свободы человека.

В этой обстановке начинает формироваться мировоззрение молодого Фонтенеля. Возможно, в его интеллектуальной ориентации определенную роль сыграла идейная направленность трагедий П. Корнеля — рационализм, попытки развенчать монархов-тиранов, некоторые симпатии к народным восстаниям, сочувствие к страдающему народу (трагедия «Никомед»).

В Париже Фонтенель приступил к писанию работы по истории французского театра, а также очерка о жизни и творчестве П. Корнеля.

С 1677 г. Фонтенель начинает печатать свои стихотворные произведения на страницах «*Mercure galant*», создает тексты двух опер, музыка к которым пишется известным в свое время композитором Жан-Батистом Люлли. Он пробует свои силы и в области драматургии, но без особого успеха.

Фонтенель сосредоточивает внимание на изучении проблем науки и философии, которые, кстати сказать, никогда не переставали его занимать. Большую часть времени он вновь проводит в родном Руане, не отрываясь от интеллектуальной жизни столицы.

Можно с уверенностью сказать, что восьмидесятые годы XVII в. были временем расцвета творческих сил Фонтенеля. В течение этого десятилетия опубликованы важные его труды. Так, в 1683 г. появились «Диалоги мертвых», где в осторожной форме Фонтенель высказывал скептические по отношению к господствующим идеям мысли. При всей умеренности «Диалогов мертвых» они вызвали довольно оживленные споры. «Блюстители веры» были раздражены духом книги, но для грозных обвинений автору не было оснований. Фонтенель уже освоил искусство идеологического камуфляжа. Он вполне научился писать «между строк». Через год Фонтенель издает «Суждение Плутона», где почти не скрывает свое удовлетворение шумом, который произвели «Диалоги мертвых», и как бы потешается над теми, кто хотел, но не имел основания на деле «проучить» нарушителя спокойствия.

Только в течение 1686 г. Фонтенелем были опубликованы такие известные его работы, как «Сообщение об острове Борнео», «Рассуждения о множественности миров», «Сомнения по поводу физической системы окказионализма», «История оракулов», «Отступление по поводу древних и новых» и др.

В «Сообщении об острове Борнео» Фонтенель, рассказывая о нелепой гражданской войне между сторонниками двух претенденток на престол — Мрео и Ээнгю — на далеком восточном острове, в действительности зло высмеивает современные ему династические и религиозные войны в Европе (в частности, пародирует войну между Елизаветой Английской и Марией Стюарт), показывает тяжкие последствия этих войн для простого народа.

«Рассуждения о множественности миров» относятся к числу самых острых антирелигиозных произведений Фонтенеля. Опираясь на достижения астрономии, вслед за мучеником науки Джордано Бруно Фонтенель делает важнейшие мировоззренческие выводы из гелиоцентри-

ческой системы Коперника, опрокидывающей библейские измышления о Земле как центре Вселенной.

«История оракулов», направленная против невежества, обмана и издевательства над здравым разумом со стороны представителей языческих религий, в действительности имеет своим объектом критики само христианство, его противоречия, мистику, алогизм.

Работа Фонтенеля о научном творчестве Декарта и Ньютона, исследования по математике, исторические труды, статьи, посвященные доказательству превосходства новой литературы над литературой древних, снизили ему славу и известность: в 1691 г. он был избран членом Академии наук, а с 1699 г. занял пост бессменного секретаря Академии. Может возникнуть вопрос: каким образом Фонтенель при своих взглядах, которые не очень-то согласовались с господствующей религией, мог достигнуть столь высокого научного признания? Отметим, что его многократно «проваливали» при выборах в Академию. Успех его был обеспечен блестящими дарованиями, которые уже трудно было замолчать. Сказались также тесные связи Фонтенеля с выдающимися французскими учеными-современниками. И наконец, сам Фонтенель в границах возможного не стремился обострять личные отношения с властью имущими, а порой бывал вынужден идти на тактические уступки.

Высокое признание не могло привести Фонтенеля к выбору более «спокойной» жизни. Он трудился до глубокой старости. Создал многотомный труд по истории французской Академии наук, о ее видных представителях. Не утратил он интерес и к физике, математике, философии, много работал над философским истолкованием декартовского учения о вихревых движениях.

Фонтенель стал свидетелем взлета антифеодальной просветительской мысли XVIII в., вторжения идей Монтескье и Вольтера в духовную жизнь Франции. Более того, он стал свидетелем широкой пропаганды материализма и атеизма.

Французские просветители XVIII в. с чувством глубокого уважения и признательности произносили имя Фонтенеля, своего предшественника и современника. Они с пониманием относились к его вынужденному эзоповскому языку, мерам предосторожности, к которым

он прибегал. «...Фонтенель,— писал Гельвеций,— всегда говорил, что, *если бы все истины были зажаты в его руке, он поостерегся бы разжать ее, чтобы показать их людям.* Действительно, если открытие одной истины привело Галилея в тюрьмы инквизиции, то к каким пыткам присудили бы того, кто открыл бы их все?»¹

Скончался Фонтенель в январе 1757 г. в Париже, оставив богатое научное, литературное и философское наследие.

Большой отклик имело просветительское творчество Фонтенеля в России XVIII—XIX вв. Русская интеллигенция очень рано получила возможность читать его не только в оригинале, но и в прекрасных, по тому времени, переводах Антиоха Кантемира («Разговоры о множестве миров». Спб., 1740), Ивана Бутовски («Разговоры в царстве мертвых древних и новейших лиц». Спб., 1821). О том, насколько популярен был Фонтенель в среде передовых представителей русского общества (декабристы, Пушкин), свидетельствуют и эти переводы, и то место из «Евгения Онегина», где Фонтенель назван в числе самых значительных философов XVII—XVIII вв., книги которых составляли любимое чтение Онегина.

Переводы Фонтенеля с французского на русский язык — явление русской общественной жизни, не знавшее в те времена аналогий в истории западноевропейских литератур; имея полную возможность читать сочинения французского философа в оригинале, просветители России заботились о распространении его прогрессивных идей среди самого широкого русского читателя.

* * *

Фонтенель не оставил после себя многотомных специальных философских трудов со систематическим и детальным анализом теоретико-познавательных проблем, с разбором и классификацией основных философских категорий и понятий. Он и не претендовал на звание профессионального философа. Это не мешает нам, однако, говорить о философском наследии Фонтенеля, т. к. французский мыслитель достаточно отчетливо определил свои

* * *

¹ Гельвеций. Сочинения в 2-х томах, т. 1. М., 1974, стр. 299.

позиции в философском осмыслении мира и сформулировал их.

Каковы были эти позиции? Отметим предварительно, что из всех своих предшественников Фонтенель, пожалуй, сильнее всего испытал на себе влияние Декарта. Но какого Декарта: физика или метафизика? Все симпатии Фонтенеля были на стороне физики Декарта. Вспомним, что Декарт, по словам Маркса, «совершенно отделил свою *физику* от своей *метафизики*. В *границах* его физики *материя* представляет собой единственную *субстанцию*, единственное основание бытия и познания»¹.

Можно с уверенностью сказать, что материалистическая тенденция в философском мышлении Декарта составляет основу мировоззрения Фонтенеля². Со многими оговорками, открыто не отвергая бога, часто под прикрытием деистической панацеи, Фонтенель твердо руководствуется положением, согласно которому материя вечна, бесконечна, неуничтожима, а все существующее есть форма бытия единой материи.

Эта идея несотворенности материи отстаивается во многих работах Фонтенеля. Так, в «Истории оракулов» Фонтенель апеллирует к Цицерону, который, полемизируя с легковверными людьми, утверждал: «Поверьте мне, вы полностью разрушаете науку о природе, для того чтобы защитить искусство гаруспиков. Это не может быть естественным ходом природы, благодаря которой все рождается и умирает: ведь таким образом окажется, что некоторые тела возникают из небытия и в него возвращаются. Кто из физиков когда-либо поддержит такое мнение? Однако гаруспики его поддерживают».

Приводя высказывания о невозможности возникновения тел из ничего и превращения их в ничто, Фонтенель подчеркивал атеистический характер такой

* * *

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 140.

² А. Калам, вслед за многими исследователями Фонтенеля, утверждает: «Главным образом у Декарта он черпал свои научные познания. Он убежденный картезианец и до конца жизни останется верным физике Декарта» (*Fontenelle. Entretiens sur la pluralité des mondes. Edition critique avec une introduction et des notes par A. Calam. Paris, 1966, p. XX*).

постановки вопроса. Он писал: «Я привел это место из Цицерона лишь для того, чтобы показать, с какой необычайной свободой он нападает на религию, которую сам исповедует».

Оставаясь строго в границах физики Декарта, правда не всегда последовательно и откровенно, Фонтенель пытается понять мир, не выходя за его пределы, не прибегая к вымышленным сверхъестественным объяснениям, к мистическим силам.

Он в основном не вышел за границы механистического понимания движения материи, но даже такое ограниченное понимание движения он считал достаточным, чтобы объяснить многообразие мира, не апеллируя к несуществующим, иррациональным феноменам. Добавим к сказанному, что не всегда Фонтенель рассматривал движение как перемещение тел в пространстве. Мы встречаем у него мысли о том, что движение совпадает с понятием изменения. Так, в «Рассуждениях о множественности миров» Фонтенель пишет: «Все тела, даже самые плотные, подвержены всяческому изменению — либо под влиянием скрытого в них невидимого движения, либо под влиянием воздействия извне»¹.

Этот тезис, развитый французскими материалистами XVIII в., будет использован ими для полного изгнания бога из природы и общества. Материя, скажут они, не нуждается ни в каких сверхъестественных силах, чтобы породить все многообразие мира, — вывод, правда не столь зримо присутствующий и в философских размышлениях Фонтенеля.

Наиболее отчетливо материалистическая ориентация философии Фонтенеля обнаружилась в его критике окказионализма и платоно-августинского идеализма, которые защищались Мальбраншем и картезианцами, опиравшимися не на физику, а на метафизику Декарта. Мальбранш и его единомышленники с помощью понятия бога пытались объяснить взаимодействие между телом и душой. Идеи, с их точки зрения, порождаются не в результате воздействия объективно существующих вещей на органы чувств человека. Материальный мир, полагали

* * *

¹ Б. Фонтенель. Рассуждения о множественности миров. Настоящее издание, стр. 111 (далее цитируется по настоящему изданию).

Мальбранш и его сторонники, осваивается с помощью идей, которые созерцаются людьми в боге.

Не отбрасывая на словах идею бога как источника знания, Фонтенель достаточно последовательно осваивает принципы материалистического сенсуализма локковского толка, рассматривает идеи как продукт воздействия внешнего мира на органы чувств человека. Не только онтологически, но и в гносеологическом аспекте он пытается преодолеть дуализм Декарта — допущение двух самостоятельных субстанций. Осторожно, с привычными оговорками, часто со ссылкой на самого бога Фонтенель желает внушить мысль, что нет двух субстанций — духовной и материальной. Мир един, существует только одна материальная субстанция, обнаруживающая себя в бесконечных модификациях. Не трудно заметить, что защищаемая Фонтенелем позиция близка по существу к монизму учения Спинозы. С этих позиций Фонтенель отвергает окказионалистскую мистическую концепцию с ее постоянной апелляцией к богу, чтобы объяснить всякие изменения в природе и в поведении человека.

Отбросив дуализм, Фонтенель пробует доказать: духовный мир человека есть порождение мира реального, телесного. Все идеи имеют свои корни в реальной действительности. Мы уже отметили роль локковского сенсуализма в формировании теории познания Фонтенеля. Но объяснение идей воздействием внешнего мира на сознание человека, подчеркивает он, было одним из достижений уже античной философии, которая утверждала, «что все, находящееся в нашем уме, пришло туда через ощущение»¹. Однако Фонтенель не идет по линии огрубленного сенсуализма. Познание не исчерпывается, по его мнению, только чувственным восприятием мира. Ум человека перерабатывает полученные ощущения, создает представления и понятия, все время сверяя свои духовные конструкции с их объективной моделью.

«Оперируя первыми идеями, порожденными чувствами,— пишет Фонтенель,— добавляя к ним что-то и что-то от них отнимая, делая их из частных всеобщими, а из всеобщих еще более всеобщими, ум образует их

* * *

¹ Б. Фонтенель. Фрагменты трактата о человеческом разуме. Настоящее издание, стр. 255 (далее цитируется по настоящему изданию).

настолько отличными от их первоначального вида, что иногда бывает очень трудно проследить их происхождение. Однако тот, кто хочет схватить всю нить и точно за ней проследить, всегда возвращается от идеи более возвышенной и отвлеченной к некоей чувственной, грубой идее»¹. Мы увидим дальше, что этот материалистический сенсуализм будет использован Фонтенелем, чтобы низвести «возвышенную божественную идею» на грешную землю, объяснить формирование образа бога условиями реальной примитивной жизни людей.

Фонтенель, строго придерживаясь материалистически толкуемого сенсуализма, отвергает вслед за Локком врожденные идеи. Все идеи без исключения заимствованы из опыта, порождены опытом. Все аксиомы также образовались многократным подтверждением каких-то истин опытом.

Таким образом, духовная жизнь, мир идей есть порождение внешнего материального мира. Это и есть убеждение, «символ веры» Фонтенеля. Но этот подход к проблеме противоречит установкам господствующей религии, богословия, официальной философии. Чтобы «обойти» их, Фонтенель прибегает к приему не очень-то новому: он слово в слово повторяет, как слова молитвы, прописные истины благочестия: бог дал законы мышления, бог «дал уму главную мысль, которая различно преобразуется под влиянием воздействия частных объектов на ум»². Первая часть фразы — для святош; вторая выражает позицию Фонтенеля: «частные объекты», т. е. внешние вещи, формируют мысль.

К этому же приему прибегает Фонтенель, чтобы отстоять очень дорогую для него идею единства материи и движения. Бог, пишет он, «дал материи главное движение, которое затем различным способом преобразуется в ее частях, по мере того как они между собою сталкиваются»³. Это деистическое утверждение является для Фонтенеля средством избавиться от религии и с помощью идеи движущейся материи объяснить многооб-

* * *

¹ Б. Фонтенель. Фрагменты трактата о человеческом разуме, стр. 255.

² Там же, стр. 257.

³ Там же.

разные изменения, которые происходят во всем мире. Как и Декарт, Фонтенель оперирует механически понятым движением, но для его времени и такая постановка была огромным шагом вперед в воспроизведении научной картины мира. Принципу единства материи и движения Фонтенель придавал исключительное значение в познании и объяснении мира, не прибегая к каким-либо сверхъестественным, мистическим объяснениям.

Многие авторы, писавшие о Фонтенеле, упрекали его за чрезмерную преданность духу и букве физики Декарта и тогда, когда развитие науки показало неправомерность «теории вихрей» в декартовском толковании. Более того, Фонтенель выступил против ньютоновского принципа действия на расстоянии. Эти упреки основательны, но важно отметить, что неприязнь и непринятие принципа действия на расстоянии было продиктовано мировоззренческими соображениями. Фонтенель боялся каких-нибудь мистических выводов из учения Ньютона. На это обстоятельство правильно обращает внимание Александр Калам. «Если до конца жизни,— пишет он,— Фонтенель враждебно относился к гравитации, то это было продиктовано философскими соображениями. Он считал опасным это действие на расстоянии для своего рационализма»¹.

Это, конечно, не оправдывает Фонтенеля. Он не сумел по достоинству оценить мировоззренческое значение великих открытий Ньютона. Ничто здесь в главном, решающем не угрожало научному, рационалистическому объяснению мира. Но в каком-то плане эта ошибка Фонтенеля была продиктована непримиримостью ко всем попыткам подменить рационалистическое, научно-атеистическое объяснение процессов и явлений сверхъестественными, спиритуалистическими причинами.

Научно-материалистические позиции Фонтенеля предопределяли его принципиально враждебное отношение к агностицизму. С большой убежденностью Фонтенель возвеличивал человеческий разум, его неограниченные возможности в познании сущности вещей, в постижении тайн природы. С ростом научного знания он связывал лучшее будущее человечества, освобождение от

* * *

¹ Fontenelle. Entretiens... Introduction de A. Kalame, p. XXI.

невежества, предрассудков, от ложно понятых правил жизни, которые делают людей слабыми и несчастными. «...Наш ум, — писал Фонтенель, — может иметь бесконечное число степеней постижения и при этом иметь отчетливые идеи... может воспринимать отчетливые идеи все больших и больших объектов...»¹

Этот познавательный оптимизм Фонтенеля неразрывно связан с декартовским скепсисом, с необходимостью усомниться во всем, с тем чтобы глубже и всестороннее познать истину. Фонтенель близко подходит к глубокой мысли, что познание безгранично, как безграничен мир. Многие положения, которые в одну эпоху воспринимаются как истины, в другую эпоху обнаруживают свою несостоятельность или же уступают место более глубоким истинам. Эти рассуждения об относительности истины нигде в работах Фонтенеля не сводятся к абсолютному релятивизму в области познания, являющемуся оборотной стороной агностицизма.

В споре о достоинствах литературы древних и современных Фонтенелю народов французский мыслитель развил свои взгляды на историчность познания. Человеческая культура, научное знание, по твердому убеждению Фонтенеля, детерминированы всей совокупностью жизненных условий народов. «Все, что мог сделать Архимед на заре человечества, — писал Фонтенель, — это изобрести плуг; Архимед, перенесенный в иную эпоху, сжигает римские суда с помощью зеркал — если только это не миф»².

Фонтенель достаточно последовательно отстаивал идею непрерывности расширения и углубления человеческих знаний. Каждое новое поколение вносит свой вклад в сокровищницу мировой культуры и создает необходимые условия для того, чтобы последующее поколение, опираясь на созданное, продвинулось еще дальше в познании мира, в создании новых культурных ценностей.

«Хорошо развитый ум... — отмечает Фонтенель, — складывается из всех умов предшествующих веков: его

* * *

¹ Б. Фонтенель. Фрагменты трактата о человеческом разуме, стр. 261.

² Б. Фонтенель. Отступление по поводу древних и новых. Настоящее издание, стр. 176 (далее цитируется по настоящему изданию).

можно считать одним и тем же умом, воспитывающимся на протяжении всего этого времени»¹. Условно отождествляя все человечество с одним-единственным человеком, Фонтенель продолжает свою мысль: «...Человек этот, живший от начала мира до наших времен, имел свое детство, в течение которого он был занят только самыми насущными своими нуждами, и свою юность, во время которой он достаточно хорошо преуспел в области воображения, то есть в поэзии и красноречии, и даже начал понемногу рассуждать, хотя и не очень солидно, но с жаром. Сейчас он находится в поре возмужалости, когда он рассуждает сильнее и просвещен больше, чем в прежние времена...»² Фонтенель достаточно ясно осознает препятствия, которые сдерживают развитие человеческого познания. В цитируемом произведении он воздерживается называть вещи своими именами, указывать на армию реакционеров, защитников социальной несправедливости, воинствующих мракобесов. Фонтенель робко называет здесь разрушительные войны, которые сдерживают нормальное духовное развитие народов. Он знает силу ретроградов, но не теряет веру в восходящее развитие человеческого интеллекта. «...Люди,— пишет он,— никогда не вырождаются, и здравые взгляды людей светлого ума будут, следуя друг за другом во времени, объединяться и взаимно друг друга поддерживать»³.

Мы имели возможность видеть, что материалистическая в основе своей философия Фонтенеля, его возвышенный рационализм, стремление познать природу такой, какова она есть, без всякой примеси иррационализма, вера в неисчерпаемые возможности прогресса человеческого разума воплощали в себе самые сокровенные принципы и идеалы французского Просвещения XVIII в.

* * *

Критика религии и церкви, данная в трудах Фонтенеля, является одной из ярких страниц в истории

* * *

¹ Б. Фонтенель. Отступление по поводу древних и новых, стр. 183.

² Там же, 183—184.

³ Там же, стр. 184.

свободомыслия и атеизма. Трудно переоценить подвиг Фонтенеля, если учесть, что все его работы вышли не анонимно, не под вымышленными фамилиями, не за пределами Франции, а под его собственным именем. Это обстоятельство должно было вынудить французского мыслителя, касаясь вопросов веры, предпринимать особые усилия, чтобы не стать жертвой фанатиков.

В таких условиях Фонтенель должен был широко прибегать к достаточно испытанному приему. Он изображал дело так, что воюет не против религии вообще, не против «истинной религии» — католицизма, а против «ложных учений», против дохристианских языческих верований и враждебных католицизму религий и т. п. Многие христианские церковники, возможно, догадывались о настоящих намерениях «защитника» ортодоксии, но у них не было достаточно формальных оснований, чтобы раздобыть для «нечестивца» место в Бастилии.

Если отбросить все условия, к которым был вынужден прибегать Фонтенель, то становится ясным, что он воевал против всякой религии, отвергал идею сверхъестественного — основную идею религиозного мировоззрения, отбрасывал понятие чуда.

В критике религии исходным пунктом для Фонтенеля была едва замаскированная материалистическая и атеистическая идея: материя вечна, бесконечна и исключает возможность своего возникновения и исчезновения; материя развивается по собственным естественным законам, которые никем не могут быть нарушены, подменены, упразднены.

Борясь против религии, Фонтенель подчеркивал ее фантастичность, иррациональность. Религия неотделима от вымышленных фактов и ситуаций, от веры в чудесное, от грубых или утонченных суеверий.

Как и все представители домарксистского просветительского атеизма, он не имел еще последовательно научных представлений о происхождении и развитии религии, о ее социальных корнях. Французский вольнодумец удовлетворялся утверждением, что религия возникла и развилась в результате господства невежества, незнания истинных причин явлений. Другим источником религиозных верований Фонтенель считал сознательный обман людей со стороны служителей религиозного культа

в корыстных своих интересах. Иногда в качестве одной из причин возникновения религиозных заблуждений он называл страх людей перед грозными и неразгаданными природными явлениями.

Религия, по Фонтенелю, не только порождена невежеством, но и мешает людям приобщиться к знаниям, не дает человеку увидеть вещи такими, каковы они суть. Во имя прогресса религиозные предрассудки должны быть отеснены, если уже невозможно избавиться от них полностью. Таково его твердое убеждение.

Фонтенель был лишен возможности показать антинаучность христианских представлений, дать критику нелепых чудес, которыми полны страницы Ветхого и Нового заветов. Но никто не мог помешать Фонтенелю поднять на смех идею сверхъестественного, мистического, неразумного на примерах языческих религий с расчетом, что мыслящий читатель сумеет в критике языческих нелепостей увидеть и нелепости христианской догматики.

Так родилась, очевидно, идея книги Фонтенеля «История оракулов» и логически примыкающей к ней работы «О происхождении мифов».

Фонтенель отвергает в принципе идею богоданности религии, ее сверхъестественного происхождения. Корни религии в грешной земле. Религия порождена человеческим сознанием. Люди создали богов в соответствии с духовным своим развитием, в соответствии со своими нуждами и чаяниями. «Язычники ... творили своих богов по собственному своему образу и подобию. По мере того как люди становились более совершенными, такими же становились их боги. Древнейшие люди были очень грубы и неотесанны и больше всего почитали силу; значит, и боги должны были быть столь же неотесанными и лишь чуть-чуть более сильными. Таковы были времена Гомера»¹.

Продолжая свою мысль, Фонтенель утверждает, что по мере усложнения жизни людей, их духовного прогресса изменяются соответственно и их боги. Они уже во времена Цицерона обладают не только большей,

* * *

¹ Б. Фонтенель. О происхождении мифов. Настоящее издание, стр. 192 (далее цитируется по настоящему изданию).

чем люди, физической силой, но наделены мудростью и справедливостью, превосходящими мудрость и справедливость простых смертных. По мере своего развития религиозные учения становятся более утонченными и менее примитивными, но на всех этапах эволюции религия отражает степень и размеры темноты и невежества людей, и в первую очередь, замечает Фонтенель, простого народа.

«Чем больше люди невежественны,— пишет Фонтенель,— и чем меньше у них опыта, тем скорее им всё представляется чудом. Первые люди были склонны усматривать чудеса почти что во всем»¹.

Возникновение и развитие религиозных представлений Фонтенель связывает не только с низким уровнем познавательных возможностей, но и с бессилием людей перед воображаемыми существами, которые во всем на них похожи, но превосходят их в силе. «Люди,— пишет Фонтенель,— отлично понимали, сколь много вещей они были не в состоянии сделать: метать молнии, поднимать ветры, волновать морские воды — все это было выше их власти. Тогда они вообразили себе существа, более могущественные, чем они сами, обладающие властью вызывать все эти грандиозные явления... И вот перед нами люди со всеми их человеческими особенностями, разве только они всегда чуть-чуть могущественнее людей»².

Конечно, современная наука далеко шагнула вперед в объяснении происхождения религии, в раскрытии ее социальных и гносеологических корней, в установлении наиболее примитивных форм религиозного сознания, в определении их особенностей и т. п. Но это обстоятельство не может умалить роль Фонтенеля в защите прогрессивных для его века взглядов на религию и на причины ее возникновения. Многие из этих идей, в первую очередь объяснение происхождения религии земными условиями существования людей, антропоморфная концепция возникновения богов, сохраняют и ныне свою ценность. Отметим и другое обстоятельство. Перед вдумчивым читателем Фонтенеля не мог не возникнуть вопрос: если людская фантазия лепила образы богов, то

* * *

¹ Б. Фонтенель. О происхождении мифов, стр. 189.

² Там же, стр. 191.

составляет ли исключение библейский бог и его сын, ниспосланный на землю, чтобы искупить первородный грех людей? И действительно, пройдет ряд десятилетий, и наука поставит вопрос о мифичности Христа.

С особой остротой, можно сказать, с беспощадностью Фонтенель разоблачил роль религии и духовенства в обмане людей в названной уже нами работе «История оракулов». Книга раскрывает удивительную картину, с одной стороны, легковерия людей, их поразительной наивности и доверчивости, а с другой — картину ухищренного, бесстыдного обмана простаков. Прodelки жрецов, жриц, оракулов, так называемых демонов и т. п. в эпоху кризиса Римской империи все время напоминают о сходных делах христианского духовенства времен Фонтенеля. Не вызывает сомнения, что Фонтенель интересовали не только и, быть может, не столько жрецы и жрицы Древней Греции и Рима, сколько Христово воинство, призванное если не вещанием и гаданием, то иными приемами и средствами манипулировать сознанием огромной массы верующих, держать их в темноте и в покорности.

Рискуя выдать истинные свои цели, Фонтенель временами весьма неосторожно пишет о влиянии языческих религиозных и философских идей на формирование христианской религии, на проникновение даже мошеннической практики оракулов в среду первых христиан. Вопреки официальным христианским установкам Фонтенель пытается говорить о земных истоках «боговдохновенной» христианской религии, о языческих философах, которые содействовали ее формированию.

Особое место в атеистическом наследии Фонтенеля занимают его знаменитые «Рассуждения о множественности миров». В этой работе Фонтенель, опираясь на великие достижения астрономии, на научное наследие Галилея и Коперника, на философско-атеистические идеи Джордано Бруно, пытается с максимальной возможностью использовать крах геоцентрической системы для подрыва авторитета религии, для дискредитации религиозной картины мира.

Обращает внимание тот факт, что Фонтенель не желает писать трактат, который был бы доступен лишь узкому кругу ученых. В духе Просвещения он желает

писать так, чтобы его прочитал и понял возможно больший круг людей.

Фонтенель отлично понимает, что идея о множественности миров и существовании разумных существ за пределами нашей Земли, прямое отрицание геоцентрической системы, которая освящена авторитетом Священного писания, приводит его к достаточно откровенному столкновению с религией. Он отчетливо сознает рискованность своего предприятия и тем не менее восстает против вековых заблуждений. На всякий случай и в этой ситуации он говорит несколько «душеспасительных» слов, успокаивает защитников религии, что его «рассуждения» не так уж опасны для церкви. Фонтенель пишет: «Мне остается в этом предисловии обратиться к одному определенному роду людей, но, возможно, это именно те, кому труднее всего угодить. И не потому, что нельзя привести им достаточно веских доводов, но потому, что они наделены привилегиями и не считаются ни с какими вескими доводами, если им это не угодно. Люди эти педантичны и могут усмотреть опасность для религии в предположении, будто существуют обитатели других миров»¹. Далее, очевидно не без улыбки, Фонтенель писал, что он с предельной деликатностью и уважением относится ко всему тому, что касается религии. Более того, он заверяет, что почитает религию, избегает задевать ее и в новом своем произведении, если даже его «убеждения с нею расходятся»². Чтобы придать хотя бы видимость серьезности своим заверениям относительно того, что допущение существования других миров и их обитаемости не противоречит библейским сказаниям о создании богом человека на Земле, Фонтенель заявляет: «Когда вам говорят, что Луна обитаема, вы тотчас же воображаете себе людей, сделанных по нашему образцу; и вот, если вы хоть чуточку теолог, вас начинают одолевать сомнения»³. Дальше Фонтенель объясняет, что жители Луны не являются потомками созданного богом Адама. Философ прибегает к идее единства и множественности материального мира, к прин-

* * *

¹ Б. Фонтенель. Рассуждения о множественности миров, стр. 71.

² Там же, стр. 72.

³ Там же.

ципу «бесконечного разнообразия, вложенного природой в свои творения»¹.

В центре «Рассуждений о множественности миров» критика докоперниковской космологии, легшей в основу библейских представлений о Вселенной, о Солнце, Земле, Луне.

Фонтенель, осмеивая эти антинаучные представления, одновременно осмеивает религию, которая узаконила и освятила их. Фонтенель не упускает случая упрекнуть самого бога — творца Вселенной, мирового порядка — мягко выражаясь, в некомпетентности. «Нагромождение всех этих орбит,— писал Фонтенель,— было столь велико, что во времена бны, когда не знали еще ничего лучшего, один кастильский король, великий математик и явный безбожник, сказал, что, если бы господь-бог, когда создавал мир, пригласил его на совещание, он мог бы дать ему несколько полезных советов»². Король-безбожник явно приводит в умиление Фонтенеля.

«Рассуждения о множественности миров» — это панегирик в честь Коперника и коперникианского переворота в науке. Коперник в оценке Фонтенеля — гениальный и отважный ученый, который поднял руку на все эти освященные религией орбиты и «плотные небеса». Он «разрушил» одни и «расколол на куски» другие. Охваченный благородной яростью, он берет Землю и отводит ее далеко от того места, которое было провозглашено центром Вселенной, точнее — центром нашей Солнечной системы. Он помещает в этот центр Солнце и заставляет Землю вращаться вокруг него, а Луну — вокруг Земли.

И дальше в течение пяти вечеров, беседуя с вымышленной «очаровательной маркизой», Фонтенель воспроизводит учение Коперника, показывая, какой неотразимый удар оно наносит основам религиозного мировоззрения, с какой убедительностью опровергает претензии религии на абсолютное знание, данное якобы самим богом.

Пропагандируемое Фонтенелем гелиоцентрическое учение не только лишало Землю того места во

* * *

¹ Б. Фонтенель. Рассуждения о множественности миров, стр. 72.

² Там же, стр. 81.

Вселенной, которое предоставляло ей освященное невежество, но и опрокидывало другое религиозное учение, согласно которому бог в своей «беспредельной доброте» все сотворил в интересах человека — «венца творения».

Осмеивая этот нелепый антропоцентризм, Фонтенель говорил своей воображаемой собеседнице: «...надо вам заметить, если угодно, что все мы от природы устроены так, как известный афинский сумасброд (о котором вы, без сомнения, слышали), вообразивший, будто все суда, причаливающие в гавани Пирей, принадлежат ему. Наше сумасбродство, в свою очередь, состоит в том, что мы также считаем, будто все в природе без исключения существует для наших нужд; и, когда у наших философов спрашивают, для чего нужно такое изобилие неподвижных звезд, половины которых было бы достаточно для выполнения их назначения, они вам холодно отвечают, что все эти звезды служат тому, чтобы радовать взор»¹. Точно так же Солнце и Луна вращаются вокруг Земли, чтобы принести тепло и свет людям. Но пришел Коперник и указал Земле и человеку то скромное место, которое они занимают во Вселенной. Великий астроном отменил вековые заблуждения, освященные именем самого бога и всесильных его служителей. Благо, замечает Фонтенель, Копернику не пришлось отчитаться перед богом и церковью. «...В день, когда ему принесли первый экземпляр его книги... он умер. Он не пожелал,— с мрачным юмором пишет Фонтенель,— терпеть все возражения, которые предвидел, и ловко вышел из игры»².

В «Рассуждениях о множественности миров» Фонтенель, вступая в противоречие с церковным учением, допускал возможность существования разумных существ на других планетах. Так, он полагал, что, возможно, Луна населена мыслящими существами. Но идея внеземных цивилизаций остается вполне обоснованной научной гипотезой, и можно лишь восторгаться смелостью мысли Фонтенеля, широтой его кругозора.

Руководствуясь принципом безграничности человеческого познания, убеждением в беспредельной твор-

* * *

¹ Б. Фонтенель. Рассуждения о множественности миров, стр. 80.

² Там же, стр. 84.

ческой потенции человека, Фонтенель выражал уверенность, что когда-нибудь человечество получит возможность выйти за пределы Земли, ступить на поверхность других небесных тел. Он писал: «Искусство летать только что народилось; оно усовершенствуется, и в один прекрасный день мы окажемся на Луне. В самом деле, можем ли мы претендовать на то, что уже всё изобрели или всё довели до такой точки, что уже ничего нельзя и добавить? Нет! Согласимся, пожалуй, что будущим векам еще осталось над чем поработать»¹.

Отметим в заключение, что Фонтенель, увлеченный философским осмыслением проблем естественных наук, в первую очередь философскими вопросами физики и астрономии, много меньше писал о социально-политических вопросах своего века. Но было бы ошибочно на этом основании создавать себе образ аполитичного, безразличного к проблемам своей эпохи человека. Уже одна его смелая борьба против феодально-клерикального мировоззрения не оставляет места для таких представлений.

В трудах философа достаточно отчетливо сказываются его политические симпатии и антипатии. Фонтенель отвергал деспотическую форму правления. Его симпатии на стороне того, что позднее обозначалось выражением «просвещенная монархия». Нам не известны сколько-нибудь категорические и откровенные высказывания мыслителя против основ феодального строя. Но увлеченная борьба Фонтенеля за науку, высказывания в пользу более рационально организованного общества, упразднения кричащих противоречий между роскошью и нищетой были, конечно, формой критики господствующего феодального порядка. Наиболее отчетливо, как мы уже отметили, эта критика выразилась в борьбе против идеализма и религии.

В «Рассуждениях о множественности миров» имеется отрывок, в котором Фонтенель задает вопрос себе и своей собеседнице, что они думали бы о земных порядках, если размышляли бы о них, будучи мыслящими жителями Луны. «...Могли бы мы вообразить, что здесь, внизу, живет этот странный вид живых существ, который

* * *

¹ Б. Фонтенель. Рассуждения о множественности миров, стр. 107.

именуют человеческим родом? Могли бы мы представить себе нечто имеющее столь безумные страсти и в то же самое время — столь мудрую рассудительность? Столь краткую жизнь и такой далеко видящий взгляд? Такие познания в почти бесполезных вещах и столько невежества — в самых важных? *Столь пылкую страсть к свободе и столь великую склонность к рабству? Столь великую жажду счастья — и не менее великую неспособность быть счастливыми?»*¹ В подчеркнутых строках Фонтенель достаточно отчетливо выражает, как нам представляется, глубокие противоречия своего времени. Он неоднократно возвращается к мыслям о неразумной организации людской жизни, об ее абсурдности. Речь явно идет о господствующих общественных отношениях. Фонтенель замечает: «...мы сами без конца себя наблюдаем и все-таки мы далеки от понимания нашего собственного устройства! Дошли до того, что стали говорить, будто боги были опоены нектаром, в то время как создавали людей, а когда они глянули на свою работу трезвым взглядом, они не могли удержаться от хохота!»² В этой шутке, представляется нам, речь идет не о физической и интеллектуальной несостоятельности человеческого рода. Боги Фонтенеля смеялись над общественными организациями людей, над порядками, которые эти последние установили и которым подчинились.

Фонтенель недостаточно конкретно сформулировал свои социальные идеалы, но отношение к феодальному порядку, к духовному насилию над людьми, к властвующей еще феодальной церкви, к бесконечным войнам, к расправам над массами, которые вынуждены прибегать к оружию, чтобы выжить, он выразил достаточно ясно. Эти идеи были услышаны и развиты деятелями французского Просвещения XVIII в., предшественником которых по праву был Фонтенель.

* * *

¹ Б. Фонтенель. Рассуждения о множественности миров, стр. 104. (курсив мой. — Х. М.).

² Там же.

Диалоги мертвых древних и новейших лиц

Анакреонт, Аристотель

Аристотель. Никогда бы не поверил, что сочинитель песенок дерзнет сравнить себя со столь славным философом, как я!

Анакреонт. Слишком уж большое значение придаете вы слову «философ»! Что касается меня, то я, со своими песенками, тем не менее зовусь мудрым Анакреонтом; и мне кажется, что титул философа ни в какое сравнение не идет со званием мудреца.

Аристотель. Да ведь те, кто дали вам это имя, не подумали даже о том, что они говорят. И что вы такого сделали, чтобы его заслужить?!

Анакреонт. Я только и делал, что пил, пел и влюблялся; и чудо состоит именно в том, что за это мне дали имя мудреца, тогда как вы получили лишь звание философа, стоившее вам бесконечных трудов. Поражаюсь, как это вы проводили ночи напролет, следуя тернистыми извилинами диалектики? Как вы насочиняли огромные тома, посвященные темным предметам, быть может, вам самому как следует не понятным?

Аристотель. Признаю, что вы выбрали более спокойный путь к мудрости; нужно было быть очень ловким человеком, чтобы достичь большей славы с вашей лютней и вашей бутылкой, чем самые великие люди достигают бессонными ночами и исследованиями.

Анакреонт. Вам кажется, что вы меня поддели; но уверяю вас, куда труднее пить и петь, как пил и пел я, чем философствовать так, как вы. Чтобы пить и петь, как я это делал, нужно было освободить свою душу от неудержимых страстей, перестать стремиться к тому, что

от нас не зависит, настроиться на такой лад, чтобы в любое время спокойно встретить свой час, когда он пробьет: короче говоря, прежде всего надо было кое-что в себе упорядочить. И хотя во всем этом не было ни капли великой диалектики, все же немалого труда стоило придти к намеченной цели. Но можно поступать и иначе: можно философствовать без особых издержек — и вы предпочли этот путь. При этом вовсе не нужно излечиваться ни от тщеславия, ни от жадности: вы обеспечиваете себе приятный доступ ко двору Александра Великого; вы получаете вознаграждение в пятьсот тысяч монет и вовсе не употребляете их на физические опыты, как это было задумано дарителем; одним словом, философия этого сорта приводит к взглядам, прямо противоположным философии.

Аристотель. Верно, здесь, под землю, с вами порядком позлословили на мой счет; и все-таки человек может считаться человеком только благодаря интеллекту, и на свете нет ничего прекраснее, чем поучать других, каким образом они должны им пользоваться для изучения природы и раскрытия всех тех тайн, что она нам предлагает.

Анакреонт. Вот как люди умеют поставить все вверх ногами! Философия сама по себе есть нечто прекрасное и может быть им очень полезна. Но поскольку она им мешает, когда вмешивается в их дела и пытается проводить с ними все время, упорядочивая их страсти, они приглашают ее на небо, дабы наводить там порядок среди планет, измеряя и рассчитывая их движения! Затем они низводят ее на землю, чтобы заставить ее исследовать все увиденное там ими. Наконец, они всегда стараются держать ее как только можно от себя подальше. Впрочем, поскольку они желают считаться философами, ничем не платя за эту славу, они ловко добиваются этого имени и чаще всего дают его тем, кто исследует естественные причины [явлений].

Аристотель. А какое же более подходящее имя могли бы они этим снискать?

Анакреонт. Философия имеет дело только с людьми и уж совсем не должна вмешиваться в прочие области Вселенной. Астроном мыслит о звездах, физик — о природе, философ же думает о себе. Но кто по-

желал бы быть философом на столь жестких условиях? Увы, почти никто. Итак, философов освободили от обязанности быть философами и удовольствовались тем, что они стали астрономами и физиками. Что до меня, то мне вовсе не улыбается необходимость погрязнуть в умозрениях; но я совершенно уверен, что во многих книгах, претендующих на звание философских, гораздо меньше философии, чем в некоторых песенках, которые вы так презираете. Например, в этой:

Коль золото бы продлевало жизнь,
Другого не имел бы я желанья,
Как золота скопить себе побольше.
Тогда, приди ко мне седая смерть,
Ее назад отправил бы я живо,
Ей дав сокровища мои в подарок.
Но если злая Парка
Того не позволяет,
Не нужно золота мне больше:
Любовь и дорогие яства
Украсят мой досуг.¹

Аристотель. Если вы желаете признавать философией лишь ту, что имеет дело с нравами людей, что ж: в моих трудах по вопросам этики² есть вещи, весящие не меньше, чем ваша песенка; ведь в конце концов непонятность, в которой меня обвиняли и которой в самом деле грешат некоторые мои книги, полностью отсутствует во всем том, что я написал по этому предмету. И весь мир признал, что нет ничего более прекрасного и очевидного, чем то, что я сказал о человеческих страстях.

Анакреонт. Какое заблуждение! Дело вовсе не в том, чтобы дать страстям определение по методу, который вам приписывают: дело в том, чтобы их побеждать! Люди охотно предоставляют философии рассматривать их несчастья, но не дают ей их исцелять. И они открыли секрет, как создавать этику, которая волнует их почти так же мало, как астрономия! В самом деле, можно ли удержаться от смеха, глядя, как люди проповедуют презрение к богатству за деньги и как трусы ведут споры об определении мужества!

Гомер, Эзоп

Гомер. В самом деле, нельзя выразить достаточно полного восхищения всеми теми баснями, которые вы мне только что прочли. Вы должны были владеть очень большим искусством, позволившим вам заложить в маленькие рассказы самые значительные, какие только есть, нравственные наставления, а также спрятать ваши мысли под столь правдивыми и безыскусственными образами, как эти.

Эзоп. Мне очень лестно получить похвалу за это искусство именно от вас: ведь вы так хорошо его понимали.

Гомер. Я? Никогда я этим не похвалялся!

Эзоп. Как! Разве вы не претендовали на то, что в ваших поэмах заключены великие тайны?

Гомер. Увы! Никогда и никоим образом.

Эзоп. Между тем все ученые моего времени это утверждали! Не было в «Илиаде» и «Одиссее» местечка, которому они не приписали бы самый блестящий аллегорический смысл. Они утверждали, что в ваших сочинениях заключены все тайны теологии, физики, морали и даже математики! Правда, им было несколько трудно эти тайны раскрыть: одни места содержали в себе нравственный смысл, другие — физический; но в конце концов они соглашались на том, что вам было известно решительно все на свете и вы поведали все это тем, кто мог хорошо вас понять.

Гомер. По правде сказать, я очень боялся, как бы некоторые люди не вздумали усмотреть некую тонкость там, где я ее и в мыслях не имел. Подобно тому как ничего не стоит пророчествовать о далеких событиях в ожидании их свершения, так ничего не стоит и рассказывать басни в ожидании их аллегорического истолкования.

Эзоп. Вы должны были обладать большой смелостью, если решились препоручить вашим читателям заботу об истолковании аллегорического смысла ваших поэм. В самом деле, что случилось бы с вами, если бы читатели поняли вас буквально?

Гомер. Пустяки, это было бы не таким уж великим несчастьем!

Эзоп. Как! Вы хотите сказать, что эти боги, калечившие друг друга, этот громовержец Юпитер, грозящий в собрании богов побить царственную Юнону, этот Марс, раненный Диомедом¹ и издающий вопль, равный по силе, согласно собственным вашим словам, крику девяти или десяти тысяч людей, хотя действует он в одиночку (ибо вместо того чтобы изрубить всех греков на мелкие кусочки, он забавляется тем, что бежит жаловаться на свое ранение Юпитеру), — вы говорите, что все это было бы прекрасным и в самом буквальном смысле?!

Гомер. А почему бы и нет? Вы воображаете, будто разум человеческий стремится к одной только истине. Перестаньте же заблуждаться! Человеческий разум и ложь в высшей степени друг другу симпатизируют. Коль скоро у вас есть правда, которую вы хотите поведать, вы очень хорошо сделаете, если преподнесете ее в оболочке басни: от этого она очень выиграет у читателя. Если же вы хотите поведать басню, то она больше понравится, коль скоро в ней не будет ни капли истины. Итак, истина должна принять образ лжи, чтобы человеческий разум воспринял ее с большей легкостью; что касается лжи, то она свободно входит в него под своим собственным обличем: ведь разум — место ее рождения и обычного пребывания, истина же для него — чужеземка. Скажу вам больше: если бы я даже лез из кожи вон, выдумывая аллегорические мифы, легко могло бы случиться, что большинство людей приняло бы басню за нечто вполне очевидное и пропустило бы скрытую там аллеорию; в самом деле, вам же известно, что мои боги — такие, какими я их вывел, — и все мои необычайные тайны вовсе не были сочтены смешными.

Эзоп. Это меня повергает в ужас! Я страшно боюсь, как бы не поверили в то, что звери умеют разговаривать: ведь они делают это в моих притчах!

Гомер. Какой забавный страх!

Эзоп. Увы! Если охотно поверили тому, что боги вели речи, вложенные вами в их уста, почему бы не поверить, что звери умели говорить так, как я заставил их это делать!

Гомер. О, это совсем не одно и то же. Людям приятно думать, что боги так же глупы, как они; но они

вовсе не хотят, чтобы звери могли сравниться с ними в мудрости.

Сократ, Монтень

Монтень. Это вы, божественный Сократ? Как же я счастлив вас видеть! Я только что прибыл в эту страну и с самого начала стал вас искать. В конце концов после того как я буквально испещрил всю свою книгу вашим именем и панегириками в вашу честь¹, я вправе рассчитывать на беседу с вами и на то, чтобы узнать, каким образом могли вы обладать столь *наивной*² добродетелью? Ведь *проявления* ее были до такой степени естественны! Это добродетель, не имевшая примеров даже в ваши счастливые времена!

Сократ. Мне очень приятно видеть мертвого, который, как мне кажется, был в жизни философом; но так как вы совсем недавно явились сюда сверху и так как давно уже я здесь никого не видал (меня ведь оставляют почти в одиночестве, да и не так уж все наперебой стремятся к беседе со мною), не сердитесь, если я спрошу у вас, что на свете есть нового. Как идет жизнь? И не произошло ли в ней каких-либо перемен?

Монтень. Перемены произошли очень резкие. Вы бы ничего не смогли узнать!

Сократ. Я в совершенном восторге! Я всегда считал, что жизнь должна измениться к лучшему и человечество должно стать мудрее — я разумею, мудрее, чем оно было в мое время.

Монтень. Что вы имеете в виду? Наоборот, оно поглупело и стало развратнее — гораздо более развратным, чем когда бы то ни было. Именно об этих переменах я говорю, и я очень надеялся узнать от вас историю тех времен, свидетелем которых вы были, — времен, когда царили столь великая честность и справедливость.

Сократ. А я-то как раз от вас хотел узнать о чудесах вашего века! Неужели вы хотите сказать, что современные люди совсем не освободились от глупостей древних времен?

Монтень. Я думаю, что вы так небрежно говорите об античности именно потому, что вы сами — древ-

ний; но, да будет вам известно, есть все основания сожалеть о том, что древние нравы канули в вечность, а также о том, что со дня на день всё ухудшается.

Сократ. Возможно ли это?! Видно, начиная с моего времени, дела пошли вкривь и вкось. Но я верю, что в конце концов они примут более разумное направление и люди извлекут пользу из столь многолетнего опыта.

Монтень. Вот уж нет! Разве люди приобретают опыт? Они напоминают птиц, вечно позволяющих поймать себя в те же сети, в которые уже были пойманы сотни тысяч птиц той же породы. Все без исключения люди вступают в жизнь новичками, и глупости отцов остаются потерянными для опыта детей.

Сократ. Но как же так — не приобрести никакого опыта? Я верил, что мир должен получить старость куда более мудрую и упорядоченную, чем была его юность!

Монтень. Люди всех столетий имеют одни и те же наклонности; разум над ними совершенно не властен. Итак, всюду, где только есть люди, существуют и глупости, причем глупости эти всё те же.

Сократ. Но если это обстоит таким образом, как можете вы хотеть, чтобы древние века были лучше, чем современные?!

Монтень. Конечно, Сократ, я отлично знаю, что у вас был особый метод рассуждения³ и вы умели оплести своих собеседников столь тесной сетью аргументов, выводы из которых они не могли предвидеть, что в конце концов вы приводили их туда, куда только вам было угодно. Вы называли это «быть повивальной бабкой их мыслей и помогать им эти мысли родить». Признаюсь, вы заставили меня только что родить предположение, прямо противоположное тому, которое я выдвинул раньше: тем не менее я не чувствую, будто уже пришло мое время сдать. Но верно то, что больше уже нет на свете тех сильных и непреклонных душ, какие были в древности, — нет Аристиды, Фокиона, Перикла и, наконец, самого Сократа.

Сократ. Но что же это должно означать? Уж не истощилась ли совсем природа, так что она не имеет больше сил создавать столь великие души? И почему

она вдобавок истощилась только в отношении производства разумных людей и ни в чем остальном? Ни одно из творений природы еще не пришло в упадок: почему из всех ее созданий вырождаются только люди?

Монтень. Вот здесь-то и собака зарыта: они вырождаются! Можно подумать, что природа некогда показала нам несколько образчиков великих людей, дабы убедить нас в том, что она умеет их делать, если только захочет; в дальнейшем же она проделывала все это с завидной небрежностью.

Сократ. Но заметьте себе следующее: античность — это совершенно особый предмет; отдаленность тех времен возвеличивает их в наших глазах. Если бы вы были знакомы с Аристидом, Фокионом, Периклом, а также со мной (поскольку вы пожелали включить и меня в их число), вы бы отыскиали в своем столетии людей, которые нас бы очень напоминали. Предубеждение в пользу античности обычно питается тем, что вы испытываете горечь по отношению к своему веку: античность на этом выигрывает. Древних людей ставят очень высоко — чтобы унизить своих современников. Пока мы живы, мы почитаем и ценим наших предков гораздо более того, чем они заслуживают: вот и теперь последующие поколения чтят нас совсем не по заслугам. Однако и наши предки, и мы, и наши потомки — все это, поверьте мне, совершенно одно и то же. И я думаю, что зрелище мира должно очень наскучить беспристрастному наблюдателю, ибо оно никогда не меняется.

Монтень. Я считал, что все находится в движении, все изменяется и что различные столетия имеют различный нравственный облик — так же, как люди. В самом деле, разве мы не знаем ученые столетия и в то же время — другие, совсем невежественные? Не бывают ли века наивными, а другие, наоборот, гораздо более утонченными? Не наблюдали ли мы также века серьезные и легкомысленные, века воспитанные и грубые?

Сократ. Это верно.

Монтень. Так почему же не могут быть века более добродетельные и другие — более злые?

Сократ. Нет, нет, здесь одно вовсе не следует из другого. Меняются одеяния, но это не значит, что вместе с тем изменяется и облаченное в них тело. Воспитан-

ность и грубость, знание и невежество, бóльшая или меньшая наивность, серьезный или легкомысленный нрав — все это лишь внешние покровы человека и все это подвержено переменам; но души людей не меняются никогда, а ведь душа — это и есть весь человек. В какое-то из столетий люди невежественны, но внезапно может появиться мода на ученость; однако людям присущи определенные интересы, и мода на незаинтересованность не придет никогда. На огромное количество довольно неразумных людей, рождающихся на протяжении одного столетия, природа может создать две или три дюжины людей разумных, которых она должна разместить по всей земле; и вы совершенно правы, считая, что таких людей никогда и нигде не бывает столь много, чтобы благодаря им появилась мода на добродетель и справедливость.

Монтень. А это размещение разумных людей по земле — совершается ли оно равномерно? Ведь могут случиться столетия, оделенные этими людьми гораздо меньше, чем остальные?

Сократ. Самое большее — здесь может быть совсем незаметная разница. Главный порядок природы имеет вполне постоянный облик.

Эразистрат, Гарвей

Эразистрат. Вы рассказываете мне просто о чудесах. Как? Кровь циркулирует в теле?! Вены несут ее от конечностей тела к сердцу, и она выходит из сердца, чтобы затем перейти в артерии, выносящие ее снова к тем же конечностям?

Гарвей. Я показал столько убедительных опытов, что никто более в этом не сомневается.

Эразистрат. Значит, мы, древние медики, ошибались, когда считали, что кровь обладает только очень медленным движением от сердца к конечностям тела, и человечество обязано вам тем, что эта древняя ошибка устранена?

Гарвей. Во всяком случае я претендую на это, причем люди мне тем более должны быть обязаны, что

именно я направил их по пути всех этих великолепных открытий, сделанных в наше время в области анатомии. Коль скоро я открыл циркуляцию крови, это потом служило тем, кто открывал новый проток, новый сосуд, новый резервуар. Казалось, весь человек был переделан заново. Вот видите, насколько больше преимуществ у нашей новой медицины по сравнению с вашей. Вы брались за исцеление тела человека, а это тело не было вам даже знакомо.

Эразистрат. Я признаю, что новые ученые — лучшие физики, чем мы. Они лучше нас знают природу, но они вовсе не лучшие врачи. Мы исцеляли больных не хуже. Хотелось бы мне очень поручить всем этим новым врачам, и прежде всего вам, исцелить царевича Антиоха от его перемежающейся лихорадки. Вы ведь знаете, как я за это принялся и как открыл, считая его пульс, частивший против обычного в присутствии Стратоники, что он влюблен в эту прекрасную царицу и все его недомогание проистекало от усилий, которые он делал, чтобы скрыть свою страсть. А между тем я прописал столь сложный и значительный курс лечения, ничего не подозревая о циркуляции крови; и я убежден, что со всеми теми преимуществами, какие может вам дать это знание, вы были бы в большом затруднении на моем месте. Речь шла вовсе не о новых каналах и резервуарах: главное, что нужно было познать у этого больного, было его сердце.

Гарвей. Вопрос далеко не всегда заключается в сердце, и далеко не все больные бывают влюблены в свою мачеху, как Антиох. Я не сомневаюсь в том, что из-за незнания циркуляции крови вы дали не одному больному умереть у вас на руках.

Эразистрат. Как! Вы считаете эти ваши новые открытия такими полезными?

Гарвей. Вне всякого сомнения.

Эразистрат. Ответьте тогда, пожалуйста, на один маленький вопрос, который я сейчас вам задам: почему мы каждодневно видим мертвецов, приходящих сюда в таком количестве, в каком их никогда раньше здесь не бывало?

Гарвей. Ну если они умирают, это их вина, а вовсе не медицины.

Эразистрат. Но значит, эта пресловутая циркуляция крови, все эти протоки, сосуды и резервуары не служат ничьему исцелению?

Гарвей. Возможно, пока еще врачам не хватило досуга, чтобы извлечь определенную пользу из этих совсем недавно полученных сведений. Но совершенно невозможно, чтобы со временем это не дало больших результатов.

Эразистрат. Клянусь честью, ничто тогда не изменится. Видите ли, существует определенная мера полезных знаний, в добрый час приобретенных людьми, и они к этим знаниям ничего не добавили; притом эти знания они не утратят, даже если упомянутая мера исчезнет. Люди обязаны природе тем, что она очень быстро внушила им необходимые познания: ведь они бы пропали, если бы предоставили искать эти знания своему медлительному разуму. Что касается других вещей, не столь насущно необходимых, то они открывались людям постепенно, в течение долгого ряда лет.

Гарвей. Но ведь было бы странно, если бы, зная организм человека лучше, мы не могли бы его лучше лечить. В таком случае для чего нужна людям эта забава — усовершенствование знания человеческого тела? Надо было бы оставить все, как оно есть.

Эразистрат. Тогда мы лишились бы очень приятных познаний; но что касается пользы, мне представляются совершенно равнозначными открытия нового протока в человеческом теле или новой звезды на небе. Природа требует, чтобы в известное время люди уступали свое место другим поколениям при содействии смерти. Им дозволено защищаться от нее до известных пределов. Но если отместить это в сторону, можно сделать сколько угодно новых открытий в области анатомии, больше и больше проникать в тайны строения организма — все равно, природу не одурачишь: смерть придет как обычно.

Герострат, Деметрий Фалерский

Герострат. Триста шестьдесят статуй¹ воздвигнуто в Афинах в вашу честь! Это уж слишком.

Деметрий Фалерский. Я захватил власть в Афинах: после этого было не так уж трудно добиться от народа статуй.

Герострат. И вам это нравилось — быть произведенным триста шестьдесят раз и встречать во всем городе только самого себя?

Деметрий Фалерский. Признаюсь, да. Но увы! Радость эта была недолговечной. Фортуна повернулась ко мне спиной. В течение суток в городе не осталось ни одной моей статуи: их повалили, их просто разбили на мелкие куски!

Герострат. Какая ужасная превратность судьбы! И кем же он был — тот, кто совершил столь великий подвиг?

Деметрий Фалерский. Это был Деметрий Полиоркет, сын Антигона.

Герострат. Деметрий Полиоркет! Хотел бы я быть на его месте! Какое же он получил огромное удовлетворение, сокрушая так много статуй, воздвигнутых ради одного-единственного человека!

Деметрий Фалерский. Подобное желание вполне достойно того, кто сжег эфесский храм. Характер ваш с тех пор не изменился.

Герострат. Меня уже достаточно попрекали этим эфесским пожаром. По всей Греции поднялся страшный шум. Право, это очень печально! Люди совсем не способны здраво судить о вещах.

Деметрий Фалерский. Мне очень кажется, будто вы жалуетесь на несправедливость людей, посмевших выказать отвращение к столь великолепному деянию, а также на закон, которым эфесцы навеки запретили кому-либо произносить имя Герострата.

Герострат. У меня нет ни малейших оснований жаловаться на последствия этого закона: эфесцы были простаками, так и не понявшими, что запрет произносить чье-либо имя делает это имя бессмертным. И на чем, собственно, был основан их закон? Я пылал непомерным желанием заставить людей о себе говорить, и я поджег их храм. Не должны ли были они почитать себя счастливыми от того, что честолюбие мое не обошлось им дороже? Дешевле они не могли отделаться! Другой, быть

может, сокрушил бы весь город и все их великое государство.

Деметрий Фалерский. Послушать вас, так можно подумать, будто вы были вправе ничего не щадить ради того, чтобы заставить людей о вас говорить, и что люди должны почитать благодеянием все то зло, которое вы не успели свершить.

Герострат. Легко вам рассуждать о моем праве сжечь эфесский храм. И потом, зачем его построили с таким искусством и великолепием? Разве замысел архитектора состоял не в том, чтобы обессмертить свое имя?

Деметрий Фалерский. Это очевидно.

Герострат. Ну что ж, значит, это было сделано также и для того, чтобы прославить имя Герострата — того, кто этот храм сжег!

Деметрий Фалерский. Великолепное рассуждение! Да почему вам дозволено во имя своей славы разрушать чужие творения?

Герострат. Вот именно! Тщеславие, воздвигшее этот храм руками другого человека, могло быть сокрушено моими руками! Тщеславие это владеет законным правом собственности на все человеческие творения: оно их создает, оно же их может разрушить. Даже великие государства не имеют основания жаловаться на то, что оно их ниспровергнет, когда будет на это иметь свой расчет; ведь они не сумели бы доказать, что возникли независимо от него. И причинил ли какую-то несправедливость городу Буцефалии царь, велевший сровнять его с землею, чтобы почтить память своего коня? Не думаю: ведь город этот было решено построить лишь ради утверждения славы коня Буцефала; следовательно, он был предназначен для славы коней.

Деметрий Фалерский. По-вашему, в этом мире нет ничего прочного, пользующегося безопасностью. Не знаю, дана ли она даже людям...

Герострат. Тщеславие играет их жизнями, как и всем прочим. Отец оставляет большее количество детей, чем он в состоянии породить, дабы увековечить свое имя; завоеватель, дабы обессмертить свое, истребляет большее число людей, чем это ему по силам.

Деметрий Фалерский. Меня не удивляет, что вы пускаете в ход всевозможные доводы с целью

оправдать разрушителей. Но в конце концов если средством упрочить свою славу является сокрушение памятников чужой, то, с моей точки зрения, нельзя себе представить более неблагородного средства.

Герострат. Не думаю, чтобы оно было менее благородным, чем все остальные; но я твердо знаю: необходимо появляться людям, которые этим средством пользуются.

Деметрий Фалерский. Необходимо?!

Герострат. Вне всякого сомнения. Земля напоминает огромную доску, на которой всякий хочет начертать свое имя. Когда такая доска заполняется до отказа, необходимо стереть с нее имена, ранее там начертанные, дабы вместо них написать новые. В самом деле, что было бы, если бы все памятники древности сохранились? Новые поколения не знали бы, где поместить свои. Могли ли вы надеяться на то, что триста шестьдесят статуй долго устоят на своих пьедесталах? Разве вы не видите отлично, что слава ваша занимала чересчур много места?

Деметрий Фалерский. Что ж, Деметрий Полиоркет задумал против моих статуй забавную месть. Коль скоро они однажды были воздвигнуты по всему городу, не следовало оставлять их там в подобном количестве.

Герострат. Да. Но разве не следовало понять до того, как они были воздвигнуты, что их вообще не надо было воздвигать? Ведь подобные страсти всем вершат и все разрушают. Если бы на Земле господствовал разум, на ней бы вообще ничего не случилось. Говорят, что кормчие очень боятся тихих морей, по которым нет возможности плыть, и страстно ждут ветра, рискуя попасть в бурю. Человеческие страсти — это те же ветры, необходимые для того, чтобы все приводить в движение, хотя они и являются часто причиной бед.

Пармениск, Феокрит Хиосский

Феокрит Хиосский. В самом деле, вы не могли больше смеяться после того, как спустились в пещеру Трофония? ¹

Пармениск. Нет. Наоборот, я стал после этого как-то необычно серьезен.

Феокрит Хиосский. Если бы я только мог знать, что пещера Трофония обладает этим достоинством, я непременно совершил бы туда небольшое путешествие. Я только и делал, что слишком много смеялся в моей жизни, и, быть может, она бы продлилась, если бы я смеялся меньше.

Злополучная веселость и привела меня в то место, где мы с вами сейчас находимся. Царь Антигон был крив на один глаз. Я жестоко его оскорбил. Правда, он поклялся, что, если я предстану пред ним, он не будет питать ко мне никакой злобы. Меня привели к нему почти силой, и друзья мои ободряли меня следующими словами: «Иди, ничего не бойся. Жизнь твоя будет в безопасности с того самого момента, как ты предстанешь пред царские очи». — «Ну,— отвечал я им,— если я не могу добиться прощения, не представ пред его очи, я погиб». Антигон, который был расположен простить мое преступление, не сумел простить мне эту шутку, и моя неуместная веселость стоила мне головы.

Пармениск. Не знаю, так ли уж мне не хотелось бы в свое время обладать этим вашим талантом, даже такой ценой.

Феокрит Хиосский. А я — как хотел бы я сейчас обрести эту вашу серьезность!

Пармениск. О, даже не мечтайте об этом. Я думал, что умру от серьезности, которой вы так страстно жаждете. Ничто меня больше не забавляло; я делал страшные усилия, чтобы рассмеяться, но ни за что не мог достичь цели. С тех пор я совсем не наслаждался всем тем, что есть смешного на свете: смешное это стало для меня горестным. В конце концов, отчаявшись обрести эту мудрость, я отправился в Дельфы² и настойчиво стал молить бога даровать мне средство смеяться. Он отослал меня в двусмысленных выражениях к «материнской власти». Я решил, что он подразумевает мою родину, и вернулся туда, но родина моя оказалась бесильной против моей серьезности. Я уже начал покоряться своей участи, как неизлечимой болезни, когда случайно мне пришлось совершить путешествие в Делос³. Там я с изумлением созерцал великолепие храмов

Аполлона и красоту его статуй. Все вокруг было сделано из золота и мрамора, руками лучших мастеров Греции. Но когда я подошел к деревянной Латоне, очень грубо и наспех скроенной и имевшей вид печальной старухи, я разразился громким хохотом: мысленно я сравнил при этом статуи сына со статуей матери. Не могу вам выразить достаточно ясно, как я был поражен, удовлетворен и очарован тем, что смеялся. Тогда-то я понял истинный смысл прорицания. Больше я никогда не приносил жертв всем этим золотым и мраморным Аполлонам: все мои дары и обеты были отданы деревянной Латоне. Я посвятил ей бесчисленное множество жертв, я всю ее окутал дымом курений, и, если бы только я мог на это потратиться, я воздвиг бы храм Латоне, дарующей смех.

Феокрит Хиосский. Мне кажется, Аполлон мог уделить вам способность смеяться и не за счет своей матери. Вы могли бы увидеть очень много объектов, производящих тот же эффект, что Латона.

Пармениск. Когда кто-нибудь находится в дурном расположении духа, он думает, что люди не заслуживают, чтобы над ними смеялись. Но конечно, люди созданы для того, чтобы быть смешными, и они на самом деле смешны — да это и не удивительно. Однако богиня, посвятившая себя этой цели, стоит неизмеримо их выше. Впрочем, Аполлон ясно хотел дать мне понять, что серьезность моя — это несчастье, которое нельзя исцелить никакими людскими средствами, и что я попал в положение, когда нуждался в помощи самих богов.

Феокрит Хиосский. Веселье и радость, коим вы так завидуете, не столько благо, сколько великое зло. Целый народ был некогда им отмечен и оттого немало страдал.

Пармениск. Как! На свете существовал целый народ, чересчур склонный к радости и веселью?

Феокрит Хиосский. Да, это были тиринфяне⁴.

Пармениск. Блаженные люди!

Феокрит Хиосский. Отнюдь. Поскольку они ни при каких обстоятельствах не могли вернуть себе серьезность, решительно все пришло у них в беспорядок. Когда они собирались на городской площади, все их беседы превращались в дурачества, вместо того чтобы касаться государственных дел; когда они принимали

послов, они поднимали их на смех; если собирался на совещание городской совет, пожелания самых серьезных членов совета были не чем иным, как откровенными буффонадами; да и во всех прочих случаях разумное слово или дело были у тиринфян чудом. В конце концов они поняли неудобство, происходящее от этого вечно шутивого настроения; неудобство это было не меньшим, чем ваше — от вашей угрюмости; и они отправились к дельфийскому оракулу, опять-таки как и вы, однако с прямо противоположной целью, а именно с тем, чтобы он научил их средству вернуть хоть немного утраченную серьезность. Оракул ответил, что если они принесут быка в жертву Нептуну и при этом не станут смеяться, то впредь в их власти будет стать более мудрыми. Жертва, как вы отлично понимаете, сама по себе не очень забавное дело; тем не менее, чтобы принести ее очень серьезно, они сделали немало специальных приготовлений: они постановили совсем не привлекать к этому молодых людей, но только глубоких старцев, причем вовсе не любых, а лишь таких, которые имели либо тяжелые болезни, либо долги, либо очень противных жен. Когда все эти избранные лица собрались на морском побережье, дабы свершить обряд жертвоприношения, они, обремененные женами, долгами, болезнями и возрастом, были вынуждены принимать серьезный вид, опускать лица долу и кусать себе губы... Но на беду, там оказался ребенок, прокравшийся на побережье; согласно принятому порядку, его хотели поймать и увести, но он вскричал: «Здóрово! Уж не боитесь ли вы, что я проглочу вашего быка?» Глупая эта шутка рассеяла всю с таким трудом достигнутую показную серьезность: раздался громовой хохот; жертвоприношение было прервано, и разум никогда более не вернулся к тиринфянам. Они были такими глупцами, что после осечки с быком даже не подумали о знаменитой пещере Трофония, обладавшей силой делать людей чрезвычайно серьезными: вы ведь испытали на себе ее замечательное воздействие!

Пармениск. Да, верно, я спускался в пещеру Трофония; но действительная пещера Трофония, сделавшая меня столь угрюмым, вовсе не та, что обычно думают...

Феокрит Хиосский. А какая же это пещера?

Пармениск. Пещера эта — мои размышления; я предавался им и потому перестал смеяться. Если бы оракул посоветовал ими заняться тирийцам, они навсегда исцелились бы от своей неуместной игривости.

Феокрит Хиосский. Признаюсь, я не слишком-то хорошо знаю, что это за штука такая — размышления, но не могу понять, почему они должны быть столь горестными. Разве нельзя иметь здравые взгляды на вещи и чтобы они одновременно не были бы печальными? Разве только промах может вызывать смех, разум же создан лишь для того, чтобы нас убивать?

Пармениск. Очевидно, в намерения природы не входило сделать людей чересчур тонкими мыслителями; слишком уж дорого продает она утонченные мысли. «Вы желаете мыслить? — говорит она нам. — Что ж, будьте тогда осторожны: я отомщу за себя печалью, которую это вам внушит».

Феокрит Хиосский. Но вы мне все-таки не сказали, почему природа не хочет, чтобы люди в своих размышлениях заходили так далеко, как это обычно бывает?

Пармениск. Природа выпустила человека в мир, чтобы он там жил; а жить — это значит не понимать того, что делаешь большую часть времени. Когда мы обнаруживаем незначительность того, что нас занимает и производит на нас впечатление, мы вырываем у природы ее секрет: при этом мы становимся очень мудрыми и не хотим больше действовать; а природа нам этого не прощает.

Феокрит Хиосский. Но сам разум, позволяющий вам мыслить лучше, чем остальным, не допускает, чтобы вы были осуждены действовать так, как они.

Пармениск. Вы совершенно правы. Именно разум с помощью мысли поднимает нас надо всем; следовало бы иметь еще один разум, который возвращал бы нас ко всему с помощью действия. Но, принимая это во внимание, разве не лучше всего, пожалуй, вообще не иметь мыслей?

Сенека, Скаррон

Сенека. Вы переполнили мою душу радостью своим сообщением о том, что до сих пор существуют стоики¹ и что в самое последнее время вы сами были приверженцем этой школы.

Скаррон. Я был, без сомнения, бóльшим стоиком, чем вы, чем Хрисипп и даже чем Зенон — основатель всей вашей школы. Легко было вам всем философствовать! В частности, вы — ведь вы были обладателем несметных богатств! Что касается остальных, то либо они не совсем были лишены состояния, либо пользовались завидным здоровьем, либо, наконец, сохранили все свои члены: они передвигались и ходили обычным для всех людей образом. А я — мало того, что состояние мое было совершенно расстроено, — я и сам был изуродованный, почти лишенный человеческого облика, неподвижный, привязанный к месту, как древесный ствол: я постоянно испытывал страдания. И я доказал, что все эти беды касаются одного только тела и никоим образом не могут найти доступа к душе мудреца; когда печаль пыталась в меня проникнуть всеми доступными ей путями, она всегда терпела фиаско.

Сенека. Я рад слышать, как вы это говорите. Уже по одному вашему способу выражений я признал бы в вас великого стоика. А не были ли вы предметом восхищения вашего века?

Скаррон. Да, был. Я же не довольствовался тем, что терпеливо переносил свои беды, я просто над ними смеялся. Выдержка, быть может, и могла бы сделать честь кому-то другому, но у меня она сопровождалась подлинной веселостью.

Сенека. О мудрость стоика! Значит, ты не химера, как обычно это считают. Ты живешь среди людей, и вот перед нами мудрец, которого ты сделала таким же счастливым, как сам Юпитер. Идемте, я представлю вас Зенону и всем остальным стоикам; я хочу, чтобы они увидели плод тех восхитительных уроков, что они преподавали человечеству.

Скаррон. Вы меня очень обяжете, познакомив со столь великими мертвецами!

Сенека. Как мне вас им представить?

Скаррон. Скаррон.

Сенека. Скаррон? Мне знакомо это имя. Не могли я слышать, как о вас говорили многие современники, ныне пребывающие здесь, под землей?

Скаррон. Вполне возможно.

Сенека. Не являетесь ли вы автором большого числа забавных комических стихотворений?

Скаррон. Да. Я даже стал изобретателем жанра поэзии, названного «бурлеск»². Жанр этот объединяет в себе все самое гротескное, что только есть в искусстве шуток.

Сенека. Но, значит, вы не были философом?

Скаррон. Почему же нет?

Сенека. Но это не может быть занятием стоика — создавать комические произведения и стремиться к тому, чтобы вызывать смех.

Скаррон. О! Я отлично вижу, что вы не поняли всех преимуществ шуток. Ведь в ней-то и заключена вся премудрость. Смех можно извлечь из чего угодно. Я мог бы, если бы пожелал, извлечь его даже из ваших трудов: мне это очень легко; но решительно ничто само по себе не порождает серьезности. Бьюсь об заклад, что вам никогда не извлечь из моих сочинений ничего враждебного их манере. Разве не ясно это говорит о безраздельном господстве смешного? И также о том, что ни одна вещь в мире не создана для серьезного к ней отношения? Я переложил в бурлескные стихи божественную «Энеиду»³ вашего Вергилия: нельзя было сделать ничего лучшего для того, чтобы показать, как близки между собой великое и смешное! Они тесно расположены рядом. Все на свете напоминает перспективную живопись: разбросанные там и сям мазки образуют, например, если смотреть на картину с известной точки зрения, фигуру императора. Но измените точку зрения — и те же самые мазки представят вам оборванца.

Сенека. Мне жаль вас: люди не поняли, что ваши забавные стихи были сочинены для того, чтобы внушить им столь глубокие мысли. Вас почитали бы куда больше, если бы знали, какой вы великий философ. Но ведь было не легко это угадать в пьесках, вынесенных вами, как говорят, на суд света.

Скаррон. Но если бы я издал толстые тома, дабы доказать, что бедность и болезни совсем не должны мешать веселости мудреца, были бы они достойны стойка?

Сенека. В этом нет никакого сомнения.

Скаррон. А ведь я создал бог знает как много произведений, которые доказывают сами по себе, что вопреки бедности и болезням я обладал этой веселостью: разве это не более ценно? Ваши трактаты по этике — это всего лишь рассуждения о мудрости; но мои стихи были постоянным в ней упражнением.

Сенека. Я убежден, что ваша так называемая мудрость проистекала у вас не от разума, а от вашего темперамента.

Скаррон. Но ведь это прекраснейший вид мудрости, какой только существует на свете!

Сенека. Пусть! Забавные это мудрецы — те, кто мудр благодаря своему темпераменту. Если только они не безумцы, стоит ли их вообще принимать в расчет? Счастье добродетели может быть иногда даром природы; но заслуга добродетели может проистекать только от разума.

Скаррон. Обычно никто не поднимает такого шума из-за того, что вы именуете заслугой; ибо, если человек обладает какой-нибудь добродетелью и при этом легко распознать, что она у него не врожденная, за нее никто гроша ломаного не даст. Может, однако, показаться, что, поскольку достигнуть ее потребовало усилий, она тем более заслуживает уважения; на самом деле это не так: это чисто рассудочное заключение, здесь нечем гордиться.

Сенека. Еще менее должно гордиться неровностью темперамента ваших мудрецов: они мудры лишь потому, что это у них в крови. Нужно только знать строение внутренних органов человека, для того чтобы определить возможную степень его добродетели! Разве не в тысячу раз лучше избрать своим вожатым один только разум и стать настолько независимым от природы, чтобы не опасаться с ее стороны более никаких сюрпризов?

Скаррон. Это было бы лучше всего, если бы это было возможно. Но к несчастью, природа ревниво

охраняет свои права. Ей принадлежат первичные аффекты, и их у нее невозможно отнять; часто они оказываются выпущены на волю, если только разум не бывает об этом предупрежден; притом, когда он, наконец, осознает свой долг действовать, он находит перед собой уже полный беспорядок. Еще большой вопрос, сможет ли он с этим беспорядком как следует справиться. Право, я ничуть не дивлюсь при виде огромного количества людей, ни во что не ставящих разум.

Сенека. Тем не менее только ему подобает править людьми и упорядочивать все во Вселенной.

Скаррон. Но он совсем не в состоянии заставить признать свой авторитет. Я слышал, что через несколько сот лет после вашей смерти один философ платоновской школы⁴ попросил у правившего тогда императора небольшой городок Калабрию, лежавший в развалинах, с тем чтобы его восстановить, дать ему управление в соответствии с законами государства Платона и назвать его Платонополисом. Но император наотрез отказал в этом философу, причем он так мало полагался на божественный разум Платона, что не согласился бы дать ему в управление даже старый домишко. Вы можете по этому судить, насколько разум потерял свой авторитет. Ведь если бы он пользовался хоть каким-нибудь уважением, люди должны были бы его почитать; но люди его совсем не ценят.

Артемисия, Раймонд Луллий

Артемисия. Вот совершенная для меня новость! Вы говорите, будто существует секрет, позволяющий превращать металлы в золото, и что называется этот секрет философским камнем или «великим созиданием»?¹

Раймонд Луллий. Да, и я искал его очень долго.

Артемисия. И вы нашли его?

Раймонд Луллий. Нет; но весь свет в него верил и продолжает верить сейчас. Истина же состоит в том, что этот секрет — химера.

Артемисия. Зачем же тогда вы его искали?

Раймонд Луллий. Я разочаровался в нем только здесь, под землей.

Артемисия. Боюсь, что вы пришли к этому с некоторым опозданием.

Раймонд Луллий. Я отлично вижу, что вам хочется меня высмеять. Но вы не можете даже поверить, как мы с вами друг на друга походим!

Артемисия. Я... я на вас похожу?! Я, бывшая образцом супружеской верности, выпившая после смерти мужа его пепел из чаши, воздвигшая в его честь величественный памятник — предмет восхищения всего мира! Как могу я походить на человека, прошедшего всю свою жизнь в поисках секрета превращения металлов в золото?

Раймонд Луллий. Да, да, я отлично знаю, что говорю. После всех этих великолепных деяний, которыми вы только что похвалились, вы без ума влюбились в юношу², который вас не любил; вы принесли ему в жертву это величественное строение, сумевшее вам принести столь великую славу. И пепел Мавзола, проглоченный вами, оказался не столь уж блестящим лекарством против вашей новой страсти.

Артемисия. Вот уж не думала, что вы так хорошо осведомлены о моих делах. Этот эпизод моей жизни остался совсем неизвестным, и я даже представить себе не могла, что есть достаточно много людей, которые его знают.

Раймонд Луллий. Итак, вы должны признать, что судьбы наши перекрещиваются именно в том, что обоим нам курили фимиами, которого мы не заслужили: вам — потому что верили, будто вы навеки сохранили верность манам вашего мужа, мне — потому что считали, будто я завершил свой великий труд.

Артемисия. Охотно признаю это. Толпе всегда суждено чем-то быть одураченной; нужно уметь извлекать выгоду из ее настроений.

Раймонд Луллий. Но разве больше ничего не роднит нас с вами?

Артемисия. Да, до сих пор я нахожу, что я порядком на вас похожа. Продолжайте.

Раймонд Луллий. Разве оба мы не искали нечто, чего вообще не существует на свете? Вы — секрет

верности своему мужу, я же — секрет превращения в золото металлов. Я разумею, что супружеская верность в данном случае то же, что и «великое созидание».

Артемисия. Существуют на свете люди, у которых весьма скверное мнение о женщинах: быть может, они и скажут, будто не так уж немислим философский камень, чтобы привлекать его здесь к сравнению.

Раймонд Луллий. О! Я вас заверяю, что он достаточно немислим.

Артемисия. Но почему же тогда его ищут, и даже вы, производящий впечатление человека здорового, предались этим бредням?

Раймонд Луллий. Верно, что нет возможности найти философский камень, но хорошо, что его ищут: делая это, люди раскрывают великие секреты, к раскрытию которых они не стремились.

Артемисия. Не лучше ли искать секреты, доступные разуму, чем мечтать о тех, которые никому никогда не понять?

Раймонд Луллий. Все науки на свете имеют свою химеру, вокруг которой они движутся, но которую они не в силах поймать; однако по пути они обретають другие, весьма полезные, знания. Если у химии есть ее философский камень, то у геометрии — квадратура круга, у астрономии — пустое пространство, у механики — перпетуум мобиле. Нет никакой возможности все это открыть, но очень полезно это искать. Я говорю с вами на языке, который вам, быть может, мало понятен. Но вы отлично поймете, если я скажу, что у морали есть также своя химера — а именно бескорыстие, совершенная дружба. Она никогда не будет достигнута, но прекрасно, что к ней стремятся и рассчитывают ее достичь: по крайней мере, стремясь к ней, люди приобретают много других добродетелей или же совершают поступки, достойные хвалы и уважения.

Артемисия. Повторяю, я того мнения, что надо оставить в покое химеры — все, сколько их есть, — и заниматься поисками только того, что реально.

Раймонд Луллий. И вы можете в это верить? Ведь необходимо, чтобы люди во всем, что они делают, усматривали вершину совершенства, пусть даже она и находится вне пределов их досягаемости. Они ни-

когда ни за что не возмущаются, если будут думать, что достигнут лишь того, чего они и достигают на самом деле. Нужно, чтобы перед их мысленным взором был воображаемый предел, который бы их воодушевлял. Если бы мне кто-то сказал, что занятия химией не приведут меня к созиданию золота, я бы просто эти занятия бросил. Если бы вам кто-нибудь сказал, что исключительная верность вашему мужу, которой вы похваляетесь, весьма неестественна, вы ни за что не дали бы себе труда почтить память Мавзола величественной усыпальницей. Люди потеряли бы всякое мужество, если бы их не поддерживали ложные идеи.

Артемисия. Но ведь такой самообман бесполезен?

Раймонд Луллий. Как, бесполезен?! Если бы, по несчастью, истина явилась нам в своем подлинном обличье, все было бы раз навсегда потеряно. Но как кажется, она хорошо понимает свое значение и потому всегда прячется в тени.

Апиций, Галилей

Апиций. Ах я очень расстроен, что не родился в ваш век!

Галилей. Мне кажется, что нрав, которым вы известны, должен был позволить вам отлично приспособиться и к тому веку, в котором вы жили. Единственное, чего вы жаждали, это тонкие яства, а ведь вы вращались в свете, притом в Риме, как раз тогда, когда Рим безмятежно правил Вселенной, когда туда привозили со всех концов света редчайших птиц и рыб, когда, наконец, казалось, что вся земля покорена римлянами лишь для того, чтобы потворствовать их страсти к вкусной еде¹.

Апиций. Но мой век был невежественным. Если бы в мое время жил человек, подобный вам, я отправился бы его искать на край света. Любое путешествие было мне нипочем. Знаете ли вы об одной поездке, предпринятой мною ради знаменитого сорта рыбы, которую я ел в Минтурнах², городе Кампании? Мне сказали, что рыба эта еще крупнее в Африке. Тотчас же я снарядил

судно и пустился на всех парусах в Африку. Плавание это было опасным и трудным. Когда мы подошли к берегам Африки, нас встретила целая флотилия рыбацких лодок: они были уже предупреждены о моем путешествии и везли мне рыбу, ради которой оно было совершено. Я не нашел, что рыба эта крупнее той, что я ел в Минтурнах; в тот же миг, не выказав никакой любознательности в отношении страны, никогда мной не виданной, и не обращая внимания на просьбы моих моряков, мечтавших передохнуть на берегу, я приказал моим кормчим повернуть обратно, в Италию. Можете поверить, что я гораздо охотнее вынес бы подобное утомление ради вас.

Г а л и л е й. Не могу только понять, с какой целью? Я был бедным ученым, привыкшим к умеренной и даже скудной жизни, постоянно занятым звездами и очень мало смыслившим в острых приправах.

А п и ц и й. Но ведь вы изобрели телескоп!³ После вас сделали для ушей то, что сами вы сделали для глаз. Я слышал, как говорили, что изобретены трубы, удваивающие и даже умножающие в несколько раз силу голоса⁴. Итак, вы усовершенствовали и позволили также усовершенствовать другим наши чувства. Я попросил бы вас потрудиться ради чувства вкуса и придумать какой-нибудь инструмент, который усиливал бы удовольствие от еды!

Г а л и л е й. Великолепно!.. Если только у вкуса нет от природы всего возможного совершенства.

А п и ц и й. А почему оно должно быть у него большим, чем у зрения?

Г а л и л е й. Зрение тоже очень совершенно. У людей бывают отличные глаза.

А п и ц и й. А что же это за плохие глаза, которым должен служить ваш телескоп?

Г а л и л е й. Это глаза философа. Люди эти, которым понадобилось узнать, имеет ли Солнце пятна, вращаются ли планеты вокруг своей оси, состоит ли Млечный Путь из маленьких звезд, не имеют глаз, достаточно хороших, чтобы разглядеть все эти объекты настолько ясно и отчетливо, как это им требуется; но другие люди, коим все это безразлично, являются обладателями отличного зрения. Если единственное, чего вы

хотите, это извлекать из вещей наслаждения, у вас все для этого есть; но вы не располагаете ничем для их познания. Людей обычно ничего не касается, но философов касается все. Техника совсем не располагает новыми инструментами для первых, но она никогда не удовлетворит потребности в них вторых.

Апиций. Я согласен, что техника не дает обычным людям новых инструментов, чтобы вкуснее есть, но пусть бы она не давала их и философам, как она дает им телескопы, чтобы улучшить их зрение; тогда я буду считать, что им хорошо заплачено за труды, которых стоит их философия: ибо в конце концов кому она нужна, если она не делает открытий? И зачем делать открытия, если это не служит удовольствиям?

Галилей. Эта жалоба очень давняя.

Апиций. Но если разум делает иногда новые приобретения, почему не делать их также чувствам? Это ведь было бы гораздо важнее.

Галилей. Тогда чувства несомненно бы обесценились. Они настолько совершенны, что с самого начала получали все удовольствия, какие только им можно доставить. Если разум находит новые знания, его можно лишь пожалеть. Значит, от природы он очень несовершенен.

Апиций. Следовательно, цари персов, обещавшие великое вознаграждение тем, кто изобретет новые удовольствия, были попросту дураками?

Галилей. Да. Убежден, что они от этих наград не разорились. Изобрести новые удовольствия! Раньше ведь следовало бы привить людям новые потребности!

Апиций. Как? Вы считаете, что каждое удовольствие основано на потребности? Тогда я предпочел бы утратить потребность ради удовольствия. Ведь природа ничего не дала нам даром?

Галилей. Это не моя вина. Но вы, осуждающий мои взгляды, вы более других заинтересованы в том, чтобы это было правдой. Ведь если существовали бы новые удовольствия, вы никогда не утешились бы из-за того, что не сохранили себя для жизни в Новое время, когда вы могли бы их извлечь из открытий всех минувших веков. Что же касается новых познаний, то, я

уверен, вы не станете ревновать к ним тех, кто ими обладает.

Апиций. Я начинаю понимать вашу мысль, она больше соответствует моим наклонностям, чем я думал. Ясно вижу теперь, что познания — это совсем не столь великое преимущество, ибо они убегают от тех, кто их хочет схватить; вижу также, что природа не дала себе труда уравнять в этом отношении людей всех времен. Что касается удовольствий, то ценность их куда выше. Было бы слишком несправедливым терпеть, чтобы один век мог обладать ими в большей степени, чем другой: поэтому-то они и были распределены между всеми поровну.

Стратон, Рафаэль Урбинский

Стратон. Я совсем не ожидал, что совет, данный мной моему рабу, будет иметь столь счастливые следствия. Он принес мне сразу и жизнь и царство; здесь же он вызывает уважение ко мне всех мудрецов.

Рафаэль Урбинский. А что это был за совет?

Стратон. Я был в это время в Тире¹. Все рабы этого города взбунтовались и задушили своих господ. Но один из них, бывший у меня в услужении, проявил такую гуманность, что пощадил мою жизнь и скрыл меня от ярости остальных. Они сговорились между собой выбрать царем того среди них, кто в определенный назначенный день первый заметит восход Солнца.

Они собрались на равнине. Вся эта толпа вперила глаза в восточную часть неба, откуда должно было взойти Солнце; только мой раб, которого я научил, что следует делать, смотрел не на восток, а на запад. Не сомневайтесь, все остальные сочли его дураком. Между тем он, стоявший к ним спиной, увидел первые лучи Солнца, заблестевшие на вершине очень высокой башни, в то время как его товарищи все еще искали на востоке солнечный диск. Тонкость его ума вызвала всеобщее восхищение; но он признался, что своей удачей обязан мне и что я еще жив: тотчас же я как человек божественный был избран царем.

Рафаэль Урбинский. Вижу прекрасно, что совет, данный вами рабу, оказался вам очень полезен. Не понимаю только, почему его надо считать столь восхитительным.

Стратон. О, все философы, здесь находящиеся, ответили бы вам за меня, что я преподавал своему рабу то, что должен делать всякий мудрец. Ведь для того, чтобы найти истину, нужно только повернуться спиной к толпе: общепринятые мнения могут служить руководством для здравых мыслей лишь в том случае, если принимать их в обратном смысле.

Рафаэль Урбинский. Все эти философы всегда правы, пока они философствуют. Это ведь их профессия — поносить общераспространенные мнения и предрассудки; между тем на свете нет ничего более удобного и полезного.

Стратон. По тому, как вы это говорите, можно сразу догадаться, что вы еще ни разу не обожглись, следуя этим мнениям.

Рафаэль Урбинский. Уверяю вас, что если я защищаю предрассудки, то без всякого личного интереса; ибо, наоборот, они сумели сделать меня посмешищем всего света. Некие люди отправились к римским развалинам, дабы найти и увезти оттуда древние статуи; поскольку я был хорошим живописцем и скульптором, меня выбрали судьей их древности. Но Микельанджело, бывший моим соперником, втайне изготовил статую Вакха совершенной красоты. Сделав ее, он отломил у нее палец и закопал ее в месте, где, как он знал, ожидалась раскопки. Когда ее нашли, я заявил, что она по своему происхождению принадлежит античности. Микельанджело со своей стороны утверждал, что палец этот — новой работы. Я основывался главным образом на красоте статуи, вполне достойной, если исходить из принципов искусства скульптуры, имени одного из великих греков. И так как меня оспаривали, я назвал всем отнес этого Вакха к временам Поликлета и Фидия. Но в конце концов Микельанджело показал всем отломанный палец, и довод этот нельзя было опровергнуть. Меня подняли на смех за мою предвзятость; однако что бы я без нее делал? Я был судьей, а этот титул требует от своего носителя, чтобы он принимал решения.

Стратон. Но вы рассудили здесь на основании разума.

Рафаэль Урбинский. А может ли разум быть судьей? Когда я совещался с ним, я никогда не мог сказать, древняя ли статуя или нет; я знал только, что она прекрасна. Но предубеждение всегда приходит нам на подмогу: оно подсказывает мне, что прекрасная статуя должна быть античной; это действительно судья, умеющий принимать решение.

Стратон. Может статься, разум и не составляет нам несокрушимых оснований для предметов столь незначительных, как эти. Но там, где речь идет о поведении человека, у него в запасе вполне надежные постановления. Несчастье состоит в том, что к нему редко обращаются за советом.

Рафаэль Урбинский. Давайте посоветуемся с ним по какому-нибудь вопросу и посмотрим, что он решит. Спросим его, надо ли плакать или смеяться, когда умирают ваши родители или друзья. С одной стороны, скажет он, эти люди для вас погибли: рыдайте и рвите на себе волосы. С другой стороны, ведь они освободились от житейских невзгод: значит, надо смеяться. Вот вам ответы разума. Но на самом деле нас ограничивает в наших действиях обычай страны. Мы плачем, если нам велит так поступать этот обычай. Причем плачем мы столь усердно, что не понимаем, как можно по тому же самому поводу веселиться; или же мы столь усердно смеемся, что не постигаем, как в том же самом случае можно плакать.

Стратон. Разум совсем не во всех случаях столь бесполезен. Он оставляет предрассудкам то поле деятельности, которое считает самого себя недостойным. Но зато по поводу скольких весьма серьезных предметов у него есть точные идеи, из которых он извлекает не менее точные следствия!

Рафаэль Урбинский. Либо я очень ошибаюсь, либо таких точных идей на свете крайне мало.

Стратон. Это неважно. Истинной веры достойны только они.

Рафаэль Урбинский. Не может того быть: ведь разум предлагает нам совсем небольшое число достоверных максим, а наш ум создан так, что он верит

гораздо большему числу положений. Таким образом, избыток легковерия действует в пользу предубеждений, а ложные мнения еще больше это легковерие подкрепляют.

Стратон. А какая необходимость людям впадать в ошибку? Разве нельзя в сомнительных случаях повременить с суждением? Разум останавливается, когда он не знает, каким ему надо идти путем.

Рафаэль Урбинский. Вы совершенно правы. Единственное для него средство избежать в этом случае промаха — не делать ни шага вперед. Но такое положение для человеческого ума крайне тягостно: ведь он — в движении, он должен идти вперед. Весь свет понятия не имеет о том, что значит сомневаться: лишь просвещение приводит к познанию этого, а также сила воли, позволяющая остаться на этом пути. Между тем сомнение — вещь бездейственная, а людям необходимо действие.

Стратон. Итак, необходимо сохранять предрассудки обычая, дабы действовать, как все остальные люди; но надо остерегаться предрассудков ума, дабы мыслить так, как мудрец.

Рафаэль Урбинский. Лучше всего сохранять все без исключения предрассудки. Вы, очевидно, не знаете двух знаменитых ответов старика самнита, к которому представители его народа отправили послов спросить, что им делать, если они сумеют запереть в Кавдинском ущелье всю армию римлян — своих смертельных врагов — и будут иметь безраздельное право решить их участь. Старец отвечал, что в этом случае надо перерезать всех римлян. Совет его показался слишком жестоким и страшным, и самниты снова отправили к нему послов — представить ему свои возражения. Тогда он посоветовал, чтобы всем римлянам сохранили жизнь, не ставя им никаких условий. Самниты не последовали ни тому ни другому совету, и дело окончилось для них очень скверно. Речь идет здесь опять-таки о предрассудках: либо надо сохранять их все без исключения, либо, наоборот, все начисто истреблять. В противном случае те из них, от которых вы отказались, поселят в вас недоверие ко всем тем мнениям, которые вы сохранили. Несчастье впасть в ошибку по многим вопросам не возмещается при этом удовольствием ошибаться в силу

неведения, так как вы потеряете навсегда и свет истины, и привлекательность невольной ошибки.

Стратон. Если нет средства избежать альтернативы, предложенной вами сейчас, то, конечно, не следует колебаться в выборе своей позиции. Надо отказаться от всех предрассудков.

Рафаэль Урбинский. Но рассудок изгонит из нашего ума все его старые убеждения и не поставит на их место новых. Он превратит наш ум в пустыню. Кто же это выдержит? Нет, нет, у людей и так слишком мало разума, им нужно много, очень много предрассудков, чтобы к нему привыкнуть. Предрассудки — это резервы разума. Мы находим в предрассудках то, чего не хватает ему.

Парацельс, Мольер

Мольер. Существой одно ваше имя¹, все равно я был бы очарован вами, Парацельс! Все считали, что вы некий грек или римлянин; никому и в голову не приходило, что вы швейцарский философ.

Парацельс. Я сделал это имя столь же знаменитым, сколь оно и прекрасно. Труды мои — великая подмога для тех, кто желает проникнуть в тайны природы, в особенности же для тех, кто поднимается до познания духов и простейших существ.

Мольер. Я отлично понимаю, что это — подлинные науки. Познать людей, видимых нами каждодневно, ничего не стоит. Совсем другое дело — познать духов, которых нельзя видеть вообще.

Парацельс. Несомненно. Я очень точно учил, какова их природа, их занятия, наклонности, каковы различные их категории, наконец, какой властью обладают они во Вселенной.

Мольер. Счастливцев! Вы все это знали. Точнее говоря, вы знали абсолютно все, что касается человека. А ведь в то же самое время множество людей не знают даже, как к этому приступить!

Парацельс. О! Нет такого ничтожного философа, который не думал бы, что достиг в этом цели.

Мольер. Допускаю. Итак, для вас не осталось ничего затруднительного в вопросах природы человеческой души, ее функций и связи с телом?

Парацельс. Откровенно говоря, не бывает, чтобы не оставалась хоть какая-нибудь сложность в этих вопросах; но в конце концов в этой области знают столько, сколько это под силу знать философии.

Мольер. И вы здесь не знаете ничего большего?

Парацельс. Нет. Но разве этого недостаточно?

Мольер. Недостаточно?! Это вообще ничто. И все-таки, вы сумели бы воспарить над людьми, которых вы не знали, дабы достичь общения с духами?

Парацельс. Духи — это нечто более всего возбуждающее естественное любопытство.

Мольер. Это верно. Но думать о них позволительно лишь после того, как уже все доподлинно известно о людях. Ведь при виде того, как человеческий ум создает себе объекты исследования, быть может не имеющие в себе ничего реального, вокруг которых он бьется ради одного только удовольствия, можно было бы сказать, что он совсем истощился. Между тем, несомненно, если бы он того пожелал, оказалось бы достаточно много весьма реальных объектов, занявших бы его внимание целиком.

Парацельс. Наш ум, естественно, пренебрегает слишком простыми познаниями и стремится к тем, что исполнены тайны. Только в этих случаях он может проявить всю свою активность.

Мольер. Тем хуже для ума; все, что вы говорите, служит к полному его посрамлению. Истина является перед ним, но, так как она слишком проста, он ее не признает и вместо нее начинает заниматься смешными ей тайнами — лишь потому, что это тайны. Я убежден, что, если бы большинство людей, не замечающих ни значения чисел, ни свойств планет, ни необходимости, господствующей в определенные времена и при определенных круговращениях Вселенной, видели её порядок таким, каков он есть, они не удержались бы от восклицания в адрес этого восхитительного порядка: «Как! И это все?»

Парацельс. Вы изображаете смешными тайны, в которые не сумели проникнуть и которые в действительности хранятся для великих людей.

Мольер. Я гораздо больше уважаю тех, кто совсем ничего не смыслит во всех этих тайнах, чем тех, кто их понимает. К сожалению, однако, природа не добилась того, чтобы весь свет в них ничего не смыслил.

Парацельс. Но вы, высказывающийся столь авторитетно, какую вы имели профессию в своей жизни?

Мольер. Профессию весьма отличную от вашей. Вы исследовали достоинства духов, я же — людские глупости.

Парацельс. Ну и исследование! Разве и так не известно, что люди существуют для того, чтобы делать тысячи глупостей?

Мольер. Это известно лишь в общем и достаточно смутно. Однако если заняться этим детально, то прямо-таки дух захватывает от обширности этой науки.

Парацельс. Но в конце концов какую вы извлекли из нее пользу?

Мольер. Я собирал в одно место возможно большее число людей и там показывал им, что все они глупцы.

Парацельс. Но чтобы убедить их в подобной истине, требовалось, несомненно, говорить без конца?

Мольер. На самом деле нет ничего легче. Им показывают их глупость, не пуская в ход никаких уловок красноречия и хорошо обдуманых рассуждений. Все, что делают люди, настолько смешно, что стоит им наглядно показать их поступки, и вы увидите, как они лопнут от смеха.

Парацельс. Я вас понял, вы комедиант. Что касается меня, то я не понимаю удовольствия, получаемого людьми от комедии: они приходят на нее, чтобы посмеяться над представляемыми в ней нравами. Но почему не смеются они над нравами в жизни?

Мольер. Чтобы смеяться над нравами света, надо находиться как бы вне их, а этого-то и достигает комедия: она представляет вам все в виде зрелища, так, как если бы вы не являлись его участником.

Парацельс. Но зрители ведь немедленно включаются в то, над чем они смеются, и таким образом начинают принимать в этом участие?

Мольер. Будьте уверены в этом. Вчера в виде развлечения я написал здесь на этот сюжет басню: молодой гусенок лениво летит — как обычно летают такие вот птицы; в один из моментов этого полета, когда он летит не выше, чем на фут от земли, он обрушивается на всех остальных обитателей птичьего двора. «Несчастливая вы скотинка, — говорит он, — я смотрю на вас с высоты, вы же не умеете так расправлять крылья». Насмешка эта была недолгой, гусенок в тот же самый миг падает обратно на землю.

Парацельс. Но для чего же нужны комедийные мысли, если они напоминают полет этого вот гусенка и если каждый снова впадает в обыденную глупость?

Мольер. Посмеяться над собой — это уже очень много. Природа даровала нам чудесную способность мешать самим себе быть дураками в собственных глазах. Сколько раз бывает, что, в то время как одна наша часть делает что-нибудь со всем усердием и пылом, другая часть над этим смеется! И поверьте, если бы была в том нужда, нашлась бы и третья часть, которая смеялась бы над двумя остальными. Разве не говорят, что человек создан из взаимно дополняющих друг друга частей?

Парацельс. Я не считаю, что тут, во всем этом, есть предмет для серьезного упражнения нашего ума. Несколько легкомысленных размышлений либо малообоснованных (что очень часто бывает) шуток не заслуживают большого уважения: а ведь сколь великие усилия должна делать наша созерцательная способность для того, чтобы подняться до предметов возвышенных!

Мольер. Вы снова толкуете о своих духах; что касается меня, то я признаю только моих глупцов. Впрочем, хотя я всю жизнь трудился лишь над этими предметами, выставленными напоказ всему свету, я могу вам уверенно предсказать, что мои комедии переживут ваши возвышенные произведения. Все ведь подвержено переменам моды. Судьба произведений ума не завиднее судьбы одеяний. Я видел бог знает сколько книг и видов писаний, погребенных вместе с их авторами — так, как у некоторых народов кладут в захоронения мертвецов вещи, бывшие им наиболее дорогими в жизни. Я-то отлично знаю, какие перевороты могут происходить в литературной империи; и при всем том я ручаюсь за

долговечность моих комедий. Причина этого мне ясна: тот, кто хочет создать бессмертные образы, должен писать дураков.

Лжедмитрий III, Декарт

Декарт. Я должен знать северные страны почти что не хуже вас. Порядочную часть своей жизни я жил и философствовал в Голландии; а под конец я умер в Швеции¹, будучи еще большим философом, чем когда бы то ни было.

Лжедмитрий. Я вижу по наброску вашей жизни, который вы сделали, что она была весьма приятной. Вас целиком занимала философия. Я-то жил далеко не так безмятежно.

Декарт. Это ваша собственная вина. Что это вам вздумалось сделаться Великим князем Московским и при этом воспользоваться столь негодными средствами? Вы задумали выдать себя за царевича Дмитрия, которому принадлежал трон, а ведь у вас перед глазами уже был пример двух Лжедмитриев: они один за другим взяли себе это имя, но были разоблачены и злополучно погибли. Вам бы следовало дать себе труд изобрести какую-то новую ложь: ведь ясно было, что, уже не раз использованная, она не могла иметь успеха.

Лжедмитрий. Между нами, москвитяне совсем не такие тонкие люди. Они имеют глупость претендовать на сходство с древними греками²: бог весть, на чем основаны эти их претензии.

Декарт. И все-таки они были не так глупы, чтобы дать одурачить себя трем Лжедмитриям подряд. Я убежден, что, когда вы затеяли свои притязания на титул царевича, почти все они с презрением воскликнули: «Ну и ну! Неужели мы увидим еще одного Дмитрия?!»

Лжедмитрий. Однако я позаботился о том, чтобы сколотить вокруг себя большую партию. Имя Дмитрия было любимо: на него-то все и сбегались. Вы же знаете, что такое толпа.

Декарт. И вас несколько не устрасил скандальный конец двух других Дмитриев?

Лжедмитрий. Напротив, их пример меня вдохновлял. Разве не должны были все подумать, что

только подлинный Димитрий мог посмечь появиться после того, что случилось с двумя другими? Это было весьма отважным поступком, каким бы ни был настоящий Димитрий.

Декарт. Но если бы вы были первым, взявшим себе это имя, как могли бы вы быть столь бесстыдным, чтобы принять его, не имея уверенности в том, что сумеете представить достаточно правдоподобные доказательства?

Лжедимитрий. А вы, который задаете мне столько вопросов и которому так трудно угодить, как осмелились вы выдать себя за родоначальника новой философии³, все таинственные истины которой до вас оставались закрытой книгой?

Декарт. Я нашел многие вещи столь очевидными, что льстил себя надеждой, будто они истинны и достаточно новы для того, чтобы создать отдельную школу.

Лжедимитрий. А не испугал вас пример стольких философов, имевших мысли столь же хорошо обоснованные, как ваши, и тем не менее в конце концов прославивших дурными философами? Вам могут назвать длинный список таких имен, а вы мне в состоянии указать только на двух Лжедимитриев, бывших моими предшественниками. Я всего лишь третий в своем роде, попытавшийся одурачить москвитян; вы же даже не тысячный в вашем роде, попытавшийся втереть очки всему человечеству.

Декарт. Вы отлично знали, что вы не царевич Димитрий. Я же опубликовал лишь то, что считал совершенно истинным, а считал я это таковым лишь ввиду полной очевидности. Я не отступил от своей философии до тех самых пор, как попал сюда.

Лжедимитрий. Неважно. Ваше чистосердечие не помешало вам испытывать нужду в дерзости; вы ведь должны были во всеуслышание заверить всех, что наконец-то открыта истина. Люди уже столько раз бывали обмануты другими, заверявшими их в том же самом, что, когда появляются новые философы, я поражаюсь, как это весь мир не восклицает в один голос: «Ну и ну. Снова эти философы и философия?!»

Декарт. Есть причина, по которой люди постоянно позволяют философам вводить себя в заблуждение

обещаниями. Время от времени открываются небольшие истины, маловажные, но забавные. Основ философии, признаться, эти истины совсем не затрагивают и не вносят в них ничего нового. Я также верю, что иногда люди наталкиваются на истину в самых серьезных ее разделах; но вот несчастье — при этом обычно не понимают, что найдена истина; ибо философия (полагаю, что мертвец может говорить все, что он думает) напоминает известную детскую игру, в которой один водит с завязанными глазами и старается поймать других. Если он кого-нибудь схватит, он должен его назвать; если он не может его назвать, он должен отдать фант и снова водить, пока не поймает. То же самое происходит с истиной. Не бывает, чтобы мы, философы, хоть глаза у нас и завязаны, иногда ее не схватили. Но увы! Мы не можем подтвердить, что схватили именно ее, и в тот же миг она от нас ускользает.

Лжедимитрий. Вижу весьма ясно, что она создана не для нас. Таким образом, вы в конце концов перестанете мечтать ее обрести. Мужество оставит вас, и это отлично.

Декарт. Уверяю вас, в вашем пророчестве нет ничего хорошего. Люди обладают невероятным мужеством, когда отстаивают то, что однажды вбили себе в голову. Каждый считает, что то, в чем отказано было всем другим, будет сохранено для него. За двадцать четыре тысячи лет появится уйма философов, которые станут похвастаться, будто разрушили все заблуждения, существовавшие в течение тридцати тысяч лет, и найдутся люди, которые поверят, что и на самом деле в ту пору у нас только-только начали открываться глаза.

Лжедимитрий. Так! Это было неслыханной дерзостью — попытаться обмануть москвитян в третий раз; а хотеть обмануть все человечество в тридцатитысячный раз — это не дерзость?! Значит, все люди еще глупее, чем москвитяне?

Декарт. Да, в том, что касается истины. Они гораздо больше в нее влюблены, чем москвитяне — в имя Димитрия.

Лжедимитрий. Если бы я начал сначала, я совсем не хотел бы быть Лжедимитрием. Я стал бы философом... Но если вдруг люди потеряют вкус к философии

и надежду на возможность открытия истины?.. Я очень бы всего этого опасался.

Декарт. У вас было гораздо больше причин опасаться, когда вы были царевичем. Поверьте, люди не потеряют мужества в поисках истины: этого никогда не случится. Так как новые философы не более нашли истину, чем древние, будет справедливым, если они по крайней мере получают надежду на ее открытие. Надежда эта всегда приятна, хотя и тщетна. Но если истиной мы не обязаны ни тем, ни другим, то по крайней мере тем и другим мы обязаны удовольствием одной и той же ошибки.

Сообщение об острове Борнео

Согласно обычаю всех ученых журналистов и в соответствии с декларацией в нашем первом предисловии¹, раритеты Индии включены нами в компетенцию «Новостей». Однако под термином «раритеты» следует понимать не только то, что относится к неодушевленным предметам, растениям и животным, но и то, что относится к человеку — устройство ли это его тела или же его духовные запросы.

Именно под этим последним углом зрения мы можем поместить здесь извлечение из письма, присланного из Батавии² и затрагивающего вопрос о гражданской войне, поднявшейся на острове Борнео. Гражданская война — это до некоторой степени естественный феномен, поскольку он основан на склонностях и особых душевных модификациях. Посмотрим, о чем идет речь.

Извлечение из письма, присланного из Батавии, области Восточной Индии, 27 ноября 1684 года. Письмо это принадлежит перу господина де Фонтенеля, оно было получено в Роттердаме господином Банажем³.

Вы знаете, что на о-ве Борнео, соседями которого мы являемся, королевская власть может принадлежать только женщинам. Народы Борнео столь ревниво относятся к тому, чтобы их правителями были лица исключительно королевской крови, и они так убеждены в хрупкости и недолговечности женской природы, что им всегда

требуется королева, дети которой неоспоримо были бы ее крови: для большей верности высшие должностные лица государства должны присутствовать при королевских родах.

Несколько лет тому назад на Борнео умерла королева Милизео⁴ и наследницей королевской власти стала ее дочь Мрео⁵. Первоначально она без труда была признана королевой по всему острову. Начало ее царствования пришлось по вкусу ее подданным. Но затем нововведения, которые она делала в правлении, вызвали ропот.

Мрео хотела, чтобы все ее министры были евреями, что уже само по себе было довольно суровым условием, и чтобы вдобавок они никогда до присвоения им сана не разделяли ложа женщины⁶; в то же время она приказала оскотить их таким образом, что мужья и впредь имели основания на них жаловаться.

На острове есть обычай, согласно которому королевы в известные дни устраивают общественные празднества для своих подданных. Мрео упразднила половину празднеств, дававшихся прежними королевами. Более того, хлеб во время ее царствования был в исключительно высокой цене по всему острову, и никто не знал бы, отчего это произошло, если бы не было решено, что некоторые маги, состоящие на жалованье у королевы, погубили урожай своими заклинаниями.

Еще больше жалоб слышалось по поводу постройки нескольких новых тюрем, в которые она приказала бросать преступников и откуда она их выпускала за деньги, что значительно повышало ее доходы. Но ничто не шокировало жителей о-ва Борнео больше, чем зал с трупами, находившийся во дворце королевы, хотя, по правде сказать, это и не было слишком большим злом для ее подданных.

Она приказывала бальзамировать тела своих фаворитов, когда они умирали; их водворяли в этот зал с великими церемониями, и раньше, чем кто-нибудь входил в апартаменты Мрео, он должен был оказать знаки почтения этим мертвецам.

Несомненно, на острове были люди, от природы обладавшие независимым и гордым умом, которые не могли со всем этим примириться. Так островитяне стали питать неприязнь к правительству, вплоть до того, что

появилась новая претендентка на королевскую власть⁷, утверждавшая, что она также дочь Милизео, и стремившаяся низложить Мрео.

Она начала с упразднения всех нововведений, вызывавших столько жалоб, распустила всех евнухов и магов, вздувавших цены на хлеб, ликвидировала зал с трупами, тюрьмы (кроме старинных) и отменила жалкие празднества.

Я забыл Вам сказать, что жители Борнео убеждены, будто законнорожденные дети должны походить на своих родителей. Энгю — так звучало имя новой принцессы — в совершенстве походила на покойную королеву Милизео, в то время как у Мрео не было ни одной сходной с ней черточки. Было, например, замечено, что Мрео очень не любит показываться народу. Говорили даже, что она уничтожила, насколько ей это было доступно, все портреты Милизео. Совсем напротив, Энгю, сколь только могла, ревностно хранила эти портреты, чем добилась того, что сходство ее с покойной королевой утвердилось исключительно прочно.

Мрео, со своей стороны, имела большое преимущество — ведь было очевидно, что ее родила Милизео, по крайней мере это было ясно из доклада сановников, бывших свидетелями этого события; в то же время сановники эти вовсе не видели рождения Энгю⁸. Правда, Энгю утверждала, что они были подкуплены, но это было весьма маловероятным. Она рассказывала также историю своего рождения, согласно которой она оказывалась законной дочерью Милизео; но история эта была уже почти совсем невероятной и очень походила на историю графа Сен-Жирана⁹, имевшую большое распространение у нас, в Европе.

Между тем соперничество этих двух королев разделило на две партии все население острова, и во всех его частях разгорелась война. Одни утверждали преимущество портретного сходства перед достоверностью происхождения, другие — преимущество рождения перед сходством. Последовали кровавые стычки, но ни одна из партий не смогла полностью разгромить другую. Однако считается, что Мрео это удалось. Недавно она захватила на очень неудобной местности часть армии Энгю и потребовала от нее присяги на верность. Если

ее партия благодаря этому не очень-то укрепилась, поскольку воины Энгю не слишком охотно сражаются под ее знаменами, то по крайней мере партия Энгю была этим очень ослаблена.

Я позаботился в минувшем году довести до Вашего сведения перипетии этой войны, поскольку Вы достаточно любите историю, для того чтобы не пренебрегать историей варварских стран, обычаи и нравы которых столь удивительны ¹⁰.

* * *

Г-н Фонтенель, написавший все вышеприведенное, является достойным племянником господина Корнеля ¹¹. Сначала он увлекался поэзией и сочинил немало изящных поэм. Многие из них были изданы в «*Mercure galant*» ¹². Он сочинил также новые «Диалоги мертвых», вызвавшие множество похвал.

В настоящее время он, кажется, считает, что произведения изящного искусства остались позади в его творчестве, поскольку он целиком и полностью погрузился в занятия математикой и метафизикой. Именно он — автор «Двух вопросов арифметики», написанных для № 9 нашего журнала и напечатанных в нем в сентябре и ноябре 1685 года. Если он сделает такие же успехи в области метафизики, какие, видим мы, он сделал в галантных стихах ¹³ и в математике, он станет выдающимся человеком в трех областях, каждая из которых обычно требует совершенно особой склонности души.

Рассуждения о множественности миров

Предисловие

Я нахожусь сейчас почти в положении Цицерона, приступившего к изложению на своем родном языке философских предметов, до тех пор трактовавшихся лишь по-гречески. Цицерон нам сообщает, что тогда го-

ворили, будто подобные работы совершенно бесполезны, ибо те, кто любит философию и дал себе труд изучить ее по греческим книгам, не считают нужным заглядывать после этого в книги латинские, которые не оригинальны; а те, кто не имеет вкуса к философии, не стремятся познать ее ни по-гречески, ни по-латыни.

На это он отвечал, что дело обстоит прямо противоположным образом: люди, незнакомые с философией, стремятся приобщиться к ней, опираясь на легкость латинского чтения; а тем, кто уже стал философом благодаря чтению греческих книг, приятно видеть, как эти предметы изложены по-латыни.

Цицерон имел полное право это утверждать. Его выдающийся гений и уже заслуженная им великая слава обеспечили успех нового вида писаний, предлагавшихся им публике. Что же касается меня, то я, конечно, не располагаю такими же основаниями для доверия к моей затее, столь похожей на его. Мне вздумалось излагать философию в стиле совсем не философическом: я попытался привести ее в такой вид, чтобы она не оказалась слишком сухой для людей светских и в то же время — слишком игривой для ученых мужей. Но если мне, подобно Цицерону, скажут, что такое сочинение не подходит ни ученым, которые из него ничего не почерпнут, ни светским людям, которые и не пожелают из него ничего почерпнуть, то я не побоюсь ответить то же самое, что ответил он. Вполне возможно, что, пытаясь найти ту золотую середину, благодаря которой философия станет доступной всему миру, я нашел то, что сделает ее не доступной никому. Золотую середину найти не так-то просто, и мне кажется, я не стану выполнять эту неблагодарную задачу дважды.

Если книгу эту будут читать люди, имеющие уже некоторые познания в физике, я должен предупредить их: я вовсе не претендую на то, чтобы их поучать; мое намерение лишь несколько их развлечь, представив им в приятной и веселой манере то, что они уже знают более основательно. Тех же, для кого эти предметы новы, я предупреждаю, что я надеялся и позабавить их и поучить. Первые пойдут против моих намерений, если станут искать здесь пользу; вторые же — если они будут искать здесь одну забаву.

Я вовсе не шучу, когда утверждаю, что из всей философии я выбрал предмет, более всего способный возбудить любопытство. По-видимому, самое для нас интересное — это узнать, как устроен тот мир, в котором мы обитаем, и существуют ли другие подобные миры, населенные так же, как наш. Но в конце концов пусть обо всем этом беспокоится, кто хочет. Тот, кто любит предаваться праздным мыслям, пусть и растрчивает их на такого рода вопросы; однако ничто на свете не в состоянии сделать эту затрату ненужной.

Я вывел в этих «Рассуждениях» женщину, которую я поучаю и которая никогда в жизни не слыхала подобных речей. Я решил, что прием этот принесет моему сочинению большее признание и воодушевит женщин примером одной из них, которая, никогда не выходя из роли человека, лишенного даже поверхностных знаний, в то же время не упускает случая послушать, что ей говорят, и уложить в своей голове в полном порядке круговороты миров. В самом деле, чем прочие женщины хуже этой вымышленной маркизы, хорошо понимающей: волей-неволей она должна постичь то, что ей говорят.

Правда, для этого ей приходится прилагать некоторые старания. Но какие же именно? Ей не надо проникать с помощью размышления в предмет, сам по себе туманный или туманно трактуемый. Ей надо лишь читать таким образом, чтобы точно представлять себе то, что она читает. Во имя всей этой философской системы я требую от дам такого же старания, какое надо приложить к «Принцессе Клевской»¹, если хотят хорошенько следить за интригой и понять всю ее прелесть. Правда, идеи предлагаемой книги менее знакомы большинству женщин, чем идеи «Принцессы Клевской», но они не более темны; и я уверен, что по крайней мере при вторичном чтении от дам ничто из этих идей не ускользнет.

Поскольку я не собираюсь построить систему, подобную воздушному замку, не имеющему никакого солидного основания, я буду употреблять доводы истинной физики, применяя столько из них, сколько будет необходимо. Но счастливым образом в нашем предмете идеи физики заняты сами по себе, и, удовлетворяя разум, они одновременно доставляют воображению зрелище,

дарящее ему столь великое удовольствие, как если бы спектакль этот был создан исключительно для него.

Обнаружив в своем предмете некоторые разделы, носящие несколько иной характер, я придал этим разделам несвойственное им оформление. Так поступил Вергилий в своих «Георгиках»², где он спасает главную часть своего очень сухого сюжета с помощью частых и, как правило, очень милых отступлений. То же самое сделал Овидий в своем «Искусстве любви»³, хотя главный сюжет этой поэмы бесконечно приятнее всего того, что он мог добавить. Очевидно, считал он, скучно все время твердить об одном и том же, пусть даже это будут галантные наставления. Что касается меня, то, хотя у меня гораздо большая, чем у него, потребность прибегать к отступлениям, я все же пользовался ими с великой осмотрительностью. Я оправдываю их естественной свободой беседы; помещаю я их лишь там, где, как я полагаю, их очень легко обнаружить; самую большую их часть я дал в начале собеседования, ибо там разум слушателя еще недостаточно привык к предлагаемым ему основным идеям. Наконец, я допустил их даже в своем главном изложении или в достаточной близости от него.

Я вовсе не хотел придумывать относительно обитателей миров того, что оказалось бы немислимой химерой. Я пытался рассказать обо всем, что можно мыслить разумно, и сами фантазии, добавленные здесь мной, имеют под собой некое реальное основание. Истинное и ложное смешано здесь воедино, но это всегда легко различить. Я не берусь обосновать столь причудливую смесь: именно в этом заключен основной смысл моего труда, и именно здесь я не могу назвать причины.

Мне остается в этом предисловии обратиться к одному определенному роду людей, но, возможно, это именно те, на кого труднее всего угодить. И не потому, что нельзя привести им достаточно веских доводов, но потому, что их привилегия — не считаться ни с какими вескими доводами, если им это не угодно. Люди эти педантичны и могут усмотреть опасность для религии в предположении, будто существуют обитатели других миров. Я с предельной деликатностью уважаю все, что относится к религии, и почитаю саму религию, а потому всячески избегаю задевать ее в этом труде, даже если

мои убеждения с нею расходятся. Но, быть может, вас удивит следующее: религия совсем не имеет отношения к той системе, согласно которой я наполнил обитателями бескрайное множество миров. Нужно только распознать одну небольшую ошибку воображения: когда вам говорят, что Луна обитаема, вы тотчас же воображаете себе людей, сделанных по нашему образцу; и вот, если вы хоть чуточку теолог, вас начинают одолевать сомнения. Потомство Адама не сумело ни распространиться вплоть до Луны, ни выслать в лунные пределы колонию. Люди, обитающие на Луне, это не потомки Адама. Однако с точки зрения теологии крайне неудобно, чтобы существовали люди, не являющиеся его прямыми потомками.

Нет нужды далее говорить об этом: все вообразимые трудности сводятся к изложенным выше, а определения, которые следовало бы дать в более развернутом виде, заслуживают слишком большого уважения, чтобы их помещать в книгу, настолько несерьезную, как эта. Возражение относится целиком и полностью к людям, обитающим на Луне. Но делают его те, кому угодно помещать на Луну людей. Я же не признаю ничего подобного: я допускаю на Луне обитателей, вовсе не являющихся людьми. Но кто же они тогда? Да я их вовсе не видел и говорю совсем не в силу моего с ними знакомства. И не надо подозревать меня в том, будто я делаю уступку, когда говорю, что на Луне нет людей, и с помощью этой уступки стремлюсь опровергнуть ваше возражение. Вы поймете немыслимость их пребывания там с точки зрения моей идеи бесконечного разнообразия, вложенного природой в свои творения. Эта идея господствует в моей книге, и ее не может оспорить ни один философ. Итак, я думаю, что услышу подобное возражение только от тех, кто станет оценивать эти «Рассуждения», их не читая. Но может ли это служить основанием для спокойствия? Совсем напротив: есть весьма законное основание опасаться, что такое возражение я услышу со всех сторон.

Господину Л***4

Вы желаете, чтобы я дал вам точный отчет в том, как я провел время в деревне, у мадам де Г***5. Но

знаете ли вы, что этот отчет превратится в книгу? И, что самое худшее, в книгу философскую? Вы ожидаете праздников, увеселений, охоты, а получите планеты, миры и круговороты: ведь мы занимались там только этим. По счастью, вы философ и не посмеетесь над этим, как мог бы сделать кто-то другой. Быть может, вы будете рады, что я привлек маркизу к участию в философских беседах. Мы не могли сделать лучшего приобретения, ибо я считаю, что юность и красота — это прекраснейшая награда. Не считаете ли вы, что, если бы сама Мудрость пожелала с успехом представиться людям, ей было бы неплохо явиться в обличье, напоминающем облик маркизы? Особенно если бы она была столь же приятна в своей беседе, я уверен, весь свет устремился бы вослед Мудрости.

Не ждите, однако, никаких чудес от моей передачи бесед с этой дамой: ведь надо обладать ее умом для того, чтобы повторить все сказанное ею, не нарушая самого духа ее речей. Вы заметите лишь ту живость восприятия, которая вам в ней знакома. Лично я считаю ее ученой, и исключительно по причине той легкости, с какой она могла бы ею стать. В самом деле, чего ей для этого недостает? Внимательно читать книги. Это нетрудно, и так делали всю свою жизнь очень многие люди, которым, если бы я осмелился на это, я отказал бы в звании ученых.

Наконец, месье, я хочу оказать вам услугу. Я отлично знаю, что, перед тем как войти в подробности моих собеседований с маркизой, я вправе описать вам замок, в котором она проводила осень: ведь часто описывали замки и по менее важным поводам. Но тут я вас пощажу. Достаточно вам знать, что, когда я прибыл к маркизе, я не нашел у нее никого, и это мне было очень приятно. В первые два дня не случилось ничего примечательного: они прошли в стремлении исчерпать парижские новости — ведь я приехал оттуда; но затем последовали беседы, которыми я хочу с вами поделиться. Я располагаю их для вас по вечерам, поскольку эти беседы действительно бывали у нас только в вечернее время.

Вечер первый

О том, что Земля — планета,
вращающаяся вокруг своей
оси и вокруг Солнца

Итак, однажды вечером, после ужина, мы пошли прогуляться по парку. Царила нежная прохлада, вознаграждавшая нас за жаркий день. Вот уже почти час, как вошла Луна, и ее свет, проникавший через ветви деревьев, давал приятное смешение ярко-белого с окружающей нас зеленью, казавшейся черной. Не было ни облачка, которое похищало бы или затемняло хотя бы одну звезду. Все звезды сверкали чистым золотом, еще более ярким и ясным на синем своде небес. Зрелище это привело меня в мечтательное состояние, и, быть может, без маркизы я бы достаточно долго предавался мечтаниям; однако присутствие столь любезной дамы не позволило мне отдаться созерцанию Луны и звезд.

— Не находите ли вы, — сказал я ей, — что даже день не столь прекрасен, как красивая ночь?

— Да, — отвечала она, — красота дня — это красота блондинки, в ней больше блеска; а красота ночи — это красота смуглянки, она больше трогает.

— С вашей стороны очень благородно, — подхватил я, — отдавать предпочтение брюнеткам, к которым вы не принадлежите. Однако вот что справедливо: день — это самое прекрасное в природе, и героини романов — самое прекрасное, что может измыслить воображение, — почти всегда блондинки.

— Но красота, которая не трогает, это красота, и только, — сказала она. — Признайтесь, что день никогда не погружал вас в столь сладостные мечтания, каким, насколько я сейчас видела, вы готовы были отдаться при виде этой прекрасной ночи.

— Согласен, — ответил я, — но в то же время блондинка, подобная вам, гораздо скорее заставит меня предаться грезам, чем самая прекрасная ночь, со всей ее смуглой прелестью.

— Будь это правдой, — возразила она, — я бы этим не удовольствовалась. Я пожелала бы, чтобы день, по-

скольку блондинки — его сообщницы, производил бы такой же эффект. И почему любовники — лучшие судьи в том, что может трогать, — обращаются всегда к одной только ночи во всех своих песнях и элегиях, мне известных?

— Но ведь нужно, чтобы ночь получала выражение их благодарности, — отвечал я.

— Однако, — возразила она, — к ней относятся и все их жалобы. А день совсем не пользуется их доверенностью — почему бы это?

— Очевидно, потому, — отвечал я, — что он не внушает никакой печали и страсти. Ночью кажется, будто все — в покое. Люди воображают, что звезды движутся спокойнее Солнца; являемые небом предметы более нежны и сладостны; взор останавливается на них с большей приятностью. Наконец, ночью лучше мечтается, потому что мы льстим себя мыслью, будто мы одни-единственные во всем мироздании заняты грезами. Возможно также, что зрелище дня слишком однообразно: днем — только Солнце и голубой небосвод. Быть может, вид всех этих небрежно рассыпанных звезд, расположенных наудачу и имеющих тысячи различных форм, благоприятствует грезам и определенному беспорядку мыслей, не лишенному удовольствия для того, кто в него погружен.

— Я всегда чувствовала то, что вы мне сейчас говорите, — подхватила она, — я люблю звезды и охотно сетую на Солнце, которое нас их лишает.

— Ах! — воскликнул я. — Не могу простить ему, что из-за него я теряю из виду все эти миры!

— Что вы называете «всеми этими мирами»? — молвила она, взглядывая на меня и повернувшись ко мне лицом.

— Прошу у вас прощения, — отвечал я, — вы вернули меня к моему сумасбродству, и мое воображение тотчас же расстроилось.

— Но в чем оно состоит, ваше сумасбродство? — спросила она.

— Увы, — отвечал я, — я слишком раздосадован, чтобы вам в этом признаться: я вбил себе в голову, что каждая звезда может быть отдельным миром. Однако я не поклянусь, будто это верно. Но я считаю это

верным, потому что мне доставляет удовольствие в это верить. Идея эта мне нравится, и она с приятностью поселилась в моем сознании. По-моему, даже истинам необходима привлекательность.

— Прекрасно! — сказала она. — Раз ваше сумасбродство столь привлекательно, поделитесь им со мною; я поверю относительно звезд всему, что вам угодно, лишь бы я усмотрела в этом некую привлекательность.

— Ах, мадам, — отвечал я с живостью, — привлекательность эта не такого рода, какую имеют комедии Мольера; удовольствие, получаемое от созерцания звезд, заключено где-то в разуме и заставляет смеяться только наш ум.

— Ну и что же? — возразила она. — Вы считаете, что люди не способны получать удовольствие, которое заложено только в разуме? Я тотчас же докажу вам противное. Расскажите мне о ваших звездах.

— Нет, — сказал я. — Никто не упрекнет меня в том, что в лесу, в десять часов вечера, я философствовал в присутствии самой очаровательной особы, какую я только знаю. Ищите ваших философов в другом месте.

И хотя я еще некоторое время сопротивлялся в таком же духе, пришлось все же уступить. По крайней мере я вынудил у нее обещание, что во имя моей чести она сохранит все это в тайне. И поскольку я был уже не в состоянии отпереться, я собрался говорить, но вдруг понял, что не знаю, с чего начать мою речь: ведь с особой, подобной маркизе, ничего не смыслящей в физике, нужно было начать издалека, дабы доказать ей, что Земля, как это очевидно, планета, а все звезды — солнца, освещающие миры. Я все пытался объяснить ей, что лучше болтать о пустяках, как это сделали бы любые разумные люди на нашем месте. Но в конце концов, чтобы дать ей общее представление о философии, я начал так:

— Всякая философия имеет только два основания: любознательный ум и плохие глаза. Ибо если бы зрение у вас было острее, вы отлично бы распознали, действительно ли звезды — это солнца, освещающие множество миров, или же это не так. С другой стороны, если бы вы были менее любознательны, вы не стара-

лись бы это понять и результат был бы тот же. Но обычно хотят знать более того, что видят, и в этом-то и состоит трудность. Впрочем, если бы то, что видят, видели бы как следует, то тем самым оно было бы познано; но обычно вещи видят совсем иными, чем они есть на самом деле. Поэтому истинные философы, всю свою жизнь старающиеся не доверять тому, что видит их взор, стремятся раскрыть вещи, от них полностью скрытые. Таким образом, в положении философов, на мой взгляд, нет ничего завидного. Вдобавок к этому я всегда представляю себе природу великим спектаклем, напоминающим оперу. С того места, где вы сидите в опере, вы видите театр совсем не таким, каков он на самом деле: декорации и машины расположены так, чтобы издали получалось приятное впечатление, и от вашего взора скрыты все эти колесики и противовесы, от которых зависит любое перемещение декораций. Итак, не затрудняйте себя отгадыванием, как все это приходит в действие. Один только механик, спрятавшийся в партере, обеспокоен полетом, кажущимся ему необычным, и стремится распознать, каким образом этот полет был выполнен. Вы, конечно, заметили, что механик этот создан наподобие философа.

Но с точки зрения философов, трудность усугубляется тем, что в машинах, являемых нам природой, все пружины отлично спрятаны и настолько совершенны, что пришлось долго отгадывать, какая причина приводит в движение Вселенную. В самом деле, представьте себе мудрецов — всех этих Пифагоров, Платонов, Аристотелей, всех тех, чьими именами в наше время нам прожужжали уши, — сидящими в опере: предположим, что они видят полет Фазтона¹, несомого ветрами, но не могут обнаружить скрытых пружин этого полета и вообще не знают, как устроены театральные кулисы. Один из них говорит: «Фазтона держит некая тайная сила»; другой: «Фазтон состоит из определенных чисел, и они-то и помогают ему взлететь»; третий: «Фазтон питает некую симпатию к театральной выси и чувствует себя не в своей тарелке, когда он не там»; четвертый: «Фазтон не создан для полета, но он предпочитает лететь, чем оставить театральный купол пустым»²; и так далее — сотни других фантазий, таких,

что только диву надо даваться, как они не сумели лишить античность ее славы. Наконец, явился Декарт³, а также некоторые другие новые мужи, сказавшие: «Фаэтон летит потому, что его увлекают пружины, и потому, что опускается более тяжелый противовес». Итак, больше не верят в то, что тело движется, если его при этом не тянут, или, вернее, если его не толкает другое тело. Не верят также, что оно подымается или опускается, если при этом не действует противовес или пружина. И тот, кто видит природу такой, какова она есть, видит всего лишь театральные оперные кулисы.

— Таким образом,— сказала маркиза,— философия стала весьма механистичной?

— Настолько механистичной,— отвечал я,— что, боюсь, этого тотчас же устыдятся. Стремятся к тому, чтобы великая Вселенная напоминала маленькие часы⁴ и чтобы все в ней свершалось с помощью правильных движений, зависящих от устройства частей. Признайтесь, разве вы не имели более возвышенного понятия о Вселенной? И не воздавали ли вы ей больших почестей, чем она заслуживает? Я видел людей, которые мало ее почитали с тех пор, как ее poznали.

— Что касается меня,— отвечала она,— я уважаю Вселенную больше с тех пор, как знаю, что она напоминает часы. Поразительно: достойный восхищения порядок природы основан на столь простом устройстве!

— Я не знаю,— сказал я ей,— от кого вы усвоили столь здравые мысли. В действительности это не очень обычно — иметь такие понятия. Люди всегда хранят в головах мысль о каком-то чуде, окутанном мраком, и они его чтят. Они восхищаются природой лишь потому, что считают ее неким родом магии, в которой нельзя ничего понять. И конечно, они полагают ее в чем-то обещанной с тех пор, как она может быть познана. Но, мадам,— продолжал я,— вы так хорошо подготовлены ко всему тому, что я вам хочу сказать; думается, мне нужно лишь отдернуть занавес и показать вам Мир.

С Земли, где мы находимся, самое удаленное, что доступно нашему зрению, это голубое небо — огромный свод, к коему звезды, казалось бы, прикреплены наподобие шляпок гвоздей. Их называют неподвижными,

ибо представляется, будто они движутся лишь вместе с небом, увлекающим их за собой с востока на запад. Между Землей и небесным сводом расположены на разной высоте Солнце, Луна и пять звезд, именуемые планетами,— Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн⁵. Планеты эти вовсе не прикреплены к одному и тому же месту неба, они имеют неодинаковое движение, по-разному расположены друг по отношению к другу и образуют различные конфигурации в противоположность неподвижным звездам, всегда имеющим одинаковое взаимное расположение. Например, Большая Медведица, которую, как вы видите, образуют эти семь звезд, всегда имеет один и тот же вид и долго еще будет его иметь; а Луна то ближе к Солнцу, то дальше от него; то же самое и другие планеты. Вот как представлялось все это древним халдейским пастухам, чей обширный досуг породил первые наблюдения, ставшие фундаментом астрономии: ибо астрономия родилась в Халдее, подобно тому как геометрия, говорят, родилась в Египте, где разливы Нила, уничтожавшие границы полей, стали причиной того, что каждый стремился изобрести точные средства для опознания своего поля и отличения его от поля соседа⁶. Итак, астрономия — дочь Праздности, геометрия же — Корысти. А если бы вопрос встал о поэзии, то мы бы нашли, конечно, что она — дочь Любви.

— Мне очень приятно, — сказала маркиза, — узнать эту генеалогию наук, и для меня очевидно, что я должна придерживаться астрономии. Геометрия, согласно тому, что вы мне сказали, предполагает более корыстную душу, чем у меня, поэзия же — более нежную. По счастью, мы находимся в деревне и ведем здесь вполне пастушеский образ жизни: все это подходит для астрономии.

— Не заблуждайтесь, мадам, — возразил я, — беседовать о планетах и неподвижных звездах — это еще не означает истинно пастушеской жизни. Посмотрите, в таких ли занятиях проводили свою жизнь герои «Астреи»? ⁷

— О! — сказала она. — Это очень опасный род пасторали. Я предпочитаю халдейскую пастораль, о которой вы мне сказали. Вернитесь, прошу вас, снова

к халдеям. В чем еще состояла задача, после того как узнали о том строении неба, о котором вы мне сообщили?

— Она состояла в том, — отвечал я, — чтобы разгадать, как могут быть устроены все части Вселенной, и именно это ученые именуют «построением системы». Но прежде чем я объясню вам первую из систем, надо вам заметить, если угодно, что все мы от природы устроены так, как известный афинский сумасброд, о котором вы, без сомнения, слышали, вообразивший, будто все суда, причаливающие в гавани Пирей, принадлежат ему. Наше сумасбродство в свою очередь состоит в том, что мы также считаем, будто все в природе без исключения существует для наших нужд; и, когда у наших философов спрашивают, для чего нужно такое изобилие неподвижных звезд, половины которых было бы достаточно для выполнения их назначения, они вам холодно отвечают, что все эти звезды служат тому, чтобы радовать взор. Согласно такому принципу, как это понятно, сначала вообразили, будто Земля необходимо должна покоиться в центре Вселенной, а все остальные небесные тела созданы для того, чтобы вращаться вокруг Земли и ее освещать⁸. Итак, над Землей поместили Луну, над Луною — Меркурий, далее Венеру, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн; а поверх всего этого оказалось небо неподвижных звезд. Земля, согласно этой системе, находилась как раз в середине кругов, описываемых планетами, и круги эти считались тем большими, чем больше планеты, их описывавшие, были удалены от Земли. Как следствие полагали, что планетам более удаленным требуется больше времени для их кругооборота, что действительно верно.

— Но я не понимаю, — перебила меня маркиза, — почему вы не признаете, как это очевидно, такой порядок Вселенной? Мне он представляется достаточно точным и легко постижимым, и с своей стороны я заявляю вам, что я им удовлетворена.

— Могу похвастаться, — возразил я, — что представил вам всю эту систему в несколько смягченном виде. Если бы я вам ее показал такой, как она была задумана Птолемеем или теми, кто работал над ней после него, это ввергло бы вас в совершеннейший ужас. Движения планет вовсе не так упорядочены, они вра-

щаются то быстрее, то медленнее, то одним порядком, то другим; иногда они больше удалены от Земли, иногда меньше. Древние измыслили бог знает сколько различных орбит, включенных одна в другую, и с помощью этой выдумки спасли все свои причуды. Нагромождение всех этих орбит было столь велико, что во времена оны, когда не знали еще ничего лучшего, один кастильский король⁹, великий математик и явный безбожник, сказал, что, если бы господь-бог, когда создавал мир, пригласил его на совещание, он мог бы дать ему несколько полезных советов.

Мысль эта достаточно вольнодумна; но довольно забавно, что упомянутая система послужила тогда поводом к согрешению — настолько она была запутана. Добрый совет, который собирался дать этот король, несомненно имел в виду упразднение всех этих орбит, только затруднявших небесные движения. Очевидно, он думал также об упразднении двух или трех лишних небосводов, помещавшихся обычно за пределами неподвижных звезд. Философы эти, чтобы объяснить один из видов движения небесных тел, помещали за этим последним, видимым нами, небом небо хрустальное, сообщающее упомянутое движение нижележащим небесам. Стоило только обнаружиться новому движению — тотчас же изобреталось новое хрустальное небо. В конце концов ведь хрустальные небеса им ничего не стоили.

— А почему эти небеса делались только из хрусталя? — спросила маркиза. — Разве из какого-либо другого материала они были бы плохи?

— Нет, — отвечал я, — но нужно было, чтобы через них проникал свет. Кроме того, они должны были быть и плотными; это было просто необходимо: ведь Аристотель нашел, что плотность есть нечто связанное с благородством природы небес, и поскольку он это сказал, то уж боже упаси было в этом усомниться. Однако потом наблюдали кометы, которые, находясь так высоко, как никто раньше не мог предполагать, разбивали весь небесный хрусталь там, где они проходили, а заодно и всю Вселенную. Понадобилось другое решение вопроса о небесной материи, и ее сделали текучей, подобной воздуху.

Наконец, согласно наблюдениям последних веков, стало ясно, что Меркурий и Венера вращаются не вокруг Земли, но вокруг Солнца, а древняя система совершенно не выдерживает подобного обстоятельства. Я сейчас предложу вам систему, удовлетворяющую всем условиям и освобождающую короля Кастилии от необходимости давать советы, ибо она очаровательно проста и только по одному этому должна быть предпочтена другим.

— Как может показаться,— вставила тут свое слово маркиза,— ваша философия — это род аукциона, где те, кто предлагает наименьшие издержки, берут верх над остальными.

— Это верно,— отвечал я,— и именно здесь можно уловить план, согласно которому природа сделала свое дело. План этот удивительно экономен¹⁰: все, что природа сумела сделать самым дешевым способом (лишь бы дешевизна эта не равнялась нулю), будьте уверены, она сделала именно таким образом. Экономия эта тем не менее сочетается с поразительной щедростью и великолепием, блистающим во всех ее творениях. Пышность и великолепие в замысле, экономия — в исполнении. Нет ничего прекраснее великого замысла, выполняемого скромными средствами. Мы, люди, часто готовы ниспровергнуть все это в наших идеях. Мы допускаем, что природа была экономна в замыслах и щедра в исполнении. Мы считаем, что крохотный замысел она воплотила путем издержек, десятикратно превышающих необходимые: все это смехотворно до ужаса.

— Мне очень приятно,— сказала она,— что система, о которой вы мне только что рассказали, очень близко напоминает природу; ибо размеры этого хозяйства помогают моему воображению, которому таким образом не очень трудно понять ваши слова.

— Здесь больше нет лишних трудностей,— отвечал я.— Представьте себе немца Коперника¹¹, ограбившего все это множество орбит, и одновременно — все эти плотные небеса, созданные воображением древних. Он разрушил одни и расколол на куски другие. Охваченный благородной астрономической яростью, он берет Землю и отводит ее далеко-далеко от центра Вселенной, где она ранее расположилась, и в этот центр поме-

щает Солнце, коему больше пристала такая честь. Планеты более не вращаются вокруг Земли и не запирают ее в центре описываемых ими кругов. Если они и дают нам свет, то это дело чистой случайности — они просто встречаются нас на своем пути. Все теперь вращается вокруг Солнца, даже сама Земля. И в наказание за взятый ею для себя столь длительный отдых Коперник обременяет ее, насколько только может, всевозможными движениями, перелагавшими ее ранее на плечи планет и небес. Наконец, из всей этой небесной упряжки, которую раньше крохотная Земля заставляла себе сопутствовать и себя окружать, осталась одна Луна, по-прежнему вращающаяся вокруг Земли.

— Пойдите немного, — сказала маркиза, — вас охватил такой энтузиазм, вы объясняете вещи слишком помпезно, и мне кажется, я плохо вас понимаю. Солнце находится в центре Вселенной и неподвижно покоится там? А что идет после Солнца?

— Меркурий, — отвечал я. — Он вращается вокруг Солнца таким образом, что Солнце образует приблизительный центр круга, описываемого Меркурием. Выше Меркурия расположена Венера, также вращающаяся вокруг Солнца. Затем идет Земля, находящаяся выше Меркурия и Венеры и описывающая около Солнца больший круг, чем они. Наконец, идут Марс, Юпитер, Сатурн в том порядке, как я вам их назвал, и вам становится совершенно ясно, что Сатурн должен описывать около Солнца из всех планет самый больший круг. Таким образом, ему нужно больше, чем любой другой планете, времени для своего кругооборота.

— А Луна? Вы забыли о ней, — прервала меня она.

— Я сейчас к ней вернусь, — отвечал я. — Луна вращается вокруг Земли и никогда ее не покидает. Но поскольку Земля все время движется по кругу, который она описывает вокруг Солнца, Луна сопутствует ей в этом движении, в то же время постоянно вращаясь вокруг нее. И если одновременно она вращается вокруг Солнца, то лишь потому, что она никогда не оставляет Землю.

— Я поняла, — сказала она, — и я люблю Луну за то, что она осталась с нами, тогда как все другие

планеты нас покинули. Поверьте, если бы ваш немец мог ее у нас отнять, он охотно бы это сделал. Ведь я вижу по всем его действиям, что он очень худо расположен к Земле.

— Я признаю за ним добрую волю,— отвечал я,— подвигнувшую его на то, чтобы победить людское тщеславие: люди поместили себя в самое прекрасное место Вселенной, а теперь я имею удовольствие видеть Землю в толпе планет.

— Прекрасно,— сказала она,— неужели вы считаете, что человеческое тщеславие распространилось даже на астрономию? И неужели вы думаете, что я чувствую себя униженной пониманием того, что Земля вращается вокруг Солнца? Клянусь вам, я не меньше себя оттого уважаю.

— Мой бог, мадам,— возразил я,— я отлично знаю, что люди гораздо меньше ревнуют к своему положению во Вселенной, чем к тому, какое они, по их мнению, должны занимать в парламенте, и что соперничество двух планет никогда не станет столь важным делом, как соперничество двух послов. Однако побуждение, которое толкает нас на то, чтобы занять самое почетное место при церемониале, заставляет и философа в своей системе помещать себя в центре мира, если только он это может сделать. Ему приятна мысль, что все в природе создано для него. Сам, возможно, того не ведая, он допускает лестный для него принцип, и сердце его не позволяет ему углубиться в чистое умозрение.

— Сказать по совести,— возразила она,— это клевета, которую вы придумали на человеческий род. В таком случае мы никогда не получили бы в наше распоряжение системы Коперника — ведь она для нас унизительна.

— Да,— подхватил я,— Коперник сам сильно сомневался в успехе своего мнения и долго не хотел его публиковать. Наконец он решился на это — по просьбе весьма уважаемых людей. Но в день, когда ему принесли первый экземпляр его книги¹², знаете, что произошло? Он умер. Он не пожелал терпеть все возражения, которые предвидел, и ловко вышел из игры.

— Но послушайте,— сказала маркиза,— надо быть справедливыми к человечеству. Несомненно, это не-

приятно — представлять себе, что вращаешься вокруг Солнца, ибо в конце концов мы-то остаемся на том же месте и утром оказываемся там же, где мы легли спать вечером. Я вижу, кажется мне, по вашему лицу: вы собираетесь мне говорить о том, что, поскольку Земля движется вся в целом...

— Безусловно,— прервал я,— это ведь то же самое, как когда вы засыпаете на корабле, плывущем по реке: на утро вы оказываетесь на том же месте и в том же положении относительно всех частей корабля¹³.

— Правильно. Но,— возразила она,— вот в чем разница: пробудившись, я нашла бы реку изменившей свои берега, и это позволило бы мне заметить, что мой корабль изменил свое местонахождение. Но с Землею не происходит того же самого — я нахожу там все так, как я это и оставила.

— Нет, мадам,— отвечал я,— совсем не так: берега изменяются и здесь. Вы знаете, что над всеми планетными орбитами находятся неподвижные звезды: это-то и есть берег. Я нахожусь на Земле, и Земля описывает большое кольцо вокруг Солнца. Я смотрю в центр этого кольца и вижу Солнце. Если бы оно не затемняло своим светом звезды, то, устремляя свой взор в прямом направлении за пределы Солнца, я непременно увидел бы, что оно расположено определенным образом относительно некоторых неподвижных звезд; но я легко увижу ночью, как и по отношению к каким звездам оно располагалось днем, а это совершенно одно и то же. Если бы Земля не меняла местоположения на своей орбите, я всегда видел бы Солнце одинаково расположенным по отношению к одним и тем же неподвижным звездам; но, поскольку Земля меняет свое место, отсюда необходимо следует, что я вижу Солнце иначе расположенным по отношению к звездам. Это-то и есть побережье, изменяющееся каждодневно; и, поскольку Земля совершает свой кругооборот вокруг Солнца в течение года, я вижу Солнце в течение года последовательно оказывающимся то около одних, то около других неподвижных звезд, в совокупности образующих круг. Круг этот именуется Зодиаком. Желаете ли вы, чтобы я набросал вам чертеж на песке?

— Нет,— ответила она,— я отлично обойдусь без этого, и потом, это придаст моему парку слишком ученый вид, а мне этого не хочется. Разве я не слыхала, что философ, выброшенный кораблекрушением на совершенно чужой ему остров, восклицает, обращаясь к своим спутникам, когда он видит различные фигуры, линии и круги, начертанные на морском берегу: «Крепитесь, друзья, остров обитаем, вот следы человека!»¹⁴ Вы отлично понимаете, что мне не подобает оставлять такие следы, и не нужно, чтобы кто-нибудь видел их здесь.

— Конечно,— бросил я,— лучше было бы, если бы здесь нашли лишь следы влюбленных, то есть ваше имя и инициалы, вырезанные в коре деревьев руками ваших поклонников!

— Оставим в покое, прошу вас, поклонников,— отвечала она,— и поговорим о Солнце. Я хорошо поняла, каким образом мы представляем себе, что оно описывает круг, тогда как в действительности описываем его мы сами. Но путь этот заканчивается лишь через год, а каким же образом Солнце оказывается над нашей головой каждый день?

— Заметили ли вы,— сказал я ей,— что мяч, прокатившийся по этой аллее, имеет два движения? Он катится по направлению к концу аллеи, и в то же самое время он многократно обращается вокруг своей оси таким образом, что верхняя часть мяча становится нижней и наоборот. То же проделывает и Земля. За время, в течение которого она движется по кругу, описываемому ею за год вокруг Солнца, она обращается и вокруг собственной оси: это продолжается двадцать четыре часа. Таким образом, в течение двадцати четырех часов каждая сторона Земли последовательно лишается Солнца и снова его обретает. И поскольку одна из сторон постепенно обращается к Солнцу, постольку кажется, что Солнце всходит; когда же эта сторона Земли от него удаляется—ведь Земля продолжает свое вращение,—кажется, что Солнце заходит.

— Это очень занятно,— сказала она.— Земля берет все на себя, Солнце же вообще ничего не делает. А когда Луна и другие планеты, а также неподвижные звезды кажутся нам совершающими кругооборот над

нашими головами в течение двадцати четырех часов, это ведь тоже только наше воображение?

— Чистейшее воображение,— отвечал я,— имеющее ту же самую причину. Только планеты совершают свои обороты вокруг Солнца в неодинаковое время, в соответствии с их неравными расстояниями от него, и ту из них, какую мы сегодня видим соответствующей определенной точке Зодиака, или круга неподвижных звезд, завтра мы увидим в тот же час в другой точке — как потому, что она продвинулась по своей орбите, так и потому, что мы продвинулись по нашей. Мы движемся, и другие планеты движутся также, однако движение это у них более или менее быстрое, чем наше. Это ставит нас в различные точки наблюдения по отношению к ним и уготапливает нам различные странности их передвижений, о которых нет необходимости вам говорить. Вам достаточно знать, что все, что есть «неправильного» у планет, происходит лишь от различия в способе, каким наше движение позволяет нам их встречать, и что в основе своей все их движения совершенно правильны.

— Согласна, пусть будет так,— сказала маркиза,— но я предпочла бы, чтобы их правильность дешевле обходилась Земле: ее совсем не пощадили, и для такой огромной, весомой массы от нее требуют слишком большой подвижности.

— Но,— возразил я ей,— не потребуете ли вы, чтобы Солнце и все прочие звезды, представляющие собой исключительно большие тела, совершали невероятное двадцатичетырехчасовое путешествие вокруг Земли? Чтобы неподвижные звезды, находящиеся на самой большой орбите¹⁵, пробегали в день более двадцати семи тысяч шестисот шестидесяти лье, умноженных на двести миллионов? Ибо все это должно быть так, если Земля не совершает оборота вокруг своей оси в течение двадцати четырех часов. В самом деле, гораздо более разумно, чтобы она проделывала это вращение, составляющее по длине не более девяти тысяч лье. Вы, конечно, видите, что девять тысяч лье в сравнении с ужасающей цифрой, которую я вам только что назвал, это просто безделица¹⁶.

— О! — ответила маркиза. — Солнце и звезды целиком состоят из огня, движение для них совсем не трудно; Земля же, по-моему, вовсе не приспособлена к движению.

— А поверили бы вы, — сказал я, — если бы не знали этого по опыту, что весьма приспособлен к движению громадный корабль, оснащенный полутора сотнями пушек и груженный более чем тремя тысячами человек и большим количеством товаров? Однако же достаточно небольшого дуновения ветра, чтобы он пошел по воде: ведь вода текуча и легко поддается силе, которая ее раздвигает; поэтому она почти не сопротивляется движению судна. Если судно находится посреди реки, оно без труда следует по течению — ведь ничто его не задерживает. Так и Земля, как бы ни была она массивна, легко передвигается в небесной среде, которая куда более текуча, чем вода, и заполняет собой все огромное пространство, где плывут планеты. Но за что же зацепить Землю, чтобы она могла сопротивляться этой небесной среде и не давала передвигать себя в ней? Ведь это все равно как если бы маленький деревянный шар был в состоянии не плыть по речному течению.

— Но, — возразила она снова, — каким образом Земля, со всем ее весом, удерживается в этой вашей небесной среде, которая должна быть весьма легкой, — ведь она текуча?

— Не следует говорить, — отвечал я, — будто все, что текуче, тем самым является и более легким. А что вы скажете о нашем большом судне, при всем его весе куда более легком, чем вода, на поверхности которой оно держится?

— Я не желаю вам больше ничего говорить, — сказала она, словно рассердившись, — пока вы не оставите в покое большое судно. Но вы хотите меня убедить, будто совсем не следует опасаться такой легчайшей вертушки, какой вы мне изображаете Землю?

— Ну что ж, — отвечал я ей, — давайте поместим Землю на четырех слонах, как поступали индийцы.

— А! Вот и другая система! — воскликнула она. — По крайней мере мне милы эти люди, обеспечившие себе безопасность и прочное основание, в то время как

мы, коперниканцы, настолько несерьезны, что стремимся отдаться на волю случая, плавая в этой небесной среде. Бьюсь об заклад: если бы индийцы знали, что Земле угрожает хоть самая малая опасность из-за ее движения, они удвоили бы количество слонов.

— Это стоило бы сделать,— промолвил я, смеясь ее мысли. — Не надо экономить слонов, лучше спать спокойно. И если вам это так необходимо на нынешнюю ночь, мы поместим в нашу систему столько слонов, сколько вам будет угодно, а потом станем их постепенно убирать, по мере того как вы начнете чувствовать себя увереннее.

— Если говорить серьезно,— отвечала она,— с этого момента я не считаю, что они мне так уж необходимы. Я чувствую в себе достаточное присутствие духа для вращения.

— Вы пойдете еще дальше,— подхватил я. — Вы будете вращаться с наслаждением, и у вас появятся очень веселые идеи относительно этой системы. Я, например, иногда представляю себе, что я подвешен в воздухе и остаюсь в таком положении без движения, а Земля подо мной совершает двадцатичетырехчасовой оборот. Перед моими глазами проходят всевозможные лица — одни белые, другие черные, те смуглые, эти оливковые. Проплывают друг за другом шляпы, турбаны, головы косматые, головы стриженные; улицы то с колокольнями, то с высокими шпилями, а то и обширные земли, на которых нет ничего, кроме кабанов; тут — бескрайные моря, там — дикие пустыни; и, наконец, все это бесконечное разнообразие, которым так богата поверхность Земли.

— В самом деле,— сказала она,— все это заслуживает двадцатичетырехчасового срока наблюдения. Итак, в том самом месте, где мы сейчас находимся (я не говорю: «в этом парке», а именно «в этом месте», подразумевая окружающий воздух), постоянно проходят другие народы, занимающие в ходе вращения наше место, а по истечении двадцати четырех часов мы сюда возвращаемся.

— Сам Коперник,— отвечал я,— не понимал всего этого лучше. Сначала здесь пройдут англичане, которые, быть может, станут рассуждать о политике, но менее

весело, чем мы — о философии; затем последует обширное море, и, возможно, на этом самом месте окажется несколько судов, которые будут здесь чувствовать себя значительно менее удобно, чем мы. Потом появятся ирокезы, с жадностью пожирающие своих пленных, захваченных на войне, а те будут делать вид, что это их совсем не касается; затем — женщины земли Джессо¹⁷, все свое время тратящие на приготовление пищи своим мужьям и на то, чтобы красить синей краской губы и брови с целью понравиться этим самым отвратительным мужчинам в мире. Далее пойдут татары, с великим благоговением совершающие паломничество к Великому Жрецу, никогда не выходящему из пещеры, освещенной одними свечами, при свете которых ему поклоняются; прекрасные черкешенки, которые, ничуть не ломаясь, уступают первому встречному все, кроме того, что, по их убеждению, принадлежит преимущественно их мужьям; крымские татары, охотно крадущие женщин для турок и персов. Наконец, вернемся сюда и мы и станем рассказывать еще какие-нибудь басни.

— Очень забавно, — сказала маркиза, — представлять себе все то, о чем вы мне сейчас рассказали. Но если я буду наблюдать все это сверху, я хочу обладать силой подгонять или же останавливать движение Земли по моему произволу, в зависимости от того, больше или меньше мне понравятся проплывающие мимо предметы. И, уверяю вас, я заставлю пронестись как можно быстрее тех, кто морочит себе голову политикой, а также тех, кто поедает своих врагов. Но другие — к ним я отношусь с любопытством. Например, к этим прекрасным черкешенкам, у которых такие странные обычаи. Однако передо мной встает серьезное затруднение: если Земля вращается, то ведь каждое мгновение воздух, которым мы дышим, меняется, и мы начинаем вдыхать воздух другой страны...

— Отнюдь, мадам, — отвечал я, — воздух, окружающий Землю, простирается лишь на определенную высоту, возможно не более чем на двадцать лье. Он сопутствует Земле и вращается вместе с нею. Вы, наверное, когда-нибудь видели, как работает это малое животное — шелковичный червь, создавая свои коконы с искусством, позволяющим ему потом целиком себя

в них запереть. Шелк, образующий эти коконы, очень прочен, но, кроме того, они покрыты легчайшим пушком, весьма слабым. Точно так же Земля достаточно плотна, и поверхность ее на определенную толщину покрыта подобием пуха, то есть воздухом, причем весь этот шелковичный кокон вращается одновременно. За пределами воздуха находится небесная среда несравненно более чистая, тонкая и подвижная, чем он.

— Вы мне даете о Земле очень жалкое представление,— сказала маркиза. — Однако ради этого шелковичного кокона совершается огромная работа, ведутся великие войны и господствует беспокойство во всех его пределах.

— Да,— отвечал я,— и в то же самое время природа, которая вовсе не вмешивается во все эти небольшие частные движения, несет нас всех в одном общем порыве и словно играет нашим маленьким шариком.

— Мне кажется,— возразила она,— что это смешно — находиться на чем-то вращающемся и в то же время испытывать беспокойство. Но вот несчастье: нет уверенности в том, что мы вращаемся; ибо не хочу в конце концов скрывать от вас, что все предосторожности, принимаемые вами для того, чтобы вращение Земли не было заметно, мне подозрительны. Возможно ли, чтобы оно не оставило ни малейшего следа, по которому можно было бы его распознать?

— Самые естественные и обычные движения,— отвечал я,— именно те, которые менее всего ощутимы. Это верно даже для морали¹⁸. Например, для нас так естественны побуждения самолюбия, что мы часто их не замечаем и считаем, будто мы действуем на основе совсем других принципов.

— А! Вы морализируете,— сказала она,— когда речь идет о физике: значит, вы уже зеваете от скуки. Пойдемте домой, достаточно для первого раза. Завтра мы вернемся сюда — вы с вашей системой, я — со своим невежеством.

На обратном пути к замку я сказал ей с намерением исчерпать вопрос о системах, что существует еще третья система, изобретенная Тихо Браге¹⁹, который, утверждая абсолютную неподвижность Земли, поместил ее в центре мира и заставил вращаться вокруг

нее Солнце со всеми планетами, в свою очередь вращающимися вокруг Солнца: ведь новые открытия лишили нас возможности заставить планеты вращаться вокруг Земли. Но маркиза, которая в своих суждениях была быстра и находчива, решила, что это уж чересчур неестественно — освободить одну только Землю от вращения вокруг Солнца, в то время как нельзя сделать того же самого для стольких других больших тел; что Солнце уже не может быть приспособлено к вращению вокруг Земли, после того как все планеты оказались вращающимися вокруг него; что, наконец, эта система пригодна лишь для утверждения неподвижности Земли, если кто к этому стремится, но совсем не годится для доказательства. В конце концов было решено, что нам надо придерживаться системы Коперника, более цельной и приятной и не содержащей в себе никакой примеси предрассудков. В самом деле, ее простота убеждает, а ее смелость радует.

Вечер второй

О том, что Луна — это обитаемая Земля

На другой день поутру, как только можно было войти в апартаменты маркизы, я послал справиться у нее о новостях и спросить, сумела ли она уснуть вчера по возвращении. Она велела мне ответить, что уже привыкла к легкомысленным повадкам Земли и провела ночь так же спокойно, как мог бы ее провести сам Коперник. Некоторое время спустя к ней явились гости, по деревенскому обычаю оставшиеся у нее до вечера. Вдобавок еще надо было им быть благодарным, ибо деревенский обычай давал им право растянуть свой визит до завтра, если бы они того пожелали; но у них хватило порядочности этого не сделать. Таким образом, маркиза и я оказались к вечеру свободными. Мы снова отправились в парк, и разговор не преминул тотчас же обратиться на наши системы. Она настолько хорошо их усвоила, что не пожелала говорить о них во второй раз

и попросила меня рассказать ей что-либо еще неизвестное.

— Ну что ж, — сказал я, — поскольку Солнце, оказавшись неподвижным, перестало быть планетой, а Земля, которая движется вокруг него, напротив, начала ею быть, то вы не очень удивитесь, если я скажу вам, что Луна — это та же Земля и, по всей очевидности, она обитаема.

— Я никогда не слыхала, — возразила она, — чтобы о населенности Луны говорили иначе чем в шутку и как о чем-то фантастическом.

— Пожалуй, в этом есть что-то от фантазии и сумасбродства, — отвечал я. — Я занимаю в этом вопросе такую же позицию, какую обычно занимают противники в гражданских войнах, во время которых неуверенность в будущем заставляет постоянно поддерживать согласие с врагами и даже бережно с ними обращаться. Поскольку я считаю Луну населенной, я не премину поддерживать учтивые отношения с теми, кто в это не верит, и я всегда готов с честью перейти в их ряды, если их мнение возьмет верх. Но пока они не получили перед нами значительного преимущества, я изложу вам, что заставляет меня склоняться на сторону луножителей.

Предположим, что никогда не существовало никакого сообщения между Парижем и Сен-Дени¹ и что некий парижский буржуа, никогда не выходивший из своего города, окажется на башнях Нотр-Дам² и увидит Сен-Дени издалека. Его спросят, считает ли он, что Сен-Дени населен так же, как и Париж. Он отважно ответит, что нет: ибо, скажет он, я отлично вижу жителей Парижа, но жителей Сен-Дени не различаю совсем; да о них никогда никто и не слыхивал. Случится, какой-нибудь человек объяснит ему, что, когда находятся на башнях Нотр-Дам, жителей Сен-Дени нельзя видеть, но причина этого — удаленность Сен-Дени от Парижа. На самом же деле, скажет он, все, что можно видеть в Сен-Дени, очень напоминает Париж: в Сен-Дени есть колокольни, дома, стены, и вдобавок ко всему он весьма напоминает Париж тем, что он населен.

Все это ничего не будет стоить в глазах моего буржуа. Он упрямо будет настаивать, что Сен-Дени

совсем не населен, ибо там никого не видно. Этот наш Сен-Дени и есть Луна, а любой из нас — тот же парижский буржуа, никогда не выходивший из своего города.

— А! — перебила меня маркиза. — Вы изображаете нас глупцами! Но мы вовсе не так просты, как ваш буржуа. Раз он видит, что Сен-Дени устроен совершенно так же, как Париж, он должен совсем потерять разум, чтобы не верить в его населенность. Но Луна устроена совсем не так, как Земля.

— Будьте осторожны, мадам! — подхватил я. — Ведь если окажется, что Луна во всем напоминает Землю, вы вынуждены будете признать, что она обитаема.

— Я признаю, — отвечала она, — что в таком случае трудно найти средство от этого отделаться; и фанатическая вера, отраженная у вас на лице, меня пугает. Два рода движения Земли, о которых я ранее не имела никакого понятия, делают меня значительно скромнее во всем остальном. Однако же разве это возможно, чтобы Земля светилась так же, как Луна? А ведь без этого они не будут между собою схожи.

— Увы, мадам, — отвечивал я, — светиться — это совсем не столь великое дело, как вы считаете. Только в Солнце это значительное достоинство. Оно светится само собою, в силу своей особой природы; но планеты получают свой свет лишь от него. Оно посылает свой свет Луне, а Луна пересылает его нам, и так же точно Земля должна передавать солнечный свет Луне: ведь от Земли до Луны не большее расстояние, чем от Луны до Земли.

— Но, — спросила маркиза, — разве Земля так же, как Луна, способна отражать солнечный свет?

— Я замечаю в вас, — отвечал я, — остатки уважения к Луне, от которых вы не можете избавиться. Свет состоит из маленьких шарообразных телец³, которые ударяются о плотную массу и возвращаются в обратном направлении, тогда как воздух или стекло они проникают в прямом направлении, через имеющиеся в них отверстия. Итак, светиться Луну заставляет то, что она твердое и плотное тело, пересылающее нам эти маленькие шарообразные тельца. Но, как я полагаю, вы не станете оспаривать у Земли эту самую твердость и плотность. Подивитесь по крайней мере тому, что зна-

чит выгодное положение: ведь в силу того, что Луна удалена от нас, мы видим ее только как светящееся тело и не ведаем того, что это — огромная масса, подобная Земле. Наоборот, Земля, поскольку она имеет несчастье рассматриваться нами вблизи, представляется нам всего лишь огромной массой, годной только на то, чтобы поставлять пропитание животным. Мы не замечаем, что она светится, поскольку не можем оказаться на некотором расстоянии от нее.

— Это происходит таким же образом, — сказала маркиза, — как когда мы поражены блеском чьего-либо высокого положения и не отдаем себе отчета, что по существу положение это ничем не отличается от нашего.

— Да, сходство здесь несомненное, — ответил я. — Мы стремимся судить обо всем, и мы всегда находимся в неудачной исходной точке суждения. Когда мы хотим судить о себе самих, мы находимся от себя слишком близко. Но если кто находился бы между Луной и Землей, он был бы на самом точном месте для правильной точки зрения. Надо просто быть наблюдателем мира, а не только его обитателем.

— Я никогда не успокоюсь, — сказала она, — из-за несправедливости, которую мы допускаем в отношении Земли, и из-за явного предпочтения, оказываемого нами Луне, если вы только меня не заверите, что люди Луны не лучше понимают свои преимущества, чем мы — свои, и что они принимают нашу Землю за звезду, не ведая, что она также населена.

— За это, — подхватил я, — я вам ручаюсь. Им кажется, что мы достаточно точно выполняем наше назначение звезды. Правда, они не видят, будто мы описываем около них круг; но это не имеет никакого значения. Та половина Луны, которая была обращена к нам в начале света, постоянно обращена к нам и во все последующие времена. Она всегда являет нам свои глаза, рот и другие части лица, придаваемого ей нашим воображением, которое питается видимыми на ней пятнами. Если бы к нам вдруг обратилась ее противоположная сторона, другие пятна, расположенные иначе, чем эти, заставили бы нас без сомнения вообразить что-либо другое. Это не значит, что Луна не вращается вокруг своей оси, но она совершает это вращение и

кругооборот вокруг Земли одновременно — в течение месяца. В то самое время, как она производит часть этого вращения вокруг своей оси и должна спрятать от нас, например, одну из щек этого воображаемого лица и явить нам что-то другое, она проделывает подобную же часть своего вращения вокруг Земли и, заняв другое, с нашей точки зрения, положение, продолжает обращать к нам все ту же щеку. Таким образом, Луна, которая с точки зрения Солнца и других звезд вращается вокруг своей оси, с нашей точки зрения, вовсе не имеет такого вращения. Ей же самой все они — Солнце и звезды — представляются то восходящими, то заходящими в течение пятнадцати дней, а нашу Землю она всегда видит подвешенной в одной и той же части неба.

Эта видимая неподвижность вовсе не подобает телу, которому надлежит считаться звездой, но ведь неподвижность эта несовершенна. Луна колеблется известным образом, и из-за этого колебания небольшая часть ее «лица» иногда прячется и одновременно показывается небольшой кусочек противоположной стороны. И Луна, клянусь честью, не преминет приписать это колебание нам и вообразить, что мы раскачиваемся в небе, как маятник — туда и обратно.

— Все эти планеты, — сказала маркиза, — устроены в точности, как мы, приписывающие другим то, что свойственно нам самим. Земля говорит: «Это не я вибрирую, это — Солнце»; Луна: «Это не я вибрирую, это — Земля»; и всюду царят ошибки.

— Я не советую вам пытаться здесь что-нибудь изменить, — отвечал я, — лучше вам окончательно убедиться в том, что Луна и Земля совершенно подобны друг другу. Представьте себе два этих огромных шара подвешенными в небесах. Вы знаете, что Солнце всегда освещает половину шарообразного тела, другая же половина остается в тени. Таким образом, как у Земли, так и у Луны освещена бывает всегда только одна половина, и, следовательно, когда в одной половине бывает день, в другой там ночь. Заметьте, однако: у мяча уменьшается сила и скорость, после того как он, ударившись о стену, возвращается назад; так и свет ослабеваает, после того как бывает отражен от какого-нибудь тела. Этот белесый свет, исходящий к нам от Лу-

ны, есть не что иное, как свет самого Солнца; он приходит к нам от Луны лишь как отражение. Поэтому он приходит, уже утратив в значительной мере силу и яркость, которые ему были присущи раньше, когда его получала сама Луна. Точно так же сияние, которое мы получаем от Солнца и которое Земля отражает и посылает Луне, попадая туда, оказывается всего лишь белесоватым светом. Итак, то, что нам кажется светящимся на Луне и что светит нам по ночам,—это те части Луны, где сейчас день. И точно так же части Земли, где день тогда, когда они обращены к ночным частям Луны, освещают эти последние. Все зависит от положения, в котором находятся друг относительно друга Земля и Луна. В первые дни месяца, когда Луны не видно, она находится между нами и Солнцем и дневная ее часть обращена к Солнцу. Необходимо, чтобы в это время вся ее дневная часть была обращена к нему, а вся ночная — к нам. Эта последняя нам и не снится — ведь у нее нет никакого освещения, которое помогло бы нам ее видеть. Но, будучи обращена к дневной половине Земли, эта ночная половина Луны видит нас, а сама невидима, причем видит она нас в точно таком же обличье, как мы видим полную Луну. И тогда это для жителей Луны «полноземелье», если только можно так выразиться. Затем Луна, проделывающая полный оборот вокруг Земли за месяц, уходит из-под Солнца и начинает поворачивать к нам маленькую частичку своей освещенной половины — и вот перед нами молодой месяц. В то же время части Луны, где ночь, постепенно перестают видеть всю дневную часть Земли, и мы кажемся ей на ущербе.

— Довольно об этом,—внезапно прервала меня маркиза,—я узнаю все остальное, когда мне вздумается; мне нужно будет только мгновение подумать и затем провести Луну по всему ее месячному кругу. В общем я вижу, что на Луне все делается наперекор нам; и я быюсь об заклад: когда у нас полная Луна, это значит, что вся освещенная половина Луны обращена лицом к затемненной половине Земли, и в это время они нас совсем не видят, что считается у них «новоземельем». Я не желаю, чтобы меня упрекнули в том, что я

заставила себе долго объяснять такую простую вещь. Но вот затмения — как они происходят?

— Вам легко догадаться,— отвечал я.— Когда у нас новолуние, то есть Луна находится между Солнцем и нами и вся ее темная половина обращена к нам, у кого в это время день, как вам легко понять, на нас падает тень от затемненной половины Луны. Если Луна точно расположена под Солнцем, эта тень его от нас закрывает и одновременно затемняется та светлая часть Земли, которая была видна с темной стороны Луны: вот вам и солнечное затмение для Земли во время нашего дня и затмение Земли для Луны во время ее ночи. Когда Луна полная, Земля находится между нею и Солнцем и вся темная сторона Земли обращена к светлой стороне Луны. В это время тень от Земли падает на Луну; если она падает на главную часть Луны, она затемняет ту ее светлую половину, которая нам видна, и крадет у нее — там сейчас день — Солнце. Вот вам и затмение Луны во время нашей ночи и затмение Солнца для Луны в самое время дня, которым она наслаждалась. Причина же того, что затмения не наступают всякий раз, как Луна оказывается между Солнцем и Землей или Земля — между Солнцем и Луной, та, что часто эти три тела не очень точно помещаются на прямой линии и в результате то из них, которое должно вызвать затмение, бросает свою тень несколько в стороне от того тела, которое этой тенью должно быть затемнено.

— Я просто поражена,— сказала маркиза,— что в затмениях так мало таинственного, а в то же время весь свет не догадывается об их причине.

— Да, действительно,— отвечал я,— существует много людей, которые, судя по тому, как они за это берутся, не скоро познаются до этой причины. По всей Восточной Индии верят, что при затмениях Солнца и Луны некий дракон, имеющий очень черные когти, простирает их на звезды, которые хочет похитить: в это самое время вы можете увидеть реки, покрытые головами индийцев, погрузившихся в воду по шею, ибо они считают, что такое их состояние весьма благочестиво и очень благоприятно для того, чтобы добиться от Солнца и Луны согласия защищаться против дракона.

Жители Америки были убеждены, что во время затмения Солнце и Луна бывают разгневаны, и бог весть чего только они не предпринимают для того, чтобы с ними войти в соглашение. А греки, люди столь изощренные, разве не верили они долгое время, что Луна во время затмений околдована и что маги сводят ее с небес для того, чтобы разбросать по посевам некую вредоносную пену? А мы — разве мы не были в совершеннейшем ужасе года так тридцать два тому назад, когда произошло подлинно полное солнечное затмение? ⁴ Разве несчетное количество людей не попряталось тогда в подземельях? А философы, которые писали тогда, чтобы нас успокоить, разве не трудились почти совершенно напрасно? И вышли ли в результате из подземелий те, кто нашли там убежище?

— В самом деле, — отвечала она, — все это достаточно постыдно для человечества. Людям следовало бы издать указ, который строго-настрого запрещал бы говорить о затмениях под страхом того, что может сохраниться память обо всех глупостях, сказанных или сделанных по этому поводу.

— Тогда следовало бы также, — возразил я, — чтобы тот же самый указ отменял любые воспоминания и запрещал о чем бы то ни было из этого говорить; ибо я не знаю ничего на свете, что не было бы памятником какой-нибудь человеческой глупости.

— Скажите мне, прошу вас, только одно, — попросила маркиза, — на Луне, там питают такой же ужас перед затмениями, как и здесь, у нас? Мне кажется очень смешным, что индийцы лунной страны погружаются в воду, как и наши, что лунные американцы верят, будто наша Земля гневается на них, что тамошние греки воображают, будто мы околдованы и собираемся повредить их посевы, и, наконец, что мы вселяем в них ту же растерянность, какую они вселяют здесь в нас.

— Я во всем этом несколько не сомневаюсь, — отвечал я. — И почему бы господам луножителям иметь более сильный разум, чем нам? По какому праву могут они наводить на нас страх, а сами его не испытывать? Я даже считал бы, — добавил я, смеясь, — что, раз огромное число людей настолько глупы, чтобы поклоняться Луне, значит, на Луне есть существа,

поклоняющиеся Земле, и, таким образом, мы стоим на коленях друг перед другом.

— После всего этого,— сказала она,— мы вполне можем пытаться оказывать влияние на Луну и вызывать там болезни. Но поскольку, для того чтобы отменить все почести, которыми мы станем похвалиться, нужно немножко разума и умения, признаюсь, я очень опасаясь, как бы нам не остаться в накладе.

— Не бойтесь ничего,— отвечал я,— не похоже, чтобы мы были единственными глупцами во Вселенной. Невежество — вещь в высшей степени характерная и потому имеет всеобщее распространение. И хотя невежество луножителей — это только моя догадка, я сомневаюсь в этом ничуть не больше, чем в достаточно достоверных известиях, которые мы получаем оттуда.

— А что это за достоверные известия? — перебила она меня вопросом.

— Это известия,— отвечал я,— сообщаемые нам всеми теми учеными мужами, которые дни напролет проводят у телескопа. Они вам могут поведать, что открыли там различные земли, моря, озера, высокие-превысокие горы и глубокие-глубокие пропасти.

— Вы меня поражаете,— воскликнула она. — Я отлично понимаю, что на Луне можно открыть горы и бездны, это ясно следует из наблюдаемых на Луне неровностей; но как эти ученые различают земли и моря?

— Их различают,— отвечал я,— потому, что вода, позволяющая части света ее проникать и отражающая совсем немного световых лучей, кажется издалека темным пятном; земля же, благодаря своей плотности отражающая свет целиком, представляется более светлым местом. Знаменитый господин Кассини, человек, которому во всем мире лучше всего знакомо небо, открыл на Луне нечто такое, что дробится на две части, затем опять объединяется и, наконец, исчезает в некоем колодце. Мы можем льстить себя мыслью — с определенной долей вероятности,— будто это не что иное, как река. В конце концов все эти части Луны узнали достаточно хорошо для того, чтобы дать им наименования, часто взятые от имен ученых. Одно из этих мест зовется «Коперник», другое — «Архимед», третье — «Галилей»⁵. Есть там «Мыс снов», «Море дождей», море,

именуемое «Нектар», «Море кризисов». Таким образом, описание Луны настолько точно, что ученый, который сейчас бы там оказался, растерялся бы не больше, чем я в Париже.

— Но,— сказала она,— мне было бы очень приятно узнать еще более подробно, каково внутреннее устройство лунной страны.

— Подобные сведения,— отвечал я,— невозможно получить от господ из обсерватории⁶. Этот ответ надо потребовать от Астольфа, которого проводил на Луну святой Иоанн⁷. Я рассказываю вам сейчас об одной из самых забавных шуток Ариосто, и я уверен, что вас она позабавит также. Правда, я считаю, что он лучше бы сделал, если бы не припутал сюда св. Иоанна, имя которого столь достойно почитания; но в конце концов это поэтическая вольность, о которой можно сказать разве только, что она чересчур легкомысленна. Впрочем, поэма посвящена одному из кардиналов, а один из великих пап выразил ей блистательное одобрение: его можно видеть предпосланным некоторым изданиям⁸. Вот о чем там речь⁹: Роланд, племянник Карла Великого, впал в безумие, так как прекрасная Анжелика предпочла ему Медора. В один прекрасный день храбрый паладин Астольф внезапно очутился в земном раю, расположенном на вершине очень высокой горы: его доставил туда гиппогриф. Там он встречает св. Иоанна, который говорит ему, что для исцеления Роланда им необходимо вместе совершить путешествие на Луну. Астольф, только и мечтавший о том, чтобы повидать лунную страну, не заставил себя долго просить — и вот огненная колесница влечет по воздуху апостола и паладина.

Поскольку Астольф не был великим философом, он был очень удивлен, увидев Луну значительно большей по размеру, чем она казалась ему, когда он наблюдал ее с Земли. Он был также весьма поражен, когда увидел лунные реки, озера, горы, города, леса и особенно — это меня также бы поразило — нимф, охотившихся в лесах. Но вот что было, на его взгляд, совсем редкостным на Луне — это небольшая долина, где находилось все то, что пропадало на Земле — что бы это ни было: короны, богатства, слава, бесчисленные надежды, время, которое мы тратим на игры, дары, которые нас

заставляют раздавать посмертно, стихи, подносимые нами принцам, и вздохи влюбленных.

— Что касается этих вздохов,— перебила меня маркиза,— то не думаю, чтобы во времена Ариосто они пропадали. В нынешнее же время я не знаю таких вздохов, которые достигали бы Луны.

— Если бы из всех женщин здесь, на Земле, жили бы только вы одна, мадам,— отвечал я,— вы заставили бы отправиться на Луну достаточное количество вздохов. В конце концов она довольно исполнительна и принимает все без исключения, что пропадает здесь. Но Ариосто шепчет вам это только на ушко: «Здесь можно найти все, вплоть до жалованной грамоты Константина». Знайте, что папы претендовали на владычество в Риме и Италии на основании дарственной, данной им на эти страны императором Константином; на самом же деле никто не знает, что случилось с этой дарственной. Однако отгадайте, чего нельзя найти на Луне вообще? Глупости. Вся когда-либо существовавшая на Земле глупость свято там сохраняется; но как бы в компенсацию за это трудно поверить, сколько содержится на Луне утраченных умов. Там можно увидеть множество склянок, наполненных очень прозрачной жидкостью, легко улетающей, если склянки не закупорены; и на каждой из этих склянок написано, кому принадлежит данный ум. Сколько я помню, у Ариосто сказано, что все эти склянки свалены в кучу. Но я предпочел бы думать, что они выстроены в правильный длинный ряд. Астольф был крайне удивлен, когда увидел, что склянки с умами многих людей, почитавшихся им очень мудрыми, наполнены до краев. Что касается меня, то я совершенно уверен: моя склянка сильно пополнится после того, как я побеседовал с вами о подобных фантазиях — не то философских, не то поэтических. Но вот что меня весьма утешает: все, что я вам рассказал, несомненно очень скоро обеспечит и вам небольшую скляночку на Луне.

Доблестный паладин, конечно, нашел свою склянку среди стольких других. Он схватил ее, с позволения св. Иоанна, и весь свой ум внюхал через ноздри, как венгерскую водку. Но Ариосто утверждает, что далеко он его не унес и, совершив вскорости большую

глупость, выпустил свой ум обратно на Луну. Однако он не забыл Роландову склянку, бывшую целью всего путешествия. Ему нелегко досталось это — ее нести: ум этого героя по своей природе был довольно тяжел, причем в этой склянке он был весь до капли. Итак, Ариосто, согласно своей похвальной привычке говорить все, что ему вздумается, обращается к своей возлюбленной и говорит ей в прекрасных стихах: «Кто, о моя красавица, поднимется на небеса, чтобы вернуть мне оттуда мой ум, потерять который заставили меня твои прелести? Я не жаловался бы на эту потерю, если бы она не усугублялась впредь. Но коли дело пойдет так и дальше, то мне остается лишь ждать, что я превращусь в описанного мною здесь Роланда. Однако я не верю, будто для того, чтобы вернуть свой ум, я должен долететь по воздуху до самой Луны: ум мой не обитает столь высоко. Он блуждает по твоим глазам и твоим губам, и если ты в самом деле хочешь, чтобы я его снова обрел, позволь мне собрать его моими устами». Разве это не прекрасно? Со своей стороны — если рассуждать, как Ариосто, — я хотел бы, чтобы ум теряли только из-за любви: вы же видите, что тогда он далеко не уйдет и нужно только иметь уста, умеющие его найти. Когда же его теряют по другим причинам — например, так, как теряем его сейчас мы, философствуя, — он улетает напрямик на Луну, и его уж нельзя раздобыть по желанию.

— В награду за это, — сказала маркиза, — наши склянки будут помещены вместе со склянками философов; а не то бродили бы, возможно, наши умы в совершенно не достойном их месте. Но чтобы мне окончательно потерять мой разум, скажите мне, и скажите очень серьезно: верите ли вы, что на Луне существуют люди? Ведь до сих пор вы не выразили своего положительного мнения на этот счет.

— Что касается меня, — отвечал я, — то я вовсе не верю в то, будто на Луне существуют люди. Посмотрите, как изменилось лицо природы в сравнении с нашей в Китае: другой облик, другие фигуры, нравы и даже принципы рассуждений. А уж отсюда до Луны изменения должны быть куда более значительными. Когда отправляются в некоторые вновь открытые земли, жители,

которых там находят, едва ли могут быть названы людьми, скорее это животные в человеческом облике, вдобавок достаточно еще несовершенном, и они полностью лишены человеческого разума. Тот, кто мог бы добраться до Луны, несомненно нашел бы там существа, не больше, чем эти, имеющие право именоваться людьми.

— Но что это был бы за род живых существ? — нетерпеливо спросила маркиза.

— Клянусь вам, мадам, — ответил я в тон, — я ничего об этом не знаю. Если бы могло быть, чтобы мы обладали разумом и в то же время не были бы людьми, и если бы мы населяли Луну, могли бы мы вообразить, что здесь, внизу, живет этот странный вид живых существ, который именуют человеческим родом? Могли бы мы представить себе нечто имеющее столь безумные страсти и в то же время — столь мудрую рассудительность? Столь краткую жизнь и такой далеко видящий взгляд? Такие познания в почти бесполезных вещах и столько невежества — в самых важных? Столь пылкую страсть к свободе — и столь великую склонность к рабству? Столь великую жажду счастья — и не менее великую неспособность быть счастливыми? Жители Луны были бы высокоразумными существами, если бы они это все отгадали. Мы, люди, мы сами без конца себя наблюдаем, и все-таки мы далеки от понимания нашего собственного устройства! Дошли до того, что стали говорить, будто боги были опоены нектаром в то время, как создавали людей, а когда они глянули на свою работу трезвым взглядом, они не могли удержаться от хохота!

— Итак, мы в безопасности от происков луножителей, — сказала маркиза, — они нас не разгадают. Но мне хотелось бы, чтобы мы их могли разгадать. В самом деле, это ведь действует на нервы — знать, что они находятся там, в вышине, на этой Луне, которую мы видим, и не быть в состоянии представить себе их устройство!

— А почему, — спросил я, — вас несколько не беспокоят обитатели огромной южной страны¹⁰, до сих пор полностью неизведанной? Мы плывем с ними на одном корабле, только они — на носу, а мы — на корме. Вы от-

лично видите, что между кормой и носом нет никакой связи и что на одном конце корабля ничего не знают о людях, находящихся на другом, и в то же время вы желаете знать, что происходит на Луне — совсем другом корабле, плывущем далеко от нас в небе!

— О! — воскликнула она. — Я считаю, что жители южных земель нам знакомы, ибо, без сомнения, они должны очень на нас походить. Наконец, с ними познакомятся, когда дадут себе труд поехать туда и их поглядеть: ведь они всегда будут там и никуда от нас не денутся. А жители Луны — мы никогда их не узнаем, вот что приводит меня в отчаяние!

— Если говорить серьезно, — отвечал я, — и объяснить вам, что мы не можем знать будущего, вы посмеетесь надо мной, и поделом. Однако если мне вздумается, я отлично смогу защититься. У меня есть одна очень смешная мысль, тем не менее кажущаяся мне поразительно правдоподобной: верно, что я не знаю, как могла она, при всей ее дерзновенности, обрести столь правдоподобный вид. Бьюсь об заклад, что я заставлю вас признать вопреки всякому разуму, что может наступить день, когда между Землей и Луной установится связь. Представьте себе в уме, в каком состоянии была Америка до открытия ее Христофором Колумбом: жители ее пребывали в полной неизвестности; им совершенно неизвестны были науки и даже самые простые и насущно необходимые искусства. Они ходили наги, и единственным их оружием был лук. Им и в голову не приходило, что люди могут ездить на животных. Море они рассматривали как огромное пространство, запретное для людей, соединенное с небом и ровным счетом ничего за собой не имеющее. Правда, после того как они в течение многих лет выдалбливали стволы огромных деревьев с помощью острых камней, они пускались в плавание по морю на этих выдолбленных стволах и шли в них вдоль берегов, подгоняемые ветром и волнами. Но поскольку эти суденышки часто легко опрокидывались, люди должны были бросаться вплавь им вдогонку, и, честно говоря, они больше плыли своим ходом, кроме разве того времени, когда отдыхали в этих долбленых стволах от усталости. Если бы им кто-нибудь сказал, что существует вид плавания куда более

совершенный, что можно пересечь эту бескрайнюю воду там, где угодно, и так, как угодно, что вполне возможно остановиться и остаться стоять неподвижно посреди бушующих волн, что можно управлять скоростью движения судна, наконец, что это море, каким бы обширным оно ни было, не может служить препятствием для общения между народами (если только за пределами данного моря есть народы), они, можете быть спокойны, никогда бы вам не поверили. Однако же в один прекрасный день это престранное зрелище, столь неожиданное, явилось их взору: огромные предметы, казалось, имевшие белые крылья, летевшие по морю и изрыгавшие со всех сторон огонь; предметы, собиравшиеся высадить на берег незнакомых людей, как чешуей покрытых железным вооружением, легко справлявшихся с бросавшимися на них дикими животными и державших в деснице молнии, с помощью которых они сокрушали любое противодействие. Откуда явились они? Кто смог привести их сюда по морю? Кто дал в их распоряжение огонь? Не дети ли это Солнца? Ибо, конечно, это не люди.

Не знаю, мадам, вникаете ли вы так же, как я, в состояние изумления, охватившее тогда американцев: в мире никто никогда не испытывал большего. После этого я не поклянусь, что в один прекрасный день не может начаться общение между Луной и Землей. Думали ли когда-нибудь американцы, что установится связь между Америкой и Европой, о самом существовании которой они не имели понятия? Правда, нужно будет пересечь это огромное воздушное пространство, которое лежит между Землей и Луной. Но думали ли когда-нибудь американцы, что возможно пересечь океан?

— Право,— сказала маркиза, взглянув на меня,— вы не в своем уме.

— А кто с вами спорит? — спросил я.

— Но я вам сейчас это докажу,— отвечала она. — Мне недостаточно вашего признания. Американцы были очень невежественны; они не подозревали, что можно путешествовать по столь обширным морям. Но мы, обладающие такими познаниями, мы отлично представили бы себе, что можно шагать по воздуху, если бы только это действительно было возможно.

— И мы не только представляем это себе,— возразил я,— но и начинаем потихоньку летать. Несколько разных людей открыли секрет того, как приладить себе крылья, которые поддерживали бы их в воздухе и придавали бы им движение, чтобы можно было перелетать реки¹¹. Правда, это мало напоминало полет орла и время от времени стоило новоявленным птицам руки или ноги. Но ведь пока это все равно что первые доски, спущенные на воду и послужившие началом всей навигации. От досок этих далеко до огромных судов, совершающих кругосветные плавания, однако огромные корабли ведь вскорости появились. Искусство летать только что народилось; оно усовершенствуется, и в один прекрасный день мы окажемся на Луне. В самом деле, можем ли мы претендовать на то, будто уже всё изобрели или всё довели до такой точки, что уж ничего нельзя и добавить? Нет! Согласимся, пожалуй, что будущим векам еще осталось над чем поработать.

— Я никогда не соглашусь,— сказала она,— что можно летать иначе, как ломая себе тут же шею.

— Отлично,— сказал я.— Если вам угодно, чтобы всегда так скверно летали здесь, то на Луне будут летать лучше. Луножители больше нас приспособлены к этому ремеслу. А ведь неважно, мы ли отправимся туда или они прибудут к нам на Землю. И тогда мы окажемся в положении американцев, которые не могли себе представить, что можно плавать, хотя на другом конце света уже отлично плавали.

— Но тогда жители Луны должны были бы уже к нам явиться? — воскликнула она почти в гневе.

— Европейцы попали в Америку лишь через шесть тысяч лет,— ответил я, расхохотавшись.— Им понадобилось все это время для усовершенствования навигации; после этого они смогли переплыть океан. Луножители, возможно, умеют уже совершать небольшие путешествия по воздуху. В настоящее время они упражняются. Когда они приобретут больше сноровки и опыта, мы их увидим, и, один бог знает, как мы будем поражены?!

— Вы невыносимы,— сказала она.— Вы приводите меня в бешенство такими пустопорожными рассуждениями!

— Если вы меня рассердите,— сказал я,— я уж знаю, что мне добавить, чтобы подкрепить свою мысль. Заметьте, что мир развивается постепенно. Древние были уверены, что жаркий пояс и пояс льдов не могут быть населены¹² из-за крайней жары или холода. Во времена римлян общая карта Земли была не больше, чем карта их империи: с одной стороны, в этом было какое-то величие, с другой — полнейшее невежество. Однако люди все же стали обнаруживаться и в очень жарких, и в очень холодных странах: итак, мир расширялся. Затем решили, что океан покрывает всю Землю, за исключением той ее части, которая была известна, и что антиподов¹³ не существует вовсе, поскольку о них никто ничего не слыхал. И потом, возможно ли, чтобы ноги их были обращены вверх, а головы — вниз? После столь прелестного рассуждения тем не менее открыли антиподов: новые изменения на карте, новая часть Земли. Поймите меня хорошенько, мадам: эти антиподы, которых нашли против всех ожиданий, должны были бы нас научить быть сдержанными в своих суждениях. Быть может, мы увидим мир завершенным в своем развитии, узнаем его вплоть до Луны. Мы еще не пришли к этому, потому что пока не открыта еще вся Земля, и, конечно, необходимо все это делать по порядку. Когда мы хорошо ознакомимся с собственным обиталищем, нам будет дозволено узнать и обиталище наших соседей — луножителей.

— Говоря по правде,— сказала маркиза, внимательно глядя на меня,— я нахожу, что вы очень углубились в этот предмет и невозможно, чтобы вы не верили во все то, о чем вы тут говорите.

— Мне было бы очень досадно,— ответил я,— если бы это обстояло именно так. Я хотел только показать вам, что можно отлично поддерживать химеру для того, чтобы смутить умного человека, но нельзя таким образом его убедить. Только истина убеждает, она не нуждается даже во всех этих доказательствах. Она настолько естественно входит в сознание, что, когда ее воспринимают впервые, кажется, будто мы ее только припоминаем.

— А! Вы меня утешаете,— сказала маркиза.— Ваше ложное рассуждение меня расстроило, и я чувст-

вую, что мне хочется спокойно полежать — если только вам угодно, чтобы мы вернулись домой.

Вечер третий

Особенности лунного мира.

Другие планеты также обитаемы

Маркиза хотела пригласить меня в течение дня продолжать наши беседы. Но я внушил ей, что мы должны верить подобные грезы только Луне и звездам, поскольку именно они объект этих грез. Вечером мы не преминули пойти в парк, ставший священным местом наших ученых бесед.

— У меня для вас есть много новостей, — сказал я ей. — Луна, о которой я вчера сообщил вам, что она, по всей видимости, обитаема, вовсе лишена жителей: мне пришла в голову одна мысль, опасная для луножителей.

— Я не потерплю этого, — сказала она. — Вчера вы подготовили меня к тому, что эти люди могут явиться сюда в любой день, а сегодня их уже вообще нет на свете?! Вам не удастся так позабавиться на мой счет. Вы заставили меня поверить в обитателей Луны, я преодолела для этого все трудности, я готова была в них поверить!

— Вы очень торопитесь, — возразил я. — Не следует уделять тому, во что вы верите, более половины своего сознания; вторую половину надо сохранять свободной для противоположного мнения, если окажется нужда в том, чтобы его допустить.

— Я гроша ломаного не даю за сентенции, — сказала она. — Перейдем к фактам. Не следует ли судить о Луне так же, как о Сен-Дени?

— Нет, — отвечал я, — Луна не походит на Землю так, как Сен-Дени — на Париж. Солнце поднимает с Земли и из земных вод испарения и пары, которые, поднимаясь в воздух на определенную высоту, там уплотняются и образуют облака. Облака эти парят в подвешенном состоянии вокруг нашего земного шара и затеняют то одну страну, то другую. Тот, кто наблюдал

бы Землю издалека, часто замечал бы некоторые изменения на ее поверхности, ибо большая часть суши, покрытая облаками, казалась бы ему темным пятном, становящимся светлее по мере того, как эта часть освобождалась бы от облаков. Он увидел бы пятна, меняющие свое место, собирающиеся в причудливые образования или внезапно исчезающие. Те же самые изменения можно было бы наблюдать на поверхности Луны, если бы вокруг Луны собирались облака. Но как раз наоборот: пятна Луны постоянны, ее освещенные места всегда освещены — и в том-то и заключается все несчастье. Таким образом, Солнце не поднимает с поверхности Луны никаких паров и испарений. Луна — тело значительно более твердое и плотное, чем наша Земля, наиболее тонкие части которой легко освобождаются от других частей и поднимаются ввысь тотчас же, как только их начинает приводить в движение солнечное тепло. Конечно, существует определенное количество скал и мраморных глыб, не испаряющихся вовсе; впрочем, они так естественно и необходимо пристраиваются там, где есть вода, что, наоборот, там не должно быть воды, где их нет. Но каковы обитатели этих скал, на которых ничего не рождается, и этой страны, в которой совсем нет воды?

— Как! — воскликнула маркиза. — Вы забыли, что совсем недавно уверяли меня, будто на Луне есть моря, которые можно разглядеть отсюда, с Земли?

— Это только догадка, — отвечал я, — и меня это очень досадует. Темные пятна, которые принимают за моря, могут быть всего только впадинами. С такого расстояния можно и ошибиться.

— Однако, — сказала она, — достаточно ли этого, чтобы отказаться от мысли о луножителях?

— Во все нет, мадам, — отвечал я. — Мы не выскажемся ни против них, ни в их пользу.

— Я вам признаюсь в своей слабости, — сказала она, — я совсем не способна на такую совершенную неопределенность, мне необходима вера. Выскажите поскорее, прошу вас, какое-нибудь твердое мнение относительно луножителей: давайте сохраним их или же уничтожим навеки и не будем больше об этом говорить. Но лучше давайте сохраним их, если это возможно: я

почувствовала к ним симпатию, от которой вряд ли смогу отказаться.

— Но я не оставляю Луну без жителей,— подхватил я.— Чтобы сделать вам приятное, давайте снова заселим ее. В самом деле, поскольку лунные пятна совсем не изменяют своего облика, нельзя считать, будто вокруг Луны есть облака, которые затевают то одну ее часть, то другую. Однако нельзя сказать, что Луна совсем не испускает никаких паров и испарений. Наши облака, которые мы видим несущимися по воздуху,— это испарения и пары, разложившиеся после своего отделения от Земли на такие крохотные частички, что их нельзя видеть; несколько выше они сталкиваются с полосой холода, способствующего их сжатию и тому, что они делаются благодаря объединению частиц снова видимыми. Таким образом получают большие облака, плывущие по воздуху, для которого они чужеродные тела, и потому они выпадают в виде дождей. Но эти же самые пары и испарения иногда настолько рассеяны, что не поддаются зрительному восприятию, причем сгущаются они, лишь образуя очень прозрачную росу, выпадение которой из облака никому не заметно. Я предполагаю, что роса эта образуется из паров Луны: ведь должны же они с нее подыматься. Невероятно, чтобы Луна представляла собой массу, все частицы которой одинаково плотны, одинаково покоятся одна возле другой и одинаково не способны подвергаться каким-либо изменениям под воздействием Солнца. Мы не знаем ни одного тела подобной природы, даже мрамор — и тот не таков. Все тела, даже самые плотные, подвержены всяческому изменению — либо под влиянием скрытого в них невидимого движения, либо под влиянием воздействия извне. Пары Луны не собираются вокруг нее в облака и не выпадают на нее обратно в виде дождей: они образуют только росы. Для этого достаточно того, чтобы воздух, которым Луна, по-видимому, окружена так же, как наша Земля, был несколько отличен от нашего, а пары ее также несколько отличны от земных. Все это более чем вероятно. Если материя Луны устроена иначе, чем материя Земли, необходимо и следствия будут иными. Но неважно: с тех пор как мы обнаружили внутреннее движение в частицах

Луны либо движение, вызванное внешними причинами, луножители возрождаются вновь и у нас появляются необходимые средства для их пропитания: все это снабжает нас плодами, злаками, водой и всем прочим, что только нам угодно. Я подразумеваю «плоды», «злаки» и «воду» с точки зрения Луны, которая мне, скажу откровенно, совсем не известна; все это должно быть приспособлено к требованиям ее обитателей, которые мне не известны также.

— Иначе говоря,— сказала мне маркиза,— вы знаете только, что все это хорошо, но не знаете, каково это на самом деле; а это можно назвать большим невежеством, основывающимся на малом знании. Но утешьтесь: я счастлива хотя бы уж тем, что вы вернули Луне ее жителей, и была бы еще больше довольна, если бы вы придали ей своеобразный окружающий воздух: ведь теперь мне будет думаться, что без него любая планета покажется голой.

— Два этих различных воздуха,— сказал я,— затрудняют связь между двумя планетами. Если дело заключалось бы лишь в умении летать, кто знает — я ведь говорил вам об этом вчера,— не полетели ли бы мы в один прекрасный день? Однако я признаю, что возможность эта невелика. Нужно преодолеть еще одно препятствие — весьма значительную удаленность Луны от Земли. Но даже если бы и не существовало этого препятствия, если бы две эти планеты находились в непосредственной близости одна от другой, все равно оказалось бы невозможным перейти из одного воздуха в другой. Вода — это воздух рыб, и они никогда не переходят из нее в воздух птиц, равно как и птицы не переходят в воздух рыб. И препятствием для перехода здесь является не расстояние, а то, что для каждого из этих родов воздух, которым он дышит, представляет собой некую тюрьму. Мы видим, что наш воздух напоен гораздо более тяжелыми и плотными испарениями, чем воздух Луны. Поэтому житель Луны, который прибыл бы в пределы нашего мира, тотчас же задохнулся бы в нашем воздухе; и мы увидели бы, как он замертво падает на Землю.

— О! Как бы я хотела,— вскричала маркиза,— чтобы к нам прибыло большое судно, которое занесло

бы сюда множество этих существ, и мы могли бы сколько угодно лицезреть их странное обличье!

— Но,— отвечал я,— вдруг они окажутся настолько ловкими, что сумеют проплыть по внешней поверхности нашего воздуха, а потом, любопытства ради, начнут выуживать нас отсюда — понравится ли вам это?

— Почему нет? — сказала она, смеясь. — Что касается меня, то я добровольно брошусь в их сети, только бы посмотреть на тех, кто меня выудил!

— Подумайте о том,— возразил я,— что вы придете на поверхность нашего воздуха совершенно больной! Ведь воздух полезен для нас далеко не на всем своем протяжении: говорят, что уже на вершинах некоторых гор дышать им совсем невозможно. Поражаюсь, что люди, имеющие глупость верить, будто телесные духи обитают в самом чистом воздухе, не утверждают одновременно, что причиной их весьма редких и кратких визитов к нам является то, что очень мало есть среди них таких, которые умеют нырять, а также что даже эти последние из-за густоты насыщенного парами воздуха, в котором мы обитаем, могут нырять на его дно лишь на очень короткое время. Вот вам и естественные препятствия, мешающие нам выйти за пределы нашего мира и вступить в пределы мира лунного. Попытаемся по крайней мере в утешение отгадать все, что сумеем, об этом мире. Я считаю, например, что там можно увидеть небо, Солнце и звезды в другом цвете, не таком, как у нас. Все эти объекты мы наблюдаем как бы через очки природы, изменяющие их вид. Очки эти — наш воздух, напоенный, как я сказал, парами и испарениями, не поднимающимися слишком высоко. Некоторые из новых ученых¹ утверждают, что воздух сам по себе — голубой, подобный морской воде, и что как у воздуха, так и у моря цвет этот появляется на большой глубине. Небо, к которому «прикреплены» неподвижные звезды, как говорят, само по себе не имеет никакого освещения и, следовательно, должно видаться черным. Но на него смотрят сквозь голубой воздух, и потому оно кажется голубым. Если это так, то лучи Солнца и звезд не могут пройти через воздух, не получив немножко его окраску и не потеряв настолько же свой естественный цвет. Но даже если воздух не имеет

своей окраски, известно, что, когда свет факела проникает через сильный туман, он издали кажется красноватым, хотя это и не есть его естественный цвет: наш же воздух — это густой туман, который должен изменять в наших глазах подлинный цвет неба, Солнца и звезд. Только сама небесная материя может нам дать представление о свете и цветах во всей их чистоте и показать нам их такими, каковы они есть. Таким образом, воздух Луны либо имеет иную природу, чем наш, либо сам по себе окрашен в другой цвет, либо по крайней мере это какой-то иной туман, вызывающий иные изменения в окраске небесных тел. Наконец, для жителей Луны те очки, через которые можно все видеть, устроены иначе.

— Это заставляет меня предпочесть наше местопребывание лунному, — сказала маркиза. — Никогда не поверю, что набор небесных красок там так же прекрасен, как у нас. Допустим даже, если вам угодно, существование красного неба и зеленых звезд — все равно эффект будет куда менее приятным, чем от сочетания золотистых звезд с синим фоном.

— Вас послушать, — возразил я, — так вы словно подбираете материал на платье или для обивки мебели! Но поверьте мне, природа очень умна: дайте ей самой позаботиться о наборе красок для Луны, и я заверяю вас, все будет в порядке. Природа разнообразит зрелище Вселенной для каждой отдельной точки зрения, причем разнообразие это всегда очень приятно.

— Я узнаю ее искусство, — перебила меня маркиза, — она поостереглась менять сами объекты для каждой другой точки зрения и удовольствовалась тем, что поменяла очки: при этом ей приписывают всю честь этого великого разнообразия, а затрат на него она не сделала никаких. С помощью голубого воздуха она устраивает нам голубые небеса; и, быть может, с помощью красного воздуха она устраивает красное небо обитателям Луны: однако это всегда одно и то же небо. Мне кажется, она даже нашему воображению придала некий род очков, через которые все видно и которые сильно изменяют объект с точки зрения каждого другого человека. Александр рассматривал Землю как прекрасное место для учреждения на ней великой им-

перии. Селадон считал ее всего лишь жилищем Астреи². Философу она представляется громадной планетой, плывущей по небу и со всех сторон облепленной глупцами. Я не думаю, что зрелище больше разнообразится на протяжении от Земли до Луны, чем здесь, при переходе от одного воображения к другому.

— Перемены в зрелище более удивительны в нашем воображении,— отвечал я,— ибо мы столь различным образом видим одни и те же объекты. Правда, на Луне можно увидеть другие объекты или, наоборот, не увидеть тех, которые мы встречаем здесь. Возможно, что в лунной стране не известны ни утренние зори, ни вечерние. Окружающий нас воздух — тот, что находится над нами,— воспринимает лучи, не могущие попасть на Землю; так как воздух этот очень плотен, он задерживает часть таких лучей и посылает их нам, хотя по природе они не были нам предназначены. Итак, зори — утренняя и вечерняя — это милость, дарованная нам природой. Это — свет, который мы не должны были бы по правилам получать и который природа нам дарит сверх положенного. Но на Луне, где воздух, очевидно, более чист, он не приспособлен к тому, чтобы пересылать вниз лучи, получаемые им перед восходом или после захода Солнца. Бедняги луножители совсем лишены этого милосердного света, который, постепенно усиливаясь, мягко подготавливал бы их к восходу Солнца или, постепенно ослабевая, приучал бы их понемножку к его закату. А ведь сейчас дело обстоит так: Луна в глубокой тени — и вот в мгновение ока кажется, будто кто-то отдернул занавес; их глаза болят от невыносимого сияния Солнца, посылающего им весь свой свет. Но одна лишь секунда — и они оказываются в полном, глубоком мраке. День и ночь не опосредствованы там соответствующей связью, в которой содержалось бы что-то от того и от другой. Радуга — это тоже нечто неведомое жителям Луны; ибо если заря — это результат плотности воздуха и паров, то радуга образуется от дождей, выпадающих при определенных условиях, и мы, таким образом, обязаны самыми прекрасными вещами в мире вещам далеко не прекрасным.

Поскольку вокруг Луны нет ни достаточно весомого воздуха, ни дождевых облаков, то — прощайте,

зори и радуги! И с чем тогда сравнивать прелестниц лунного мира? Какой источник метафор утрачен!

— Я не очень-то сокрушаюсь об этих метафорах,— сказала маркиза,— и считаю, что жители Луны отлично вознаграждены за то, что у них нет ни радуг, ни зорь: по той же самой причине у них нет ни грома, ни молний—ведь все это также образуется в облаках! Там всегда прекрасные, совершенно ясные дни, в течение которых ни на минуту не теряется из виду Солнце; нет там также ночей, во время которых видны не все звезды; там не знают ни бурь, ни гроз, ни всего остального, что представляется нам результатом гнева небес. Неужели вы находите, что в этом случае есть повод для жалоб?

— Вы заставляете меня взглянуть на Луну, как на очаровательное местопребывание,— отвечал я.— Правда, я не очень уверен, так ли это чудесно—постоянно иметь над головой раскаленное Солнце (в течение всех дней, каждый из которых равен нашим пятнадцати). Ведь его не затеняет там ни одно облачко. Возможно, именно поэтому природа прорыла в Луне нечто вроде колодцев, достаточно больших для того, чтобы мы могли увидеть их через наши увеличительные стекла: ведь это вовсе не лощины—то, что мы видим меж лунных гор, это—впадины, которые можно наблюдать посреди некоторых равнинных мест в очень большом количестве. Трудно сказать, может быть, жители Луны, устав от постоянного солнечного зноя, находят убежище в этих больших колодцах? Возможно, они только в них и живут, здесь—их города. Мы ведь знаем, что подземный Рим больше по размерам, чем надземный³. Если скрыть этот последний, остальное будет представлять собой типичный лунный город. Целый народ живет в одном колодце, и от колодца к колодцу ведут подземные дороги, служащие для общения народов между собой.

Вы смеетесь над этой фантазией, и я от всего сердца к вам присоединяюсь. Однако если говорить серьезно, может случиться, что вы дальше от истины, чем я. Вы считаете, что, поскольку мы обитаем на поверхности нашей планеты, жители Луны должны обитать на поверхности своей. Но дело обстоит как раз наоборот: именно потому, что мы обитаем на поверхности нашей

планеты, они могут не обитать на поверхности своей. Все должно быть по-разному у нас и у них.

— Неважно,— ответила маркиза,— все равно я не могу заставить луножителей пребывать в вечном мраке.

— Вы были бы еще в большем затруднении,— сказал я,— если бы знали, что один великий философ древности⁴ сделал Луну местопребыванием душ, заслуживших на Земле блаженство. Все их блаженство заключается в том, что они на Луне слышат гармонию движущихся небесных тел. Но поскольку он считает, что, когда Луна попадает в тень, отбрасываемую Землей, души больше не могут воспринимать эту гармонию, они, по его мнению, рыдают тогда в отчаянии, и Луна спешит как можно скорее избавить их от этого пагубного места.

— Тогда мы должны были бы здесь увидеть блаженные души Луны: ведь ясно, что их посылают к нам. На обеих этих планетах считают, что обеспечивают душам достаточное блаженство, если пересылают их в другой мир.

— Но серьезно,— подхватил я,— это совсем не малое удовольствие — видеть множество разных миров. Даже если я проделываю такое путешествие только мысленно, это приводит меня в хорошее настроение. Что же должны испытывать те, кто совершает его в действительности? Это ведь гораздо интереснее, чем поехать отсюда в Японию, то есть ползти с превеликими трудностями из одного конца Земли в другой для того, чтобы увидеть всего-навсего таких же людей!

— Прекрасно! — сказала она. — Давайте сделаем, как сумеем, межпланетное путешествие. Кто нам может помешать? Давайте побываем в самых различных местах и оттуда будем созерцать Вселенную. Можем ли мы еще что-нибудь увидеть на Луне?

— Да, сведения об этом мире еще далеко не исчерпаны,— отвечал я. — Вы припоминаете, что из двух видов движения Луны — вокруг своей оси и вокруг нас, причем движения эти равномерны, — одно постоянно являет нам то, что другое из них должно было бы от нас скрыть. Таким образом, Луна всегда обращена к нам одной своей стороной, и мы видим всегда только эту ее половину. И поскольку, на наш взгляд, следует счи-

тать, что Луна вообще не вращается вокруг своей оси, та половина Луны, что обращена к нам, всегда видит нас прикрепленными к одной и той же части неба. Когда Луна погружена в ночь (а эти ночи равняются пятнадцати нашим дням), она видит сначала освещенным небольшой уголок Земли, затем — большой, и почти с часу на час свет кажется ей распространяющимся по всему лицу Земли, так что в конце концов он покрывает ее целиком. На Луне же эти изменения кажутся нам происходящими посуточно, от ночи к ночи, так как мы надолго теряем ее из виду. Можно догадаться, какие неверные рассуждения ведут философы того мира: Земля наша кажется им неподвижной, а все прочие небесные тела, по их мнению, всходят и заходят над их головами в течение пятнадцати дней. Неподвижность эту они приписывают, конечно, большому объему Земли — ведь она в шестьдесят раз больше Луны. И когда их поэты хотят воспеть праздных принцев, они, несомненно, используют этот пример царственного покоя. Однако покой этот не совершенен: с Луны можно отлично заметить, что Земля вращается вокруг своей оси. Вообразите себе нашу Европу, нашу Азию, нашу Америку предстающими пред их взором одна за другой в виде небольших различно очерченных фигур — такими, какими мы видим их на карте. Каким странным должно казаться это зрелище лунным путешественникам, приезжающим с той половины Луны, где нас никогда не видят, на половину Луны, всегда обращенную к нам! Да, они поостерегутся верить сообщениям тех луножителей, что нас видят, когда вернутся в великую страну, которая нас не знает.

— Мне пришло в голову, — сказала маркиза, — что постоянно происходит некий род паломничества из одной лунной страны в другую, чтобы иметь возможность на нас посмотреть; и, наверное, на Луне существуют почести и привилегии для тех, кто хоть раз в жизни видел Великую планету.

— По крайней мере, — отвечал я, — те, кто ее видит, имеют привилегию лучшей освещенности в течение ночи. Жизнь на второй половине Луны с этой точки зрения должна быть значительно менее удобной. Но, мадам, давайте продолжим путешествие, которое мы

решили проделать с планеты на планету. Мы уже достаточно основательно исследовали Луну. Покинув Луну и двигаясь в направлении Солнца, мы встречаем Венеру. По поводу Венеры я снова приведу пример Сен-Дени. Венера вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца так же, как и Луна. С помощью телескопа можно обнаружить, что Венера так же, как Луна, то увеличивается, то уменьшается, то становится полной — в зависимости от различия своего положения в отношении Земли. Луна, по всей видимости, обитаема. Почему же не быть обитаемой и Венере?

— Но,— перебила меня маркиза,— если вы будете все время спрашивать «почему нет?», вы заставите меня заселить жителями все планеты Вселенной.

— Не сомневайтесь в этом,— отвечал я.— Такое «почему нет?» способно заселить всё. Мы видим, что все планеты имеют одинаковую природу: все они непрозрачные тела, получающие свой свет только от Солнца и посылающие его одна другой; движения всех их также одинаковы. До сих пор они ничем не отличаются друг от друга. Правда, казалось бы, следует понять, что эти большие тела были задуманы необитаемыми — таково их естественное состояние,— и надо сделать исключение только для Земли. Да, кто хочет в это верить, пусть верит; я же не могу на это решиться.

— Вот уже несколько минут,— сказала она,— как я вижу вас прочно укрепившимся в этом мнении. Совсем недавно я слышала от вас, что Луна необитаема и что вы не очень этим расстроены; а сейчас, если вам кто-нибудь скажет, что прочие планеты не населены, как Земля, вы, чего доброго, сильно рассердитесь.

— Верно,— отвечал я,— именно в тот момент, как вы хотите меня захватить врасплох и пытаетесь мне возразить по поводу обитателей планет, я не только стану отстаивать их существование, но даже, как я полагаю, обрисую вам их внешний вид. Есть ведь такие мгновения, когда надо верить; и я никогда так сильно не верил в планетных жителей, как сейчас. Именно сейчас, когда я несколько остыл, я неотступно думаю о том, что было бы весьма странно, если бы Земля была населена так, как мы это видим, а остальные планеты были бы совсем пустынными. Не думайте, впрочем, что

нам известно все, что населяет Землю: ведь существует столько же видов незримых живых существ, сколько и зримых. Мы наблюдаем живые существа от слона до малюсенького клеща, и этим наше поле зрения ограничивается. Но за клещом начинается бесконечный ряд живых существ, в сравнении с которыми этот клещ — слон. Глаза наши не в состоянии разглядеть их без помощи увеличительных стекол. Через эти стекла люди видят мельчайшие капли дождя или укуса либо другой какой-нибудь жидкости, переполненные крохотными рыбешками или змейками, о существовании которых в этих жидкостях никогда и не подозревали. Некоторые философы даже считают, что вкус капель жидкости зависит от укусов этих маленьких существ в наш язык. Добавьте какие-нибудь другие вещества в некоторые из этих жидкостей, или выставьте их на солнце, либо оставьте их разлагаться — и тотчас же в них появятся новые виды живых существ⁵.

Многие тела, кажущиеся плотными, представляют собой не что иное, как массу этих не воспринимаемых зрением существ, имеющих здесь такую свободу передвижения, какая им требуется. Листок дерева — это не что иное, как маленький мир, населенный невидимыми червячками, которым этот листок кажется невероятно большим. Они различают на нем горы и пропасти, и между червячками с одного конца этого листка и другого сообщение ничуть не лучше, чем между нами и нашими антиподами. Тем более, кажется мне, должна быть населена большая планета. Даже в очень твердых видах камней были найдены бесчисленные маленькие черви, расположившиеся там повсюду в неосязаемых пустотах и питающиеся не чем иным, как твердой материей этих камней, которую они точат. Вообразите себе, сколько их там, этих крохотных червячков, и в течение скольких лет они могут существовать одной песчинкой. Пользуясь этим примером, замечу вам, что, если бы Луна была всего-навсего каменистой массой, я предпочел бы думать, что ее истачивают луножители, чем считать, будто их там нет вовсе. Наконец, все ведь живет, все одушевлено: допустите существование всех этих вновь открытых животных, а также всех тех, которые, как это легко понять, еще могут быть открыты, добавь-

те сюда и тех, что мы всегда здесь видели,— и вы, конечно, поймете, что Земля сильно заселена и что природа весьма щедро разбросала по ней живые существа — настолько щедро, что ничуть не страдает оттого, что половина их недоступна зрению. И неужели вы считаете, будто, доведя здесь свою плодovitость до крайности, она для всех остальных планет осталась настолько бесплодной, что не произвела там ничего живого?!

— Мой разум покорен,— сказала маркиза,— но воображение мое перегружено бесчисленным количеством жителей всех этих планет и смущено тем различием, которое надо между ними установить. Ведь я отлично вижу, что природа — враг повторений — сделала всех их между собой различными: но мыслимо ли это себе представить?

— Не надо слишком многого требовать от воображения — оно не может пойти дальше глаз. Нужно лишь охватить в целом те различия, которые природа дала всем этим мирам. Все человеческие лица скроены в общем по одному образцу, однако лица двух больших народов — европейского, с одной стороны, и африканского и монгольского — с другой, кажутся созданными по двум особым образцам, и эти образцы надо еще отыскать. Каким секретом обладала природа, заставившим ее разнообразить на столько ладов такую простую вещь, как лицо? Мы, люди, во Вселенной не что иное, как небольшая семья, все лица которой друг с другом схожи. Но на какой-нибудь другой планете есть другая семья, лица которой имеют совсем другой вид.

Ясно, что различия возрастают по мере все большего удаления, и, если бы кто-нибудь увидел рядом жителя Луны и жителя Земли, он сейчас же заметил бы, что они принадлежат более близким друг к другу мирам, чем житель Земли и житель Сатурна. Если здесь пользуются для разговора голосом, то на другой планете могут объясняться лишь знаками, а на третьей, еще более удаленной, возможно, не говорят вовсе. Здесь рассуждение основывается на опыте; там опыт мало способствует рассуждениям; а еще дальше старики не более сведущи, чем дети. Здесь морочат себе голову будущим больше, чем прошедшим; там прошедшее

больше заботит людей, чем будущее; а еще дальше не заботятся ни о прошедшем, ни о будущем, и, быть может, эти существа далеко не самые несчастные. Говорят, что мы, по-видимому, лишены от природы шестого чувства⁶, которое помогло бы нам узнать многое из того, чего мы не ведаем. Очевидно, это шестое чувство находится в каком-нибудь другом мире, где в свою очередь отсутствует какое-либо из наших пяти чувств. Быть может, существует даже большее количество всяких природных чувств. Но в дележе, который мы произвели с обитателями других планет, нам досталось всего только пять, которыми мы и удовлетворились, поскольку другие чувства остались нам неведомы. Поэтому наши знания имеют известные границы, каковые человеческому разуму никогда не перешагнуть: наступает момент, когда нам вдруг недостает наших пяти чувств; то, что остается нам непонятным, понимают в других мирах, которым, наоборот, неизвестно кое-что из того, что знаем мы. Наша планета наслаждается сладким ароматом любви, и в то же время во многих своих частях она опустошаема ужасами войны. На какой-нибудь другой планете вкушают вечный мир, но среди этого мира жители ее совсем не знают любви и томятся скукой. Наконец, то, что природа совершила в малом, среди людей, для распределения благ и талантов, то она, несомненно, повторила в больших размерах для миров и при этом не преминула пустить в ход чудесный секрет, помогающий ей все разнообразить и в то же самое время все уравнивать — в виде компенсации.

— Вы удовлетворены, мадам? — добавил я. — Достаточно ли широкое поле развернул я перед вами для упражнения вашего воображения? Видите ли вы уже вашим мысленным взором некоторых планетных жителей?

— Увы, нет, — отвечала она. — Все, что вы мне только что сказали, страшно расплывчато и смутно: я вижу только нечто большое — не знаю, что именно, — где я ровным счетом ничего не различаю. Мне нужно что-то более определенное, четкое.

— Ну что ж, — отвечал я, — я решаюсь не скрывать от вас ничего из моих познаний, даже самого странного. А именно я расскажу вам о том, что знаю из верных

рук, и вы, когда я приведу вам свои доказательства, со мной согласитесь. Слушайте, если вам угодно, и наберитесь немножко терпения: рассказ мой будет довольно длинным.

На одной планете, которую я вам еще не называл, живут очень подвижные, трудолюбивые и проворные обитатели⁷. Они существуют исключительно грабежом, как некоторые наши арабские племена, и это их единственный порок. Впрочем, среди них царит полное взаимопонимание и они совместно трудятся, очень ревностно, на благо своего государства. Особенно они отличаются своим целомудрием. Правда, это не такая уж их заслуга, ибо они все бесплодны и лишены пола.

— Однако,— перебила меня маркиза,— не думаете ли вы, что те, кто сообщил вам эти прекрасные сведения, просто посмеялись над вами? Как же могут эти существа продолжать свой род?

— Нет, надо мной никто и не думал смеяться,— отвечал я очень хладнокровно.— У них есть королева, которая никогда не посылает их на войну, никогда не вмешивается в государственные дела, и все ее королевское достоинство заключено в том, что она плодовита, но плодовитость эта поразительна: она производит на свет тысячи детей; кроме этого, она ничем другим не занята. У нее огромный дворец, разделенный на несчетное число покоев, причем каждый такой покой—это колыбель, приготовленная для одного из тысяч маленьких принцев. Королева рождает в каждом из этих маленьких покоев по очереди, всегда в присутствии огромного двора, который рукоплещет ей и этой ее благородной привилегии, данной ей единственной из всего народа.

Мадам, я понимаю вас, хотя вы не проронили ни звука. Вы спрашиваете, где взяла она возлюбленных или, чтобы точнее выразиться, мужей. Существуют ведь королевы на Востоке и в Африке, открыто содержащие мужские гаремы. Наша королева также, очевидно, имеет гарем, но она делает из этого великую тайну. И если такой образ действий являет больше целомудрия, то одновременно в нем меньше достоинства. Среди этих так называемых арабов, всегда пребывающих в действии—у себя ли на родине или в чужих краях, можно

видеть очень небольшое количество чужеземцев, весьма напоминающих своим внешним обликом местных жителей, но в отличие от них очень ленивых. Они никуда не выезжают, ничего не делают, и, по всей очевидности, они не были бы терпимы среди такого в высшей степени деятельного народа, если бы не предназначались для удовольствий королевы и для важной службы продолжения рода. В самом деле, если вопреки малому своему количеству они оказываются отцами десятка тысяч (а может быть, большего или меньшего количества) детей, которых королева производит на свет, то, конечно, они заслуженно освобождаются от всякой другой повинности. В том, что это их единственная функция, отлично убеждает следующее обстоятельство: стоит им только выполнить свою обязанность, а королеве совершить свои десять тысяч родов, как эти так называемые арабы безжалостно убивают несчастных чужаков, ставших бесполезными в государстве.

— Вы кончили? — спросила маркиза. — Благодарение богу! Вернемся же, если можно, в область здравого рассудка. Клянусь честью, откуда вы взяли этот роман? Кто из поэтов вам его нашептал?

— А я вам снова повторяю, — возразил я ей, — что это вовсе не роман. Все это происходит здесь, на нашей Земле, и на наших глазах. Но эти арабы не кто иные, как пчелы: должен же я вам это сказать.

После этого я сообщил ей естественную историю пчел, о которой она знала лишь понаслышке.

— Теперь вы отлично видите, — продолжал я, — что с помощью простого перенесения на другие планеты того, что делается у нас, мы можем представить себе различные странные вещи, кажущиеся невероятными и в то же время вполне реальные: можно вообразить несчетное количество таких вещей. Знайте, мадам, что история насекомых полна этих поразительных чудес.

— Охотно верю, — отвечала она. — Разве шелковичные черви — существа более знакомые мне, чем пчелы, — не представляют собой удивительный народец, преобразующийся таким образом, что он перестает быть самим собой? Ведь часть своей жизни они ползают, а другую часть — летают! Да что там! Ведь я знаю тысячи других чудес, творящих различные нравы

и обычаи всех этих неведомых обитателей. Воображение мое работает согласно плану, который вы предомной развернули, и я почти что могу представить себе их обличье. Я не могла бы их вам описать, но кое-что я уже вижу.

— Что касается их обличья,—возразил я,—то советую вам предоставить эту заботу тем снам, что придятся вам этой ночью. Завтра мы увидим, сослужили ли эти сны вам хорошую службу и дали ли они вам представление о том, как устроены жители некоторых планет.

Вечер четвертый

Особенности миров Венеры, Меркурия, Марса, Юпитера и Сатурна

Однако сны маркизы были не слишком удачливыми, они упорно представляли ее воображению вещи, походившие на то, что мы наблюдаем здесь, на Земле. Это дало мне повод упрекнуть маркизу в том, в чем нас обычно упрекают, глядя на нашу живопись, некоторые народы, сами умеющие создавать лишь причудливые, гротескные рисунки. «Ну,—говорят нам они,—это абсолютно напоминает людей, здесь нет ни капли воображения». Пришлось решительно отказаться от намерения познать облик обитателей всех планет и удовлетвориться возможными догадками, а затем продолжать начатое нами путешествие по мирам. Итак, мы были уже на Венере.

— Хорошо известно,—начал я, обращаясь к маркизе,—что Венера вращается вокруг своей оси. Но не известно ни в какое время проделывает она полный оборот, ни, естественно, сколько продолжается ее день. Что касается ее лет, то они равны приблизительно восьми месяцам, ибо за это время Венера совершает свой оборот вокруг Солнца. По своей величине Венера равна Земле, и, наверное, Земля представляется Венере таких же размеров, как нам — Венера.

— Мне это очень приятно,—сказала маркиза.— Земля может быть для Венеры вечерней звездой,

матерью любви, как Венера — для нас. Все эти названия подходят только небольшой, красивой планете, светлой, сияющей и имеющей куртуазный вид.

— Согласен,— отвечал я. — Но знаете ли вы, что делает Венеру такой прекрасной издалека? Именно то, что вблизи она безобразна. С помощью телескопа разглядели, что Венера — это огромный горный массив, причем горы эти еще выше наших. Они имеют очень острые вершины и, по-видимому, очень сухи. Именно такой рельеф планеты наиболее способствует тому, чтобы отражать свет с максимальным блеском и яркостью. Земля наша, поверхность которой в сравнении с поверхностью Венеры очень ровна и частично покрыта морями, скорее всего издалека совсем не так приятна на вид.

— Тем хуже,— сказала маркиза,— ибо это было бы для нее, конечно, большим преимуществом и приятной обязанностью — руководить любовными делами жителей Венеры: ведь они, несомненно, знают толк в искусстве любви.

— О, вне всякого сомнения,— отвечал я. — Низшие слои венерианского народа состоят исключительно из Селадонов и Сильвандров, и их самые обычные разговоры не хуже самых прекрасных бесед «Клелии»¹. Климат Венеры очень благоприятен для любви: Венера ближе, чем мы, к Солнцу и получает от него более яркий свет и больше тепла. Венера почти на треть пути ближе к Солнцу, чем Земля.

— Я теперь понимаю,— перебила меня маркиза,— как устроены жители Венеры. Они походят на гренадских мавров — маленький черный народец, обожженный солнцем, полный веселья и огня, всегда влюбленный, сочиняющий стихи, любящий музыку и каждодневно изобретающий празднества, танцы и турниры.

— Позвольте мне вам заметить, мадам,— отвечал я,— что вы совсем не представляете себе венерианцев. Наши гренадские мавры уступают в холодности и тупости лишь лапонам и гренландцам.

Но что сказать о жителях Меркурия? Они более чем в два раза ближе к Солнцу, чем мы. Должно быть, они обезумевают от бушующих в них жизненных сил. Я думаю, что у них совсем нет памяти — не более, чем

у большинства негров; что они никогда ни о чем не размышляют и действуют лишь по прихоти и внезапному побуждению; наконец, что именно на Меркурии находятся сумасшедшие дома Вселенной.

Они видят Солнце в девять раз бoльшим, чем мы; оно посылает им настолько сильный свет, что, если бы они оказались на Земле, они приняли бы наши самые ясные дни всего лишь за слабые сумерки и, быть может, не смогли бы днем различать предметы. Жара, к которой они привыкли, настолько сильна, что тепло Центральной Африки их несомненно бы заморозило. Наше железо, наше серебро, наше золото у них, по всей очевидности, расплавилось бы, и все эти металлы можно было бы видеть только в жидком состоянии — как у нас обычно видят воду, хотя в определенные времена года она и бывает весьма твердым телом. Жители Меркурия и не заподозрили бы, что в другом мире эти жидкости, возможно образующие у них реки, оказываются в высшей степени твердыми телами.

Год Меркурия продолжается всего три месяца. Продолжительность дня на Меркурии нам не известна: Меркурий очень мал и весьма близок к Солнцу, он почти всегда теряется в солнечных лучах и ускользает от внимания астрономов: до сих пор его не освоили настолько, чтобы наблюдать вращение, совершаемое им вокруг своей оси. Но его жители, конечно же, нуждаются в том, чтобы вращение это получало свое завершение в какой-то не очень длительный срок. Ибо, очевидно, обжигаемые огромной печью, висящей у них над головами, они могут свободно вздохнуть только ночью. В это время Меркурий освещается Венерой и Землей, которые его жителям кажутся очень большими. Что касается других планет, то поскольку они находятся за пределами Земли в направлении к небесному своду, то меркурианцы видят их гораздо более мелкими, чем мы, и получают от них очень мало света.

— Меня не столько огорчает эта потеря жителей Меркурия, — сказала маркиза, — сколько неприятности, ожидающие их из-за избытка жары. Я хотела бы, чтобы мы хоть немного облегчили их жизнь. Давайте пошлем на Меркурий длительные и обильные дожди, которые будут его освежать: говорят, что здесь, у нас, в жарких

странах, дожди выпадают в течение четырех полных месяцев, как раз в самые теплые времена года.

— Возможно,— подхватил я,— мы можем осветить Меркурий еще другим способом. В Китае есть области, которые по своему положению должны быть очень жаркими и в которых, в то же время, бывает очень холодно в июле и августе, так что в эту пору даже замерзают реки. Происходит это потому, что в этих краях много селитры, испарения которой имеют очень низкую температуру, а сила тепла заставляет их в изобилии отделяться от Земли. Пусть Меркурий будет, если угодно, маленькой планетой, состоящей целиком из селитры, и само Солнце будет изыскивать средство против причиняемого им этой планете зла. Несомненно однако, что природа населяет живыми существами только те места, где они могут жить, и привычка в соединении с неведением лучшего служит тому, что живут они там с приятностью. Можно даже обойтись на Меркурии без селитры и без дождей.

После Меркурия, как вы знаете, идет Солнце. Но нет никакого средства поместить на нем каких-либо жителей. Здесь не существует вопроса «а почему бы и нет?». Мы судим по населенности Земли о том, что другие тела подобного рода тоже должны быть населены. Но Солнце — тело совсем иное, чем Земля и другие планеты. Оно источник всего того света, который планеты от него только и заимствуют и затем посылают друг другу. Планеты могут, так сказать, обмениваться светом, но не могут его производить. Только Солнце может извлекать из себя самую эту драгоценную субстанцию. Оно мощный источник этой субстанции, рассылающий ее во все стороны; излучаясь от Солнца, она упирается по пути во все твердое, и от одной планеты к другой распространяются вдаль и вширь лучи света, пересекаются, скрещиваются, переплетаются тысячами различных способов, образуя восхитительную ткань из самой дорогой материи, какая существует на свете.

Таким образом, Солнце расположено в центре, представляющем собой самое удобное место для равномерного распространения этой материи и для того, чтобы одушевлять все своим теплом. Солнце, следовательно, это особое тело. Но что представляет собой это

тело? Очень трудно это сказать. Издавна верили, что Солнце — очень чистый огонь. Но в начале нашего века в этом разочаровались, когда усмотрели на его поверхности пятна². Поскольку незадолго до этого открыли новые планеты, о которых я вам поведаю, и головы всех философов в мире были забиты только этим, причем новые планеты стали всеобщей модой, тотчас же было решено, что «пятна» это и есть планеты, и так как они вращаются вокруг Солнца, то они-то и затемняют некоторые его части, обращая к нам свою темную половину. И вот уже ученые мужи предлагали эти так называемые планеты к услугам государей Европы³. Одни называли их именем какого-либо одного правителя, другие — другого, и, наверное, могла бы возникнуть распря по поводу того, кто является хозяином этих планет и волен давать им какое угодно наименование!

— Я нахожу это нечестным, — прервала меня маркиза. — Вы мне сказали в один из дней, что различным частям Луны давались имена ученых и астрономов, и я была этим очень довольна. Поскольку государи владеют Землей, справедливо, чтобы небо оставалось за учеными и чтобы они были там господами: они вовсе не должны туда пускать никого другого.

— Разрешите по крайней мере, — отвечал я, — чтобы они в случае нужды могли заложить государю какую-нибудь звезду или, на худой конец, часть Луны. Что касается солнечных пятен, то из них они не сумеют извлечь никакой выгоды. Обнаружилось, что это совсем не планеты, но облака, пары, накипь, поднимающаяся над Солнцем. То их очень много, а то очень мало, иногда они исчезают совсем. Время от времени они собираются все вместе, потом разделяются вновь. Иногда они светлее, иногда — темнее. Бывают времена, когда их видно очень большое количество; но бывают и такие периоды — и довольно длительные, — когда на Солнце не видно ни одного пятна. Решили было, что Солнце — жидкая материя⁴, некоторые даже утверждали, что оно состоит из расплавленного золота, которое непрерывно кипит и выделяет различные примеси, выбрасываемые на его поверхность силой его движения; там они превращаются в пепел, а Солнце потом производит другие. Представьте же себе, какие это странные тела: среди

них есть такие, которые в тысячу семьсот раз больше Земли. Знайте, что Земля более чем в миллион раз меньше солнечного шара. Судите же, каким должно быть количество этого расплавленного золота или, что то же самое, объем этого колоссального моря железа и огня!

Другие утверждают (и с видимой правотой), что пятна эти — по крайней мере их большинство — не представляют собой новообразований, в конце концов рассеивающихся, но являются огромными плотными массами весьма неправильных очертаний, всегда существовавшими и продолжающими существовать. Массы эти, по мнению этих людей, то плавают по жидкой поверхности Солнца, то погружаются в эту жидкость частично или совсем и обнаруживают перед нашим взором различные свои места или выпуклости (поскольку они погружаются то больше, то меньше), поворачиваясь к нам различными своими сторонами. Быть может, они составляют часть какой-то громадной массы твердой материи, служащей пищей солнечному огню. В конце концов, как бы ни обстояло дело с Солнцем, ясно, что оно совсем не приспособлено для жизни. Это большая жалость — ведь жилищем бы оно было очень красивым. Обитатели его находились бы в центре всего, видели бы, как все планеты правильно вокруг него вращаются, — не так, как видим это мы, земляне: ведь мы усматриваем в этих вращениях тысячи странностей, а всё оттого, что не находимся в месте, приспособленном для правильного на этот счет суждения, то есть в центре движения планет. Не досадно ли это?! Существует всего одно место в мире, откуда исследование звезд было бы очень легким, и как раз в этом месте никто не живет.

— Не горюйте об этом, — сказала маркиза, — тот, кто оказался бы на Солнце, не увидел бы ничего — ни планет, ни неподвижных звезд. Ведь Солнце все затмевает! Именно его жители имели бы все основания считать, что они единственные существа во Вселенной.

— Признаю, — отвечал я, — свою ошибку. Я имел в виду только положение, занимаемое Солнцем, а не результаты, происходящие от его света. Но вы, так небрежно и как бы вскользь указывающая мне на мою ошибку, напрашиваетесь на то, чтобы я указал вам на

вашу: обитатели Солнца никогда бы не увидели его само. Либо они не могли бы выдержать силы его света, либо вообще не могли бы его воспринять с короткого расстояния. Если подумать как следует, то Солнце может быть обиталищем только слепцов. И еще раз: оно вообще не создано для заселения. Но не желаете ли вы, чтобы мы продолжили наше путешествие по Вселенной?

Мы прибыли в центр, всегда являющийся самой низкой точкой всех тел, имеющих округлую форму. И скажу вам, между прочим: для того чтобы отсюда попасть туда, мы проделали путь в тридцать три миллиона лье; сейчас же необходимо вернуться назад и отдохнуть.

На этом обратном пути мы снова встретим Меркурий, Венеру и Землю — все планеты, которые мы посетили. Далее идет Марс. Относительно Марса я не могу сообщить вам ничего любопытного. Дни его самое большее на полчаса длиннее наших, а его годы равняются двум нашим годам без полутора месяцев. Марс в пять раз меньше Земли, Солнце с него кажется несколько меньшим и менее ярким, чем если смотреть на него с Земли. Скажу вам, что Марс не очень заслуживает того, чтобы на нем задерживаться. Но что действительно прекрасно, так это Юпитер с его четырьмя лунами, или спутниками! Это четыре маленькие планеты, которые, в то время как Юпитер обращается вокруг Солнца за двадцать лет, вращаются вокруг него так же, как наша Луна вокруг нас.

— Но,— перебила меня маркиза,— откуда берутся планеты, вращающиеся вокруг других планет, которые ничем не лучше первых? Серьезно, мне казалось бы более правильным и цельным, если бы все планеты — большие и малые — имели только одно вращение — вокруг Солнца.

— А! Мадам,— отвечал я,— если бы вы знали что-нибудь о вихрях Декарта⁵ — тех вихрях, наименование которых так ужасно, а суть так приятна,— вы не сказали бы того, что только что сорвалось с ваших уст.

— У меня уже закружилась голова,— сказала она, смеясь,— и это очень полезно — знать, что такое вихри. Добивайте меня, сделайте меня совсем сумасшедшей —

я больше собой не владею. Я уже не понимаю, что такое воздержание в философии: так пусть же свет говорит о нас что угодно, а мы предадимся вихрям.

— Я не подозревал в вас раньше подобных порывов,— отозвался я.— Обидно, что их объект всего-навсего вихри.

То, что именуют вихрем, представляет собой массу материи, частицы которой отделены одна от другой, и все они движутся одинаковым образом; в то же самое время они позволяют себе производить какие-то небольшие частные движения, но лишь при условии, что последние всегда следуют движению общему. Таким образом, ветряной вихрь — это не что иное, как бесконечное число частичек воздуха, совершающих совместное круговое движение и увлекающих в этом движении все, что им попадает навстречу. Вам известно, что планеты несутся в небесной среде, которая исключительно тонка и подвижна. Вся эта огромная масса небесной материи, простирающаяся от Солнца до неподвижных звезд, совершает круговое движение и, увлекая за собой планеты, заставляет их таким же образом вращаться вокруг Солнца, находящегося в центре, но с различной скоростью оборотов — большей или меньшей, в зависимости от степени их удаленности от Солнца. И само Солнце также вращается — вокруг своей оси, поскольку оно расположено в самом центре всей этой небесной среды. Заметьте, впрочем, что, если бы Земля находилась на месте Солнца, она тоже должна была бы вращаться только вокруг своей собственной оси.

Вот каков великий вихрь, чем-то вроде хозяина которого является Солнце. Одновременно планеты образуют вокруг себя небольшие частные вихри наподобие солнечного. Каждая из них, вращаясь вокруг Солнца, в то же время непременно вращается и вокруг собственной оси и заставляет вращаться вокруг себя точно таким же образом определенную часть упомянутой небесной среды, всегда готовой следовать придаваемым ей движениям, если только они не отклоняют ее от ее главного движения. Это и есть особый планетный вихрь, и планета распространяет его настолько далеко, насколько может хватить силы его движения. Если нужно, чтобы в этот малый вихрь попала какая-

нибудь планета, которая меньше планеты — хозяйки вихря, то большая планета ее увлекает и насильно заставляет вращаться вокруг себя: таким образом, всё вместе — большая планета, маленькая и включающий их в себя вихрь — продолжает тем не менее вращаться вокруг Солнца. Поэтому в самом начале света мы заставили Луну следовать за собой — она находилась в пределах нашего вихря и полностью была к нашим услугам.

Юпитер, о котором я начал вам говорить, был более удачливым или более могущественным, чем мы: он имел по соседству от себя четыре небольшие планеты и все их присвоил себе. И мы, одна из главных планет, — где оказались бы мы, как вы думаете, если бы находились поблизости от него? Он в тысячу раз больше, чем мы; его вихрь без сожаления поглотил бы нас, и мы стали бы не чем иным, как зависящей от него луной, вместо того чтобы самим иметь луну, подчиненную нам. Поэтому очень верно, что часто чью-нибудь судьбу определяет всего-навсего слепой случай.

— А кто докажет нам, — спросила маркиза, — что мы навсегда останемся там, где мы есть? Я начинаю опасаться, чтобы мы не совершили глупости и не приблизились к такой предприимчивой планете, как Юпитер, или чтобы он не явился за нами и нас не поглотил. Ведь мне кажется, что великое движение, в котором, по вашим словам, постоянно находится небесная материя, должно воздействовать на планеты беспорядочно — то приближать их друг к другу, то друг от друга отдалять.

— В данном случае мы можем столько же выиграть, сколько и проиграть, — отвечал я. — Быть может, мы в будущем подчиним нашему господству Меркурий или Марс — самые маленькие планеты, которые не смогут нам противостоять, однако нам не нужно ни надеяться на что-либо, ни чего-либо опасаться: планеты всегда остаются на своем месте и новые захваты для них запретны, как это было когда-то запретным и для китайских императоров. Вы хорошо знаете, что, когда смешивают с водой масло, это последнее всплывает на поверхность воды. Если потом положить в эти две смешанные между собой жидкости какое-либо очень легкое тело, масло будет его поддерживать и оно не

достигнет воды. Когда же туда положат какое-нибудь более тяжелое тело, обладающее неким определенным весом, оно проникнет сквозь слой масла, которое окажется слишком легким, чтобы его задержать, и будет падать до тех пор, пока не столкнется со слоем воды, способным его удержать. Таким образом, в этой жидкости, состоящей из двух жидких тел, неспособных между собою смешиваться, два тела различного веса естественно попадают в два различных слоя, и никогда одно из них не поднимется, а другое — не опустится. Если добавить сюда еще другие жидкости, которые останутся не смешанными с остальными, и погрузить сюда еще другие тела, эффект будет тот же. Представьте себе, что небесная материя, создающая этот великий вихрь, имеет различные слои, обволакивающие друг друга, причем вес их также различен, подобно весу воды, масла и других жидкостей. У планет тоже различный вес, и каждая из них задерживается именно в том слое, который способен ее удержать и который приводит ее в состояние равновесия: вы понимаете, что оставить этот слой для нее невозможно.

— Я понимаю,— сказала маркиза,— что эти веса, о которых вы говорите, отлично соблюдают ранги. Дал бы бог, чтобы у нас существовало что-либо подобное — что-то помогающее распределять людей по местам, подобающим им по природе! Что касается Юпитера, то я чувствую себя теперь в полной безопасности. Мне очень отрадно думать, что он оставляет нас в покое с нашим маленьким вихрем и нашей единственной Луной. По своему характеру я легко ограничиваюсь малым и не завидую ему нисколько, что у него четыре луны.

— Это было бы нелепо — завидовать ему в таком деле,— подхватил я. — У него ровно столько лун, сколько ему положено. Ведь Юпитер в пять раз больше, чем мы, удален от Солнца, иначе говоря, он отстоит от Солнца на расстояние ста шестидесяти пяти миллионов, почему его луны получают от Солнца и передают ему очень слабый свет. Это вознаграждается только их количеством. В противном случае, поскольку Юпитер совершает полный оборот вокруг своей оси за десять часов и ночи его, продолжающиеся всего пять часов, очень

коротки, четыре луны не были бы уж так необходимы. Та из этих лун, что всего ближе к Юпитеру, проделывает свое вращение вокруг него за сорок два часа, вторая — за три с половиной дня, третья — за семь дней, четвертая — за семнадцать. Благодаря именно этой неравномерности их движения они словно сговорились уготовливать Юпитеру великолепнейшие зрелища во Вселенной. То они восходят все четыре вместе и почти тотчас же расходятся в разные стороны; то они, в свое полуденное время, выстраиваются все одна над другой; то их можно видеть все четыре на одинаковом расстоянии в небе; то, когда две из них восходят, другие две, наоборот, закатываются. Особенно я люблю наблюдать их постоянную игру в затмения: ведь не проходит дня, чтобы одни из них не затмевали другие или же чтобы они не затмевали Солнце. Несомненно, поскольку затмения стали столь обычными в том мире, они являются там предметом забавы, а не ужаса, как у нас.

— И вы,— сказала маркиза,— конечно, позаботитесь о том, чтобы заселить эти четыре луны, хотя они всего-навсего маленькие подчиненные планеты, предназначенные лишь для того, чтобы освещать по ночам планету-хозяйку?

— Нисколько в этом не сомневайтесь,— отвечал я. — Планеты эти не меньше оттого достойны оказаться заселенными, хотя они и имеют несчастье быть прислужницами, вращающимися вокруг другой, более важной планеты.

— Я очень хотела бы,— заметила она,— чтобы обитатели четырех лун Юпитера представляли собой как бы его колонии; чтобы они, если это возможно, получали от него свои законы и обычаи; взамен же они должны выражать ему свое почтение и относиться к великой планете с подчеркнутым пиэтетом.

— Не следовало ли бы также,— сказал я ей,— чтобы четыре луны снаряжали время от времени на Юпитер посольства, присягавшие бы ему на верность? Что до меня, то признаюсь вам: отсутствие у нас превосходства над жителями нашей Луны заставляет меня сомневаться в том, что Юпитер обладает большим превосходством над обитателями своих лун, и я думаю, что наибольшее преимущество, на которое он может разумно

рассчитывать, он завоюет, наводя на них страх. Например, с той из лун, что к нему наиболее близка, обитатели ее видят его в шестьсот раз бóльшим, чем мы нашу Луну; какая же чудовищная нависает над ними планета! В самом деле, если галлы в стародавние времена страшились, что небо упадет им на головы и раздавит их в лепешку, то жители этой луны имеют гораздо больше оснований опасаться падения им на головы Юпитера!

— Возможно,— сказала она,— что этот страх они испытывают взамен незнакомого им, как вы меня уверили, страха затмений. Очевидно, необходимо, чтобы одна глупость была возмещена другой.

— Это абсолютно неизбежно,— отвечал я. — Изобретатель третьей системы, о которой я говорил вам в первый наш вечер, знаменитый Тихо Браге, величайший из когда-либо существовавших астрономов, и не думал бояться затмений так, как их боится простой народ, и провел свою жизнь в полном с ними согласии. Но поверите ли вы, чего он боялся взамен? Если по выходе из дому ему первой попадалась старуха или если заяц перебежал ему дорогу, Тихо Браге считал, что день этот будет несчастным, и живо возвращался домой, не смея предпринять никакого, даже самого пустякового, дела⁶.

— Было бы несправедливым,— подхватила она,— после того как такой человек не смог безнаказанно освободиться от страха перед затмениями, чтобы обитатели этой Юпитеровой луны, о которых мы говорили, расквитались с этим страхом более дешевым способом. Мы их не помилуем, они должны подчиняться всеобщему закону. Если они свободны от какого-либо одного заблуждения, они должны впасть в другое. Но поскольку я не могу похвастаться тем, что догадываюсь, в чем оно может состоять, объясните мне, прошу вас, другое сомнение, одолевающее меня вот уже некоторое время: если Земля так мала с точки зрения Юпитера, видит ли он нас? Боюсь, что мы ему вообще незнакомы.

— Клянусь честью, я думаю, что дело обстоит именно так,— отвечал я. — Ведь он должен видеть Землю в сто раз меньшей, чем мы видим его. Это слишком мало, и он ее скорее всего не видит вовсе. Единствен-

ный выход для нас — это думать следующим образом: на Юпитере будут астрономы, которые, потрудившись над созданием отличных телескопов и выбрав самые светлые ночи для обозрения, обнаружат, наконец, на небе крошечную планету, до тех пор ими не виданную. Сначала об этом объявит «*Journal des savants*»⁷ этой страны. Народ Юпитера, совсем не понимающий разговорной речи, лишь посмеется над этим. Философы, в чьи умы это внесет разброд, примут решение не давать этому никакой веры. Только очень разумные люди усомнятся в правильности этого решения. Затем начнут наблюдать и повторно исследовать маленькую планету: удостоверятся, что это не мираж, заподозрят даже, что она вращается вокруг Солнца; узнают, после тысячи повторных наблюдений, что вращение это продолжается год; наконец, благодаря бесконечным усилиям ученых на Юпитере поймут, что наша Земля действительно существует на свете. Любопытные пожелают рассмотреть ее в телескоп, хотя и таким образом она едва будет доступна взору.

— Если бы это не было так неприятно — узнать, что нас не могут обнаружить с Юпитера иначе как с помощью телескопа, — сказала маркиза, — я бы с удовольствием представила себе эти подозрительные трубы Юпитера, направленные на нас в то время, как наши трубы направлены на них, и это взаимное любопытство, с которым обе планеты рассматривают друг друга и спрашивают одна о другой: «Что это за мир? И какие существа его населяют?»

— Так скоро это не случится — то, о чем вы думаете, — сказал я. — Когда нашу Землю увидят с Юпитера, когда с ней там познакомятся, все это еще не будет означать, что наша Земля — это мы; никто на Юпитере и не подозревает о том, что она может быть населена. А если кто-нибудь из них попробует это себе вообразить, то один бог знает, как над ним будет смеяться весь Юпитер. Возможно даже, что мы являемся для Юпитера причиной судебного процесса философов, поддерживающих там убеждение, что мы существуем. Впрочем, я скорее поверю в то, что обитатели Юпитера настолько заняты свершениями открытий на своей собственной планете, что им совершенно не до нас.

Юпитер так велик, что, если там есть навигация, без сомнения, их Христофор Колумб не сидит без дела. Должно быть, юпитерианцы не знают даже понаслышке и сотой доли других народов своей планеты. Наоборот, на Меркурии, который очень мал, все народы соседствуют друг с другом; они живут в тесном единстве и кругосветное путешествие на своей планете считают лишь легкой прогулкой. Если с Юпитера не видят даже нас, то вы легко можете судить, что еще менее того они видят Венеру, которая дальше отстоит от них, чем мы, и еще меньше — Меркурий, который еще более мал и далек. Взамен этого юпитерианцы видят свои четыре луны и Сатурн с его лунами, а также Марс. Такого количества планет вполне достаточно, чтобы уготовить всевозможные затруднения тем, кто среди юпитерианцев слышет астрономами: природа оказала им милость, спрятав от них остальную часть Вселенной.

— Как! — воскликнула маркиза. — Вы считаете это милостью?

— Несомненно, — отвечал я. — В этот огромный вихрь включено шестнадцать планет. Природа, стремясь сберечь наши силы, затрачиваемые на изучение их движений, показывает нам лишь семь планет. Не великое ли это благо? А мы, не чувствуя признательности за этот дар, стараемся поймать в поле нашего зрения остальные девять, скрытые от нас ею. За это мы наказаны затратой тяжких трудов, которых требует от нас в наше время астрономия.

— Из этого числа — «шестнадцать планет», — сказала маркиза, — я делаю вывод, что Сатурн должен иметь пять лун⁸.

— Столько он их и имеет, — отвечал я, — и это тем более справедливо, что, поскольку он совершает свой оборот вокруг Солнца за тридцать лет, на нем есть страны, где ночь продолжается пятнадцать лет, — по той же причине, по какой Земля, оборачивающаяся вокруг Солнца за год, имеет на своих полюсах шестимесячную ночь.

Что же касается Сатурна, то, поскольку он удален от Солнца на расстояние, в два раза большее, чем удалены от Солнца мы, дают ли ему его очень слабо освещенные пять лун достаточно света во время его ночей?

Нет, но у него есть запасное средство, единственное во всей известной нам Вселенной: это — окружающий его огромный круг, или кольцо⁹, расположенное достаточно высоко над ним, чтобы находиться вне тени, отбрасываемой корпусом этой планеты, и посылающее солнечный свет в места Сатурна, иным образом никогда не освещаемые, причем посылает оно его с более близкого расстояния и с большей силой, чем все пять лун, ибо кольцо это меньше удалено от Сатурна, чем самая близкая из них.

— В самом деле, — сказала маркиза с видом человека, с изумлением приходящего в себя, — все это обнаруживает большой порядок. Совершенно очевидно, что природа имела в виду нужды неких живых существ и распределение лун было не случайным. Предметом его были только планеты, удаленные от Солнца, — Земля, Юпитер, Сатурн; действительно, не стоило заботиться о лунах для Венеры и Меркурия, которые и так получают слишком много света; у них и так очень короткие ночи, и они считают эти ночи большим благодеянием природы, чем даже дни. Но постойте, мне кажется, что Марс, удаленный от Солнца еще больше, чем Земля, не имеет Луны¹⁰.

— Не могу от вас этого скрыть, — отвечал я, — он действительно не имеет никаких лун и, видимо, располагает для своих ночей осветительными средствами, которые нам неизвестны. Вы видели сухие или жидкие фосфоресцирующие вещества, которые, воспринимая солнечный свет, как бы впитывают его в себя, проникаются им и затем отсвечивают довольно сильным блеском в темноте? Быть может, на Марсе есть огромные, высокие скалы, состоящие из природных фосфоресцирующих веществ, набирающих в течение дня запас света и отдающих его по ночам. Вы не сможете отрицать, что это довольно приятное зрелище — все эти скалы, начинающие сверкать всеми своими частями в тот момент, когда заходит Солнце: без всякого вмешательства искусства они создают великолепную иллюминацию, удобную к тому же тем, что она не излучает сильного тепла. Вы ведь знаете также, что в Америке есть птицы, которые так светятся в темноте, что можно

пользоваться ими в качестве светильников при чтении. Мы не можем знать — возможно, и на Марсе есть большое число таких птиц и они, лишь наступает ночь, разлетаются в разные стороны, распространяя заново дневной свет.

— Меня не устраивают, — сказала она, — ни ваши скалы, ни ваши птицы. Конечно, нельзя отрицать, что это красиво, но, поскольку природа дала так много лун Сатурну и Юпитеру, это явный знак, что луны нужны. Я была бы очень довольна, если бы их имели все миры, удаленные от Солнца; но Марс, очевидно, может стать печальным исключением.

— Да, в самом деле, — сказал я, — если бы вы больше занимались философией, чем до сих пор, вы бы несомненно привыкли усматривать исключения в самых совершенных системах. Всегда существует что-нибудь, что отлично подходит к системе, а также и другое, что пытаются приспособить к ней, насколько это возможно, или же оставляют в покое, если видят, что нет никакой надежды прийти к цели. Давайте поступим так и в отношении Марса, поскольку здесь он вряд ли принесет нам удачу, и не будем больше о нем говорить. Что касается Сатурна, то мы будем удивлены, оказавшись там, когда увидим над своими головами ночью это огромное кольцо, простирающееся в виде полуокружности от одного конца горизонта к другому; оно, передающее нам солнечный свет, показалось бы нам постоянной луной.

— И мы совсем не допустим обитателей на этом большом кольце? — перебила она меня, смеясь, вопросом.

— Хотя я настроен достаточно дерзко, — отвечал я, — и готов расселить живые существа повсюду, признаюсь вам, что там я не посмею их поместить: это кольцо представляется мне очень неустойчивым обиталищем. Что же касается пяти маленьких лун, то они не обойдутся без жителей. Но очень возможно, как подозревают некоторые, что все Сатурново кольцо не что иное, как дуга, состоящая из лун, тесно следующих одна за другой и имеющих одинаковое движение; пять же известных нам лун, возможно, выскочили из этого большого кольца: сколько же тогда должно быть миров

в вихре Сатурна! Но как бы там ни было, жители Сатурна довольно несчастны, если они пользуются помощью кольца. Оно дает им свет, но какой уж это свет при такой удаленности от Солнца! Само Солнце они видят в сто раз меньшим, чем видим его мы, и оно представляется им всего лишь небольшой звездой, тусклой, излучающей очень бледный свет и слабое тепло. Если вы перенесете жителей Сатурна в самые наши холодные страны — в Гренландию или Лапонию, вы увидите у них на лицах крупные капли пота и услышите, как они задыхаются от жары. Далее, если на Сатурне была бы вода, она не являлась бы для них водой, но только гладким камнем, мрамором; а спирт, никогда здесь не замерзающий, был бы там тверже диаманта.

— Вы даете мне представление о Сатурне, буквально меня замораживающее, — сказала маркиза, — хотя только что меня бросало в жар от вашего Меркурия.

— Так и должно быть, — возразил я, — чтобы два мира, расположенные в самых крайних точках великого вихря, были бы решительно во всем противоположны друг другу.

— Итак, — подхватила она, — на Сатурне все очень мудры: ведь вы мне сказали, что, наоборот, на Меркурии все очень глупы.

— Если и не очень мудры жители Сатурна, — сказал я, — то по крайней мере они, как это очевидно, весьма флегматичны. Существа эти не знают, что значит смеяться, им нужен целый день, чтобы ответить на самый пустяковый вопрос; Катона Утического они сочли бы слишком развязным и легкомысленным.

— Мне пришла в голову одна мысль, — сказала она. — Все обитатели Меркурия подвижны; наоборот, все жители Сатурна медлительны. Среди нас же одни подвижны, другие неповоротливы. Не потому ли это, что наша Земля занимает срединное положение между мирами и мы причастны к обеим крайностям? У людей вообще не бывает постоянных и определенных характеров: одни из нас подобны меркурианцам, другие — обитателям Сатурна. Мы — смесь всех видов, существующих на других планетах.

— Мне очень нравится эта идея,— подхватил я.— Мы представляем собой столь причудливое сочетание, что можно подумать, будто мы по нитке собраны из многих различных миров. В этом смысле очень удобно находиться в нашем мире: здесь можно видеть все остальные миры как бы в миниатюре.

— По крайней мере,— отвечала маркиза,— реальным удобством нашего мира, которым он обладает благодаря своему местоположению, является то, что он не слишком жарок, как Меркурий и Венера, и не слишком холоден, как Юпитер и Сатурн. Кроме того, мы с вами находимся в таком месте Земли, где мы не чувствуем крайностей жары и холода. В самом деле, если известный философ¹¹ благодарил природу за то, что он человек, а не зверь, и грек, а не варвар, то я лично хочу поблагодарить ее за то, что живу на самой умеренной планете во Вселенной и в самом умеренном месте этой планеты.

— Если вы послушаетесь меня, мадам,— отвечал я,— вы воздадите ей признательность за то, что вы молоды, а не стары; молоды и прекрасны, а не стары и безобразны; молоды, прекрасны и француженка, а не стары, прекрасны и итальянка. Вот вам и много других причин для благодарности, лучших, чем те, что вы извлекаете из местоположения вашего вихря или климата вашей страны.

— Мой бог,— возразила она,— разрешите мне быть благодарной за все, вплоть до вихря, к которому я принадлежу. Ведь мера счастья, отпущенная нам, так мала, нельзя ничего из него терять. И хорошо иметь вкус к самым обычным и незначительным вещам, это позволяет обращать их себе на пользу. Если искать только сильные удовольствия, то мы обречем их мало, будем долго их ждать и дорого за них платить.

— Но вы обещаете мне,— сказал я,— что, если кто-нибудь предложит вам эти сильные удовольствия, вы вспомните о вихрях и обо мне и не бросите нас совсем на произвол судьбы?

— Да,— отвечала она,— но постарайтесь, чтобы философия всякий раз доставляла мне новые удовольствия.

— По крайней мере завтра,— отвечал я,— надеюсь, вам не будет их не доставать. У меня в запасе неподвижные звезды, которые интереснее всего того, что вы узнали до этих пор.

Вечер пятый

О том, что неподвижные
звезды — это тоже солнца,
каждое из которых освещает
какой-нибудь мир

Маркиза проявила подлинное нетерпение, стремясь узнать, что представляют собой неподвижные звезды.

— Обитаемы ли они, как планеты? — спрашивала она. — Или же нет? Что же в конце концов мы для них придумаем?

— Возможно, вы догадаетесь,— отвечал я,— если очень этого захотите. Неподвижные звезды удалены от Земли на расстояние не менее чем в двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят раз большее, чем расстояние от нас до Солнца, которое отстоит от нас на триста тридцать миллионов лье. Это последнее расстояние — ничто в сравнении с дистанцией между Солнцем или Землей, с одной стороны, и неподвижными звездами — с другой, и потому его не дают себе даже труда принимать в расчет. Свет неподвижных звезд, как вы видите сами, достаточно силен и ярок. Если бы они получили его от Солнца, то уже крайне слабым — после такого умопомрачительного пути; да вдобавок нам они пересылали бы его с того же расстояния путем отражения, которое ослабило бы этот свет еще больше. Совершенно невозможно, чтобы отраженный свет, да еще проделавший дважды подобный путь, имел ту силу и яркость, какую имеет свет неподвижных звезд. Значит, они светятся самопроизвольно и все — если выразить это одним словом — являются солнцами.

— Уж не заблуждаюсь ли я,— воскликнула маркиза,— или я действительно вижу, куда вы хотите меня привести? Вы собираетесь мне сказать: «Неподвижные звезды — те же солнца, причем наше Солнце является

центром вращающегося вокруг него вихря; почему же каждая неподвижная звезда не может быть таким же центром вихря, который бы вокруг нее вращался? У нашего Солнца есть планеты, которые оно освещает; почему же и каждой неподвижной звезде не иметь в свою очередь того, чему они давали бы свет?»

— Я хочу вам только ответить словами, сказанными Федрой Эноне: «Ты сама это молвила»¹.

— Но,— продолжала она,— вот перед нами Вселенная, столь огромная, что я в ней теряюсь: я не знаю больше, где я, меня вообще больше нет. Так что же, все будет разделено на вихри, в беспорядке перемежающие друга друга? И каждая звезда будет центром вихря, возможно столь же великого, как тот, где мы находимся? И все это неимоверное пространство, включающее наше Солнце и наши планеты, всего лишь крошечная частица Вселенной? И в ней столько же подобных пространств, сколько неподвижных звезд? Все это приводит меня в замешательство, смущает, ужасает.

— Что касается меня, то мне все это очень мило. Если бы небо было всего лишь этим голубым сводом, а звезды были бы как бы прибиты к нему гвоздями, Вселенная казалась бы мне маленькой и тесной, я чувствовал бы себя подавленным. Теперь же, когда отвели бесконечно большие просторы и глубины этому своду, разделив его на тысячи вихрей, мне кажется, я дышу свободнее, я нахожусь на более свежем воздухе и уж, конечно, Вселенная обрела совсем иное величие. Природа ничего не сэкономила, создавая Вселенную, наоборот, она всюду разбросала богатства с достойной ее щедростью. Нельзя представить себе ничего прекраснее, чем это огромное количество вихрей, в центре каждого из которых находится солнце, заставляющее вращаться вокруг себя планеты. Обитатели какой-либо планеты одного из этих вихрей видят со всех сторон солнца тех вихрей, которыми они окружены, но они совсем не видят планет этих солнц, ибо планеты светятся лишь слабым светом, заимствованным от их солнца, и свет этот не выходит за пределы своего мира.

— Вы мне предлагаете,— сказала она,— такую бесконечную перспективу, что взгляд человеческий не может достичь цели. Я ясно вижу жителей Земли; за-

тем вы показали мне обитателей Луны и других планет нашего вихря, правда, достаточно ясно, но все же менее четко, чем жителей Земли. Далее идут обитатели планет других вихрей. Я вам признаюсь, что они как бы совершенно проваливаются, и, какие усилия я ни предпринимаю, чтобы их увидеть, я их не различаю вовсе. И в самом деле, разве все они не сведены почти на нет самым способом выражения, каким вы вынуждены пользоваться, когда о них говорите? По необходимости вы их называете обитателями одной из планет, одного из вихрей, число которых несчетно. Сознайтесь, что нас самих, к которым подходит то же самое выражение, вы почти не сумеете различить среди стольких миров. Что касается меня, то Земля начинает мне казаться ужасающе маленькой, так что впредь я, кажется мне, уже ни к чему на ней не буду стремиться. Право, если люди страстно стремятся к возвышению, если они строят планы за планами и так себя утруждают, то это лишь потому, что они ничего не знают о вихрях. Я хочу, чтобы моя лень извлекла пользу из моего нового просвещения, и, когда меня будут упрекать в бездеятельности, я буду отвечать: «А! Если бы вы знали, что такое неподвижные звезды!»

— Должно быть, Александр этого не знал,— заметил я,— ибо известный автор, считающий, что Луна обитаема, очень серьезно замечает, будто невозможно, чтобы Аристотель не придерживался столь разумного мнения (в самом деле, может ли истина ускользнуть от Аристотеля?!), просто он не хотел никогда говорить об этом², опасаясь разгневать Александра, который приходил в отчаяние при мысли о мире, недоступном его завоеванию. По еще более основательной причине от него скрыли существование неподвижных звезд и их вихрей, когда узнали о них в его время: было бы плохой услугой говорить ему об этом. Что касается меня, то, поскольку я о них знаю, я очень сердит, что не могу извлечь пользу из своего знания. Согласно правильному вашему заключению, знание это излечивает лишь высокомерие и суетность, а я вовсе не страдаю этими недугами. Некая слабость к тому, что прекрасно,— вот моя болезнь, но я не верю, чтобы вихри могли мне в этом помочь. Другие миры делают для вас этот мир

таким малюсеньким, но они совсем не могут испортить вам удовольствие от прекрасных очей или прелестного ротика: эти вещи всегда ценятся, назло всем мирам Вселенной.

— Странная это вещь — любовь, — сказала она, смеясь. — Она умеет спастись ото всего, и нет на свете системы, которая могла бы ей повредить. Но скажите мне откровенно: ваша система — истинна ли она? Не скрывайте от меня ничего, я сохраню тайну. Мне кажется, что система эта основана на некоем небольшом уподоблении, очень легковесном. Неподвижная звезда светится сама по себе, подобно Солнцу, и, следовательно, она, как Солнце, должна быть центром и душой какого-либо мира и иметь планеты, которые бы вращались вокруг нее. Но абсолютно ли это необходимо?

— Послушайте, что я скажу вам, мадам, — отвечал я. — Поскольку мы всегда готовы примешивать любовные глупости к нашим самым серьезным разговорам, математические рассуждения оказываются подобными любви. Если вы уступите любовнику хоть в самой что ни на есть малости, вы тотчас же должны будете ему уступить в большем, и в конце концов дело пойдет весьма далеко. Точно так же и здесь: уступите математику какой-нибудь небольшой принцип, и он тут же сделает из него вывод, который вы также должны будете признать; из этого вывода он сделает следующий и в конце концов против вашей воли заведет вас так далеко, что вам самой не поверится. Оба эти рода людей — и математики и любовники — берут у других гораздо больше, чем им дают. Вы согласны: когда две вещи подобны друг другу во всем, что мы в них усматриваем, то мы имеем право считать их подобными и в том, что нам недоступно, если только нет никаких препятствующих обстоятельств. Из этого я делаю вывод, что Луна была заселена, поскольку она похожа на Землю; остальные планеты — потому что они подобны Луне. Я нахожу, что неподвижные звезды напоминают наше Солнце, и потому придаю им все его свойства. Вы слишком далеко зашли, чтобы идти на попятный, и потому вам следует смело перешагнуть пропасть.

— Но, — сказала она, — согласно уподоблению, которое вы проводите между неподвижными звездами и

Солнцем, существа другого большого вихря должны видеть наше Солнце всего лишь как маленькую неподвижную звездочку, являющуюся их взорам лишь по ночам.

— Это не вызывает сомнения,— отвечал я,— наше Солнце так близко к нам в сравнении с солнцами других вихрей, что свет его должен иметь несравненно большую силу в наших глазах, чем в их. Когда мы на него смотрим, мы видим только его и свет его затмевает для нас все остальное. Но в другом большом вихре есть другое господствующее в нем светило, и оно в свою очередь затмевает наше, которое является им лишь ночью наряду с другими, чуждыми им, солнцами, то есть неподвижными звездами. Зрители прикрепляют его вместе с другими неподвижными звездами к этому великому небосводу, и там оно представляется им частью Медведицы или Быка. Что касается вращающихся вокруг Солнца планет, например нашей Земли, то поскольку ее с такого дальнего расстояния не видно, то о ней не думают вовсе. Таким образом, все солнца представляют собой дневные светила для своих вихрей и ночные — для чужих. В своем мире они являются единственными в своем роде, в остальной же Вселенной они лишь увеличивают число таких же, как они, солнц.

— Но не следует ли,— возразила она,— что миры вопреки этому сходству должны иметь тысячи различий — тысячи потому, что основное сходство не допускает бесконечного разнообразия?

— Конечно,— отвечал я,— но трудность заключается в том, чтобы эти различия отгадать. В самом деле, что могу я об этом знать? У одного вихря больше вращающихся вокруг солнца планет, у другого — меньше. В одном есть подчиненные планеты, вращающиеся вокруг планет более крупных, в другом их нет вовсе. Здесь они все собраны вокруг солнца и образуют как бы большой клубок, за пределами которого идет огромное пустое пространство, тянущееся вплоть до соседних вихрей; там они все устремлены к крайним пределам вихря и срединное пространство остается пустым. Я не сомневаюсь даже в том, что могут существовать отдельные вихри, совершенно пустынные, без планет,

а также другие, в которых солнце, не занимая центрального положения, обладает подлинным движением и увлекает за собою планеты; возможно, есть и такие вихри, где планеты поднимаются и опускаются в отношении своего солнца благодаря изменениям, наступающим в равновесии, обычно удерживающем их в определенном положении. Чего же вы, наконец, хотите? Всего этого вполне достаточно для человека, который никогда не выходил за пределы своего вихря.

— Но это ничего не означает,— сказала она,— для великого множества миров. Того, что вы сказали, достаточно лишь для пяти-шести вихрей, я же вижу отсюда тысячи.

— А что,— подхватил я,— если я скажу вам, что существует много других неподвижных звезд кроме тех, которые вы видите? Что с помощью телескопов открыли бесконечное число этих звезд, совершенно недоступных простому глазу, и что в одном-единственном созвездии, где обычно насчитывают двенадцать или пятнадцать звезд, их на самом деле столько, сколько их всего видели раньше на небе?

— Пошадите меня,— вскричала она,— я сдаюсь! Вы задавили меня мирами и вихрями!

— Я еще не все вам сказал,— добавил я.— Вы видите эту белизну, которую именуют Млечным Путем. Представляете ли вы себе хорошенько, что это такое? Это бесчисленное множество маленьких звезд, невидимых глазу из-за их крошечной величины и разбросанных так близко друг от друга, что кажется, будто одна представляет собой продолжение другой. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели через телескоп на этот муравейник звезд и эти крупички, каждая из которых — мир. Они в какой-то мере напоминают Мальдивские острова³ — эту дюжину тысяч маленьких островков или песчаных отмелей, отделенных друг от друга только морскими каналами, которые можно перескочить почти как канаву. Таким образом, маленькие вихри Млечного Пути настолько тесно прилегают друг к другу, что мне кажется, можно с соседними мирами вести переговоры или даже пожать друг другу руку. По крайней мере, думаю я, птицы одного из миров легко перелетают в другой, и там можно приручать голубей, как это де-

лают здесь на Востоке, чтобы они переносили письма, перелетая из одного города в другой. Эти маленькие миры составляют, по-видимому, исключение из общего правила, согласно которому каждое солнце в своем вихре затемняет, появляясь, все чужие солнца. Если вы находитесь в маленьком вихре Млечного Пути, ваше солнце не намного ближе к вам и обладает не намного большей силой света, чем множество других солнц соседних маленьких вихрей. Вы видите ваше небо сверкающим бесчисленным множеством огней, очень близко находящихся друг от друга и очень мало удаленных от вас. Когда вы теряете из виду ваше собственное солнце, для вас остается еще довольно солнц и ваша ночь не становится от этого менее светлой, чем день, по крайней мере разница вряд ли ощутима; справедливо будет сказать, что у вас там вообще нет ночей. Жители этих миров, привыкшие к постоянному свету, были бы очень удивлены, если бы им сказали, что существуют несчастные, вынужденные терпеть настоящие ночи, погружающиеся в глубокий мрак и видящие даже тогда, когда они наслаждаются светом, всего одно-единственное солнце. Они сочли бы, что мы — существа, обойденные милостями природы, и наше положение заставляло бы их содрогаться от ужаса.

— Я не спрашиваю вас, — сказала маркиза, — существуют ли луны в мирах Млечного Пути. Я вижу, что там от них не будет для главных планет никакого прока, поскольку там нет ночей; кроме того, они движутся в слишком узком пространстве, чтобы стеснять себя еще этой свитой подчиненных планет. Но знаете ли вы, что, щедро умножая миры, вы создаете мне настоящее затруднение? Вихри, солнца которых мы видим, соприкасаются с нашим вихрем. Ведь все эти вихри круглые, не правда ли? А каким образом столько шаров могут соприкасаться с одним-единственным? Хотела бы я себе это представить, но чувствую, что не могу.

— Нужно обладать большим умом, — сказал я, — чтобы почувствовать это затруднение и не быть в состоянии его разрешить. Ведь трудность эта сама по себе очень солидна, в том же виде, как вы ее понимаете и ставите вопрос, она не имеет ответа; а ведь это признак небольшого ума — иметь готовые ответы на вопросы,

вообще не допускающие ответов. Если бы наш вихрь имел форму игральной кости, он имел бы шесть гладких граней⁴ и совсем не был бы кругл; но на каждой из этих граней можно было бы поместить вихрь такой же формы. Если бы вместо шести плоских граней он имел бы двадцать, пятьдесят, тысячу граней, то можно было бы поместить на нем до тысячи вихрей — на каждой грани по одному, а вы отлично понимаете, что чем больше у тела плоскостей, ограничивающих его объем, тем более оно приближается к форме шара, так же как шлифованный алмаз, если он имеет со всех сторон небольшие грани, приближается — особенно если его грани очень малы — к форме круглой жемчужины того же размера. Вихри круглы не в таком смысле. У них есть снаружи несчетное число граней, на каждой из которых помещается другой вихрь. Грани эти очень неодинаковы: здесь они больше, там — меньше. Наименьшие грани нашего вихря соответствуют вихрям Млечного Пути и поддерживают все эти крохотные миры. Если два вихря, опирающиеся на две соседние грани, оставляют книзу какое-то пустое пространство, как это очень часто бывает, природа, которая очень ревниво бережет место, тотчас же заполняет эту пустоту одним или двумя маленькими вихрями, а может быть, и тысячами вихрей, которые ничуть не мешают другим и непременно являются одним, двумя или даже тысячью добавочных миров. Таким образом, мы можем наблюдать гораздо больше миров, чем наши вихри имеют граней для их поддержки. Могут побиться об заклад, что, хотя эти маленькие миры были созданы лишь для того, чтобы оказаться заброшенными в закоулки Вселенной, которые без того оказались бы не у дел, и хотя малютки эти остаются неизвестными в других, соприкасающихся с ними мирах, они тем не менее очень собою довольны. Это именно те миры, маленькие солнца которых можно различить только с помощью телескопа и которые существуют в столь огромном количестве. В конце концов все эти вихри прилаживаются друг к другу как нельзя лучше, и поскольку нужно, чтобы каждый из них вращался вокруг своего солнца без перемены места, то всякий из них выбирает самый удобный и приятный — в том положении, в каком он нахо-

дится,— способ вращения. Они некоторым образом сцепляются друг с другом, подобно колесикам часов, и поддерживают взаимное движение. Верно, однако, и то, что они также противодействуют друг другу. Каждый мир, так сказать, представляет собою баллон, имеющий свойство растягиваться, если только ему это позволить, но его тотчас же обратно сдавливают соседние миры: он принимает свой прежний объем, однако после снова стремится раздуться, и так все время. Некоторые философы утверждают, что неподвижные звезды не посылали бы нам этот мерцающий свет и нам не казалось бы, что они сверкают с перерывами, если бы их вихри не давили постоянно на наш, а он в свою очередь постоянно бы их не отталкивал.

— Мне очень нравятся все эти идеи,— сказала маркиза. — Нравятся мне и эти баллоны, которые раздуваются и сжимаются ежеминутно, и эти миры, находящиеся в постоянной взаимной борьбе. И особенно мне нравится наблюдать, как борьба эта способствует взаимному сообщению с помощью света, кроме которого они иного сообщения иметь не могут.

— Нет, вовсе нет,— возразил я,— это совсем не единственный способ сообщения. Соседние миры посылают нам иногда личный привет, причем достаточно великолепный: от них к нам прибывают кометы⁵, украшенные блистательной шевелюрой, или же почтенной бородой, либо величественным хвостом.

— О! Вот так посланники!— воскликнула она, смеясь. — Можно было бы обойтись и без их визитов: они только наводят страх.

— Они пугают одних лишь детей,— отвечал я,— по причине своего странного снаряжения; но, правда, детей на свете много. Кометы — это всего лишь планеты, принадлежащие соседнему вихрю. Они движутся по направлению к крайним пределам этого вихря; но, возможно, он испытывает различное давление со стороны вихрей, которые его окружают, и имеет более круглую форму кверху и сплюснутую — книзу; к нам он обращен своим низом. Планеты, о которых идет речь, начиная свое движение по кругу наверху, не могут предвидеть, что внизу им не хватит объема вихря, ибо там он как бы сплюснен; чтобы продолжить свое

круговое движение, им непременно нужно войти в другой вихрь, допустим в наш, рассекая его края. Поэтому, на наш взгляд, они всегда летят очень высоко; можно подумать, что они движутся над Сатурном. Необходимо, учитывая огромное расстояние, на котором находятся от нас неподвижные звезды, чтобы от Сатурна до самых границ нашего вихря простиралось громадное пустое пространство, в котором не было бы планет. Наши противники ставят нам на вид бесполезность такого пространства, и, чтобы они впредь не волновались, мы нашли ему применение: это — обиталище чужеродных планет, вступающих в наш мир.

— Понимаю,— сказала она. — Мы не позволяем им проникать в самое сердце нашего вихря и смешиваться с нашими планетами, мы принимаем их так, как турецкий султан принимает засланных к нему послов. Он не удостаивает их чести поселиться в Константинополе, но отводит им жилье лишь в предместьях столицы.

— У нас есть и другие сходства с турками,— подхватил я. — Они принимают у себя чужеземных послов, но своих никуда не шлют: так и мы никогда не посылаем наши планеты в соседние миры.

— Судя по всему этому,— возразила она,— мы великие гордецы. Впрочем, я еще не совсем разобралась, чему из всего этого можно верить. Эти чужеземные планеты имеют весьма угрожающий вид со своими хвостами и бородами, и, быть может, их посылают к нам, чтобы нас запугать; наши же планеты устроены иначе, они не способны наводить страх, если предположить, что они посетят другие миры.

— Хвосты и борода,— отвечал я,— это одна лишь видимость. Чужеземные планеты ничем не отличаются от наших, но, вступая в наш вихрь, они приобретают эти аксессуары благодаря определенному способу освещения, получаемому ими от Солнца; среди нас это явление не нашло еще удовлетворительного объяснения. Однако всем ясно, что речь идет всего лишь о способе освещения; когда-нибудь, возможно, эту загадку разрешат.

— Но я бы хотела,— продолжала она,— чтобы наш Сатурн приобрел хвост или бороду, войдя в какой-либо чужой вихрь, и мог бы наводить там ужас; а затем,

отбросив это ужасное украшение, вернулся бы сюда, в свой ряд планет, к своим обычным обязанностям.

— Для него было бы лучше,— возразил я,— совсем не покидать наш вихрь. Я говорил вам об ударе, который возникает, когда один вихрь давит на другой и когда они взаимно отталкиваются. Думаю, что при этом бедная планета испытывает довольно жестокое воздействие и обитатели ее чувствуют себя в это время довольно скверно. Мы вот чувствуем себя очень несчастными, когда нам является комета: на самом деле это комета должна чувствовать себя несчастной.

— Не думаю,— сказала маркиза. — Ведь она приносит к нам с собою всех своих обитателей в добром здоровье. А ведь нет ничего забавнее возможности сменить таким образом вихри. Мы, никогда не выходявшие из нашего вихря, ведем довольно нудную жизнь. Если у жителей кометы хватает ума, чтобы предвидеть время их перехода в наш мир, то те, кто уже совершил это путешествие, заранее возвещают другим о том, что они там увидят. «Вы скоро обнаружите планету, имеющую вокруг себя большое кольцо»,— говорят они, может быть, имея в виду Сатурн. «Вы увидите и другую планету, у которой есть четыре сопровождающих ее луны», и т. д. Быть может, там даже есть существа, назначение которых — наблюдать за моментом вступления комет в наш мир и которые при этом тотчас же восклицают: «Новое солнце! Новое солнце!» — подобно матросам, восклицаящим: «Земля! Земля!»

— Я вижу,— сказал я ей,— что не стоит больше стремиться возбуждать в вас сострадание к кометам, но я надеюсь по крайней мере, что вы выразите сожаление тем из них, кто живет в вихре, где солнце угасает, и потому пребывают в окружении вечной ночи.

— Как! — воскликнула она. — Солнце может угаснуть?!

— Да, без сомнения,— отвечал я. — Древние видели в небе неподвижные звезды, которых теперь мы не видим. Это солнца, потерявшие свой свет; и как следствие — великое опустошение во всем вихре, смерть повсюду, на всех планетах — ибо можно ли жить без солнца?

— Эта идея очень печальна,— возразила она. — Нет ли средства меня от нее избавить?

— Я вам расскажу,— отвечал я,— если вы желаете, что говорят многоопытные люди: исчезнувшие неподвижные звезды угасли не полностью, это, если можно так сказать, солнца наполовину; иначе говоря, одна половина у них темная, а другая — светлая. Вращаясь вокруг своей оси, они являют нам то светлую свою сторону, то темную; в этом последнем случае мы их больше не видим. По всей очевидности, пятая луна Сатурна находится именно в таком состоянии, так как во время одной половины ее вращения мы полностью теряем ее из виду; это не значит, что она тогда больше удалена от Земли; наоборот, в это время она ближе к нам, чем в другое время, когда мы ее видим. И хотя эта луна — планета, что, естественно, не дает права делать заключение относительно солнца, отлично можно вообразить солнце, с одной стороны постоянно покрытое пятнами, в то время как наше Солнце имеет пятна лишь преходящие. Я охотно допущу, чтобы заслужить вашу милость, именно это мнение — оно приятнее первого. Но допустить его я могу лишь в отношении некоторых звезд, для которых характерно определенное время появления и исчезновения: это уже начали подмечать, и в противном случае полусолнца не могли бы существовать.

Однако что скажем мы о звездах, исчезающих и не появляющихся вновь по истечении времени, за которое они несомненно должны были совершить полное вращение вокруг своей оси? Вы слишком справедливы для того, чтобы заставить меня верить, будто это — полусолнца. Однако я сделаю еще одно усилие в вашу пользу. Солнца эти не угасли; они только погрузились в бездонную глубину неба, и мы не можем их больше видеть: в этом случае вихрь будет продолжать свое вращение вокруг своего солнца и все будет хорошо. Верно, правда, что большая часть неподвижных звезд не обладает движением, заставляющим их от нас удаляться: в этом случае они должны были бы к нам снова приблизиться и мы видели бы их то большими, то меньшими, а ведь на самом деле это не так. Но мы допустим, что только некоторые небольшие вихри, более легкие и подвижные, проскальзывают между другими вихрями и совершают некое обращение, в результате которого они воз-

вращаются на свое место, в то время как крупные вихри остаются неподвижными; однако вот в чем несчастье: существуют неподвижные звезды, которые являются нашему взору, причем в течение значительного времени они то скрываются от нас, то появляются вновь и, наконец, исчезают вовсе. Полусолнца исчезают и появляются в правильно чередующиеся промежутки времени, солнца, погружающиеся в небесную пучину, исчезают один только раз с тем, чтобы уже больше не появляться. Решитесь же, мадам, мужественно поверить в то, что звезды — это солнца, которые могут становиться темными настолько, что перестают быть нам видны; затем они вновь возгораются и наконец угасают совсем.

— Но каким образом солнце, — спросила маркиза, — само являющееся источником света, может становиться темным и угасать?

— Нет ничего легче, если верить Декарту⁶, — отвечал я. — Он предполагает, что пятна нашего Солнца, будучи либо шлаком, либо туманностями, могут сгущаться, собираться воедино, зацепляться одно за другое; затем они могут образовать вокруг Солнца кору, которая может все время разрастаться, и тогда — прощай Солнце! Если Солнце — это огонь, имеющий в своей основе какую-либо плотную материю, которая его питает, то дело обстоит не лучше, ибо плотная материя постепенно изнашивается. Мы даже, как говорится, дешево пока отделались: Солнце бывало очень бледным годами, например весь следующий год после убийства Цезаря⁷; тогда начала образовываться кора; солнечная энергия ее разбила и рассеяла, но, если бы этот процесс продолжался, мы бы погибли.

— Вы приводите меня в содрогание, — сказала маркиза. — Но теперь, когда я узнала последствия солнечной бледности, мне кажется, по утрам вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, не бледна ли я, я стану смотреть на небо — не бледно ли Солнце!

— О мадам, — отвечал я, — будьте спокойны. Чтобы сокрушить мир, требуется немало времени.

— Однако, — возразила она, — для этого нужно время, и только?

— Должен признаться, что это так, — отвечал я. — Вся эта громадная масса материи, составляющая

Вселенную, находится в непрерывном движении, от которого не избавлена ни одна ее часть, а ведь там, где есть какое-то движение, будьте спокойны, непременно наступят изменения — быстрые ли или медленные, но всегда в срок, прямо пропорциональный воздействию. Чудаки были эти древние, воображавшие, будто природа небесных тел неизменна, и только потому, что они никогда не видели, как она изменяется. Да и хватало ли им досуга, чтобы убедиться на опыте в истине? Мы считаем, что древние были наивны. Если бы розы, чей век продолжается один день, писали историю и их поколения оставляли бы друг другу мемуары, то розы первого поколения создали бы по определенному образцу портрет своего садовника и по крайней мере в течение пятнадцати тысяч розовых веков другие розы, которые должны были бы передать эту традицию последующим поколениям роз, ничего бы в этом портрете не изменили. Они говорили бы: «Мы всегда видели одного и того же садовника; с того момента как существует память роз, видели только его; он всегда был таким же, каков он сейчас, значит, несомненно, он не умирает, как мы, и даже не изменяется!» Правильным ли будет рассуждение роз? Нет; оно, однако, более основательно, чем рассуждения древних о небесных телах. И если бы в небесах до сих пор не произошло никаких изменений, даже тогда, когда по всем признакам будет казаться, что они созданы для вечного и неизменного существования, я уже больше этому не поверю, я подожду показаний более длительного опыта. Должны ли мы свой быстротечный век сделать мерилom длительности существования других вещей? Можно ли говорить, что то, что живет в сто тысяч раз дольше нас, должно жить вечно? Нет, вечность совсем нелегкое дело. Надо, чтобы какая-нибудь вещь прошла из конца в конец путь, равный большому толике человеческих лет, для того чтобы на ней появилась хоть небольшая печать вечности.

— В самом деле, — сказала маркиза, — я вижу, что миры совсем не могут претендовать на это. Я не окажу им даже чести сравнить их с этим садовником, который с точки зрения роз стал долговечен; миры — это те же розы, что рождаются и умирают в саду одна за другой. Ибо я надеюсь: поскольку древние звезды исчезают,

должны появиться новые — ведь нужно, чтобы род восстанавливался.

— Нет опасения, что род сойдет на нет,— сказал я. — Кое-кто вам скажет, что эти вновь нарождающиеся звезды не что иное, как звезды, возвращающиеся к нам после того, как они надолго исчезли в пучине небес. Другие заметят, что это солнца, освободившиеся от темной коры, которая их обволакивала. Как легко допустить, все это возможно, но я верю, что Вселенная могла быть устроена таким образом, что время от времени она создает себе новые солнца. Почему материя, способная создать одно солнце, будучи разбросана по многим различным местам, не может в одном из этих мест в конце концов уплотниться и заложить основание для нового мира? У меня большая склонность верить в эти новые творения — это лучше отвечает возвышенной идее, которую я создал себе относительно творений природы. И разве не могло ей хватить силы на то, чтобы порождать и убивать планеты или живые существа путем непрерывного вращения? Я убежден — и вы теперь убеждены в этом также, — что ту же самую силу она применяет к мирам и что это ей совсем ничего не стоит.

Но мы приходим к этому вовсе не только с помощью догадок. Действительность такова, что вот уже почти сто лет, как люди умеют с помощью телескопа⁸ наблюдать совершенно новое и незнакомое древним небо. Немного можно найти созвездий, в которых не произошло бы каких-нибудь заметных сдвигов. Больше всего их заметно в Млечном Пути, потому что в этом муравейнике малых миров царит больше всего движения и беспокойства.

— Клянусь честью,— сказала маркиза,— я нахожу теперь миры, небеса и небесные тела настолько склонными к переменам, что я почти утратила к ним симпатию.

— Давайте совсем им в ней откажем,— отвечал я,— и, если вы мне доверяете, не будем об этом больше говорить. Вы уже достигли последнего свода небес; а для того чтобы сказать вам, существуют ли за его пределами звезды, я недостаточно сведущ. Поместите ли вы за этим сводом еще миры или не поместите, будет целиком в вашей власти. Это и есть собственное

королевство философов — те огромные незримые страны, которые по их желанию могут быть или не быть и быть такими или иными. Я же довольствуюсь тем, что завел ваш ум в такую даль, какой пожелали ваши глаза.

— Ого! — воскликнула она. — Значит, у меня в голове сейчас вся система Вселенной и теперь я ученая!

— Да, — отвечал я, — вы достаточно учены и при этом пользуетесь удобством вовсе не верить всему тому, что я вам сказал, если только вам это вздумается. Прошу у вас в награду за все мои труды только одного: не взгляните ни разу на Солнце, небо и звезды, не подумав обо мне.

* * *

Поскольку я опубликовал эти «Рассуждения», я не считаю возможным утаивать что-либо касающееся затронутых здесь проблем. Поэтому я публикую новое «Рассуждение», написанное гораздо позже остальных, но носящее тот же характер. Оно озаглавлено «Вечер», ибо таковы же заглавия прочих пяти «Рассуждений»: лучше, чтобы все сочинение имело один заголовок.

Вечер шестой¹

Новые соображения,
подтверждающие те, что были
высказаны в предыдущих
«Рассуждениях».

Последние открытия в области
небес

Прошло много времени, в течение которого мы не говорили о мирах — мадам Л. М. Д. Г. и я — и даже стали забывать, что когда-то беседовали об этом. В один прекрасный день я зашел к ней, и как раз в тот момент, когда я входил, от нее вышли два господина, известные в свете своим умом.

— Видите, — сказала она, как только заметила меня, — каких гостей я сейчас принимала! Признаюсь,

они оставили меня в некотором сомнении, не повреди-лась ли я из-за вас в уме.

— Я, несомненно, прославился бы как знамени-тость,— возразил я,—если бы моя власть над вами была столь велика: на мой взгляд, на свете не существует ничего более трудного.

— Однако я опасаясь, что вы свою власть исполь-зовали. Не знаю — как, но каким-то образом наш раз-говор с этими двумя только что удалившимися людьми обратился на миры: быть может, они повели эту речь не без задней мысли. Я, не долго думая, тотчас же им сказала, что все планеты населены. Один из них ответил мне: «Я вполне уверен, что вы в это не верите». Но я с необыкновенной наивностью стала настаивать, что верю. Он же продолжал принимать это за кокетство женщины, ищущей развлечения. И думаю, что его де-лало таким упрямым и не позволяло доверять моим мнениям его глубокое ко мне уважение; он не допускал мысли, что я способна придерживаться столь экстрава-гантного мнения. Что касается второго из них, то он не питает ко мне столь сильного уважения и потому мне поверил. Но зачем же вы вбили себе в голову вздор, заставляющий людей, которые меня знают, не верить, будто я серьезно могу этот вздор поддерживать?!

— Но, мадам,— отвечал я ей,— зачем вы серьезно обсуждали все это с людьми, которые, как я уверен, не дали себе труда обсудить это хоть сколько-нибудь серь-езно? Разве так надо отстаивать обитателей планет? Давайте удовольствуемся тем, что в них будет верить кучка избранных и не станет разглашать наши тайны толпе.

— Как! — вскричала она. — Вы именуете «толпой» только что ушедших отсюда людей?

— Они довольно умны,— отвечал я,— но никогда не рассуждают. А люди, привыкшие рассуждать,— на-род суровый,— не задумываясь, назвали бы их предста-вителями толпы. С другой стороны, люди такого сорта отыгрываются, выставляя любителей рассуждать в смеш-ном виде; мне кажется, это отлично заведенный поря-док — чтобы каждый презирал то, чего ему недостает. Вообще-то надо уметь, если возможно, к каждому при-способиться: было бы лучше, если бы с этими двумя

господами, которые вас навестили, вы говорили о жителях планет в шутилом тоне, поскольку шутить они умеют, рассуждения же им недоступны. Их уважение к вам было бы спасено, а планеты не потеряли бы ни одного своего жителя.

— Предать истину! — воскликнула маркиза. — Да у вас совести нет!

— Признаюсь вам, — отвечал я, — что я не очень ревниво отношусь к этим истинам и охотно жертвую ими во имя малейшего общественного благополучия. К примеру, я вижу, от чего зависело и вечно будет зависеть то, что мысль о планетных жителях не считается столь правдоподобной, какова она на самом деле: планеты всегда являются нашим глазам как тела, излучающие свет, а не как тела, покрытые большими полями либо прериями; мы охотно верим обычно, что поля и прерии заселены, но нет средства заставить нас поверить, будто могут быть заселены светящиеся тела. Пусть разум сколько угодно твердит нам, что на планетах есть и поля и прерии, — он опоздал; ибо наш первый взгляд уже оказал свое воздействие до него, и мы больше не желаем прислушаться к разуму: планеты остаются для нас лишь светящимися телами. И потом, на что могут быть похожи их обитатели? Наше воображение требует, чтобы ему немедленно были представлены их лица, — но оно бессильно; поэтому легче всего считать, что планетных жителей не существует вовсе. Хотите ли вы? Для того чтобы реабилитировать жителей планет, интересы которых меня так глубоко волнуют, я поведу атаку на сомнительные силы, именуемые чувством и воображением. Правда, для этого предприятия нужно немало отваги: трудно убедить людей в необходимости заменить глаза разумом. Я временами встречаю людей довольно благоразумных, соглашающихся после тысячи доказательств поверить в то, что планеты — это такие же земли; но они верят в это далеко не так основательно, как верили бы, если бы не видели планеты в другом обличье: они постоянно держат в уме первую полученную относительно планет идею и не могут от нее полностью отказаться. Это люди, которые, доверившись нашему мнению, тем не менее словно оказывают ему милость и поддерживают его лишь по причине из-

вестного удовольствия, какое доставляет им его необычность.

— А что же,— прервала меня она,— разве этого не достаточно для мнения, которое всего лишь правдоподобно?²

— Вы будете очень удивлены,— отвечал я,— если я скажу вам, что термин «правдоподобно» достаточно скромн. Разве утверждение, что Александр жил, всего лишь правдоподобно? Вы ведь в этом совершенно уверены, а на чем основывается эта ваша уверенность? На том, что вы располагаете всеми доказательствами, каких только вы можете пожелать в подобном вопросе, а также и на том, что нет ни малейшего повода сомневаться, который бы отяготил ваш разум и ему воспрепятствовал. Впрочем, вы никогда не видели Александра и вы не располагаете математическим доказательством того, что он должен был жить; а что бы вы сказали, если бы обитатели планет находились в этом смысле в таком же положении, как Александр? Вам их нельзя показать, и вы не можете требовать, чтобы вам доказали их существование математическим способом; что же касается всех прочих доказательств, какие требуются в подобных случаях, вы их имеете: полное сходство планет с Землей, которая населена; невозможность придумать им другое назначение, кроме как служить обиталищем для живых существ; плодovitость и великодушная щедрость природы; явная забота, какую она проявила о нуждах планетных жителей, когда придала луны планетам, удаленным от Солнца, причем тем больше лун, чем больше они удалены; и, что самое главное, все свидетельствует в пользу нашего мнения и ничто — в пользу противоположного; если вы только не позаимствуете глаза и ум толпы, у вас не возникнет ни малейшего повода для сомнения. Наконец, если предполагать, что эти обитатели планет существуют, они не могли бы заявить о себе большим количеством признаков и признаками более доказательными. Теперь смотрите сами, по-прежнему ли вам будет угодно толковать существование жителей планет лишь как нечто правдоподобное.

— Но не хотите ли вы,— возразила она,— чтобы это представлялось мне столь же достоверным, как существование Александра?

— Не совсем так,— отвечал я,— ибо, хотя мы имеем в отношении обитателей планет столько доказательств, сколько только можно иметь в нашем положении, число этих доказательств не слишком велико.

— Я, кажется, отрекись от планетных жителей,— прервала меня она. — Я больше не знаю, где поместить их в моем сознании. Они не вполне достоверны, но они более чем правдоподобны: все это для меня слишком сложно.

— Ах, мадам,— отвечал я,— не падайте духом. Самые распространенные приборы времени показывают только часы, и лишь те, что сделаны более искусно и тонко, показывают минуты. Точно так же заурядные умы хорошо понимают разницу между простым правдоподобием и полной достоверностью; но лишь утонченным умам дано понять, что такое большая или меньшая степень достоверности или правдоподобия, и отметить, если так можно сказать, минуты этих понятий. Поместите обитателей планет несколько ниже Александра, но выше бесчисленного количества исторических моментов, не имеющих окончательных доказательств, и я думаю, что они там будут на месте.

— Я люблю порядок,— сказала она,— и мне очень приятно, что вы упорядочили мои идеи. Но почему вы не позаботились об этом сразу?

— Потому, что, если вы верите в планетных жителей немножко больше или немножко меньше, чем они этого заслуживают, здесь еще нет большой беды. Я убежден, что вы не верите в движение Земли так, как положено; но достойны ли вы за это такого уж сожаления?

— О! Что касается этого,— подхватила она,— то тут я выполняю свой долг, и вам не в чем меня упрекнуть; я твердо уверена, что Земля вертится.

— А ведь я не привел вам самого лучшего доказательства в пользу этого,— сказал я.

— А! — воскликнула она. — Это предательство — заставлять меня верить чему-либо с помощью недостаточных доказательств. Значит, вы считаете меня недостойной узнать точные доводы?

— Я доказываю вам все,— отвечал я,— лишь с помощью небольших легких рассуждений, приспособлен-

ных к вашему пониманию. Не хотите ли вы, чтобы я пользовался такими солидными и громоздкими доводами, как будто мне надо сокрушить ученого мужа?

— Да,—сказала она,—обходитесь со мной отныне, как с ученым мужем, и посмотрим, что у вас там за новое доказательство движения Земли!

— Охотно,—сказал я,—вот оно. Мне оно очень нравится, быть может, потому, что я его, как мне кажется, сам придумал; правда, оно так прекрасно и естественно, что я бы не осмелился полностью поверить, будто открыл его я. Всегда было хорошо известно, что ученый, одержимый стремлением дать ответ, вынужден говорить очень пространно—это единственный способ смутить другого ученого. В данном случае необходимо одно из двух: либо чтобы все небесные тела обращались в течение двадцати четырех часов вокруг Земли, либо чтобы Земля, совершив в течение двадцати четырех часов оборот вокруг своей оси, приписывала бы это движение всем небесным телам. Но в мире не существует вещи более невозможной, чем это двадцатичетырехчасовое вращение небесных тел вокруг Земли, хотя абсурдность этого и не сразу бросается в глаза. Все планеты, несомненно, совершают свои большие круговращения вокруг Солнца, но эти круговращения между собой неподобны—из-за различия расстояния, на которое та или иная планета отстоит от Солнца³. Самые удаленные планеты совершают свое кругообращение в наибольшее время, что вполне естественно. Тот же самый порядок наблюдается среди малых подчиненных планет, вращающихся вокруг большой планеты. Четыре луны Юпитера и пять лун Сатурна совершают кругооборот вокруг своей большой планеты в соответствии с тем, насколько они от нее удалены. Кроме того, достоверно, что планеты вращаются вокруг своей оси; эти вращения также неподобны. Трудно точно сказать, от чего зависит этот разнобой; возможно, он происходит от различной плотности планет, а может быть, от различной скорости движения вихрей, к которым они относятся, и жидких сред, в которых они движутся. Но в конце концов неравномерность этих вращений очевидна, и таков же общий порядок природы, где все, что имеет

очень много общих черт, в то же время различается рядом частных признаков.

— Я понимаю вас,—прервала меня маркиза,—и считаю, что вы правы. Да, я придерживаюсь вашего мнения. Если бы планеты вращались вокруг Земли, они вращались бы в течение неравного времени, в соответствии с их расстоянием от Земли, так же, как это происходит при их вращении вокруг Сатурна. Ведь вы именно это хотели сказать?

— Совершенно точно, мадам,—подхватил я. — Неравномерность расстояний их от Земли должна вызывать неравномерность этих предполагаемых вращений вокруг Земли. И не вполне ли очевидно, что неподвижные звезды, столь далеко отстоящие от нас, столь высоко поднятые надо всем, что могло бы получить всеобщее движение вокруг нас, или по крайней мере расположенные там, где это движение должно быть очень ослаблено, не совершают вращений вокруг нас в течение двадцати четырех часов, подобно луне, которая к нам близка. А кометы, эти чужеземки в нашем вихре, пути которых столь различны, равно как и их скорости,—не должны ли они быть избавлены от того, чтобы вращаться вокруг нас в продолжение того же самого времени — двадцати четырех часов? Так нет же! Планеты, неподвижные звезды, кометы — все это, оказывается, совершает вокруг Земли двадцатичетырехчасовой оборот. Можно было бы еще удовлетвориться, если бы в этих кругообращениях была какая-нибудь, хоть минутная, разница; но нет, все они должны быть точнейшим образом равномерны — мало того, в мире не существует более подлинной равномерности: ни минутой больше, ни минутой меньше! Право, все это очень подзрительно.

— О! — сказала маркиза. — Поскольку вполне может быть, что эта великая равномерность существует только в нашем воображении, я уверена, что за его пределами ее не существует вовсе. Я очень довольна, что вещь, никоим образом не принадлежащая гению природы, полностью зависит от нас и что с нее нельзя снять обвинения, хотя судебные издержки целиком идут за наш счет.

— Что касается меня,— возразил я,— я такой враг абсолютной равномерности, что вовсе не нахожу прекрасным то, что вращения, каждодневно совершаемые Землей вокруг своей оси, делятся ровно двадцать четыре часа и одно из них в точности равно по продолжительности другому. Я предпочел бы верить, что и здесь существуют различия.

— Различия! — воскликнула она. — А разве наши часы не являют собой абсолютную равномерность?

— О! — отвечал я, — Я не признаю часы; они не могут сами по себе быть совершенно правильными. И в тех случаях, когда они верны и показывают, что один кругооборот, который должен произойти за двадцать четыре часа, длиннее или короче, люди предпочитают думать, будто часы неверны, но ни за что не станут подозревать, что в круговращениях Земли есть какая-то неправильность. Таково забавное уважение, оказываемое нами Земле; я же не более доверился бы Земле, чем часам: примерно одни и те же причины нарушают как порядок Земли, так и порядок часов; только Земле нужно больше времени, чем часам, для того чтобы выйти из строя, и это единственное преимущество, какое можно ей приписать. И разве не может она мало-помалу приближаться к Солнцу? Тогда, оказавшись в месте, где материя более подвижна, а движение более быстро, она в то же самое время может сделать в два раза больше оборотов вокруг Солнца и вокруг своей оси. Годы тогда станут короче, день также, но обитатели Земли этого не заметят, ибо они будут продолжать делить год на триста шестьдесят пять дней, а день — на двадцать четыре часа. Живя столько же, сколько мы живем в настоящее время, люди будут жить тогда большее количество лет. И наоборот, если Земля удалится от Солнца, люди будут жить меньшее количество лет, чем мы, однако они не будут жить меньше.

— Совершенно очевидно,— сказала она,— что, когда это произойдет, длинный ряд веков даст лишь небольшую разницу.

— Согласен,— сказал я. — Поведение природы очень деликатно, и метод ее состоит в том, чтобы все постепенно проводить по ступенькам; эти изменения мы ощущаем, лишь когда они очень быстры и заметны. Мы

почти не способны ни на что большее, чем замечать времена года. Что касается других перемен, совершающихся с известной медлительностью, то они великолепно от нас ускользают. Однако все находится в состоянии постоянного колебания⁴, и, следовательно, все претерпевает изменения. И все, вплоть до известной девицы, которую высмотрели на Луне вот уже почти сорок лет тому назад⁵ с помощью телескопа, со временем значительно старится. У девицы этой было довольно красивое лицо, но теперь ее щеки ввалились, нос вытянулся, лоб и подбородок выдались вперед; все ее прелести исчезли, и даже есть опасения за ее жизнь.

— Что вы мне тут рассказываете? — прервала меня маркиза.

— Это вовсе не шутка, — отвечал я. — На Луне разглядели своеобразную фигуру, имевшую вид женщины, выходящей из горного ущелья, а теперь в этом месте Луны произошли изменения. Там упало несколько кусков скалы, и они открыли нашему взору три вершины, которые могут представлять только лоб, подбородок и нос старухи.

— Не кажется ли вам, — сказала она, — что какой-то злобный рок всегда угрожает именно красоте? Именно эта девицья голова стала на всей Луне предметом его преследования!

— Возможно, что как бы в награду за это, — ответил я, — изменения, случающиеся на нашей Земле, делают прекрасным лицо, видимое с Земли жителям Луны. Я имею в виду некое лицо, подобное лунному; ибо каждому из нас свойственно переносить на предметы владеющие им идеи. Наши астрономы усматривают на Луне лики барышень. Быть может, если бы Луну наблюдали женщины, они высмотрели бы там прекрасные мужские лица. Что касается меня, мадам, то я несомненно увидел бы там вас.

— Скажу вам, — ответила она в свою очередь, — я не могла бы не почувствовать признательности к человеку, который бы меня там обнаружил. Но возвращаясь к тому, что вы только что мне сказали: поведаете мне, происходят ли на Земле значительные изменения?

— Есть много показаний в пользу того, что они происходят. Многие высокие и сильно удаленные от моря горы имеют обширные долины, покрытые ракушками,— ясный знак того, что когда-то они были покрыты морской водой. Часто также находят довольно далеко от моря скалы с окаменелостями рыб. Кто бы мог поместить их сюда, если бы здесь раньше не было моря? Мифы повествуют, что Геракл разделил руками две горы—Кальпé и Аби́лу: будучи расположены между Африкой и Испанией, они запирали вход Океану. После этого, согласно сказаниям, море яростно ринулось на сушу и образовало гигантский залив, названный Среди-земным морем. Ведь мифы и сказания—это не только мифы: это история давно прошедших времен, но искаженная либо невежеством народов, либо их страстью к чудесному: то и другое—очень древние недуги людей. Трудно поверить, будто Геракл действительно раздвинул две горы своими руками; но что во времена какого-нибудь из Гераклов (а мифы насчитывают их пятьдесят) Океан пробил две горы, более неустойчивые, чем другие, быть может, с помощью какого-то землетрясения и вклинился между Европой и Африкой, я могу поверить без особого труда. Тогда жители Луны увидели внезапно на нашей Земле порядочное по размерам пятно—ведь вы знаете, мадам, что моря—это пятна. По крайней мере общее мнение таково, что Сицилия была именно тогда отделена от Италии, а Кипр—от Сирии. Время от времени в морях образуются новые острова. Землетрясения разрушают одни горы и порождают другие, изменяют русла рек. Философы заставляют нас опасаться, чтобы королевство Неаполитанское и Сицилия, представляющие собой земли, опирающиеся на громадные подземные своды, заполненные серой, не рухнули в один прекрасный день, когда своды эти станут недостаточно крепкими, дабы сдерживать находящийся под ними огонь: этот огонь они сейчас извергают через кратеры Везувия и Этны. Всего сказанного вполне достаточно, чтобы внести некоторое разнообразие в зрелище, являемое нами луножителям.

— Я гораздо более предпочла бы,—сказала маркиза,—чтобы мы наводили на них скуку, показывая им

всегда одно и то же, чем забавлять их посредством зрелища разрушенных областей.

— Но это безделица по сравнению с тем, что происходит на Юпитере,— подхватил я.— На его поверхности можно видеть некие ленты, которыми он как бы опоясан кругом и которые можно отличить одну от другой, а также различить пространство между ними благодаря разной степени освещенности или же темноты. Это земли и моря или просто большие части поверхности Юпитера, между которыми есть различие. Ленты эти то сужаются, то расширяются, иногда они как бы прерываются, а потом снова тянутся сплошь. В различных местах Юпитера то образуются новые ленты, то исчезают старые, и все эти перемены, доступные нашему наблюдению лишь благодаря телескопу, сами по себе гораздо более значительны, чем те, которые произошли бы у нас, если бы океан затопил всю сушу, а на своем месте оставил бы новые континенты. По крайней мере если только жители Юпитера не амфибии и не умеют одинаково хорошо жить в воде и на суше, я совсем не знаю, каково им приходится.

Также и на поверхности Марса можно видеть большие изменения, происходящие буквально из месяца в месяц. За столь небольшой срок моря затопляют там большие материки или же то приливают, то отливают, причем приливы и отливы эти во много раз сильнее наших или примерно равны им по силе. Наша планета в сравнении с упомянутыми двумя очень спокойная, и у нас есть серьезная причина для похвальбы, особенно если правда, что на Юпитере существуют огромные страны, равные по величине всей Европе, которые были уничтожены пожаром⁶.

— Пожаром! — воскликнула маркиза. — Воистину это была бы важная новость.

— Да, очень важная,— подтвердил я.— На Юпитере примерно двадцать лет тому назад видели продолговатый свет, более яркий, чем вся остальная поверхность планеты. Мы здесь имели потопа, но крайне редко; быть может, на Юпитере так же редки большие пожары в отличие от потопов, которые там обычны. Но как бы то ни было, свет этот на Юпитере никоим образом нельзя сравнить с неким другим светом, по всей

очевидности древним, как мир, и тем не менее никем никогда не виденным.

— Но как мог такой свет утаиться? — сказала она. — Для этого надо иметь особую сноровку.

— Свет этот, — возразил я, — появляется только с зорями; но чаще всего зори бывают долги и яркие и поэтому скрывают его. А когда они, наконец, дают возможность его увидеть, то его скрывают либо испарения, держащиеся на горизонте, либо он настолько неярок, что при недостатке внимания его принимают за саму зарю. Но наконец, тридцать лет тому назад⁷, его начали точно распознавать, и в течение определенного времени свет этот служил услугой для астрономов, чья любознательность всегда требует возбуждения со стороны какого-нибудь совсем нового явления. Ведь все открытия новых подчиненных планет почти совсем их не трогают; две последние луны Сатурна⁸, например, вовсе их не очаровали и не дали им радости, как это было, когда открыли луны, или спутники, Юпитера: ко всему привыкаешь. Итак, за месяц до и через месяц после равноденствия в марте, после захода Солнца и угасания вечерней зари можно видеть некий белесоватый свет, напоминающий хвост кометы. Его можно также видеть перед восходом Солнца и утренней зарей во время, близкое к сентябрьскому равноденствию. Виден он и по утрам и вечерам незадолго до зимнего солнцестояния. Кроме указанных периодов, свет этот не может высвободиться из подавляющего его света зорь, очень яркого и длительного. А ведь считают, что он наличествует всегда — вероятность этого полнейшая. Стали предполагать, что источник его — большая масса вещества, несколько уплотненного, которое обволакивает на определенном пространстве Солнце. Большинство солнечных лучей пробиваются сквозь эту оболочку и доходят до нас в виде прямых линий. Но остаются лучи, которые, встречаясь с внутренней поверхностью этой массы, преломляются и направляются к нам, причем либо утром, когда прямые лучи к нам еще не дошли, либо вечером, когда они уже не могут к нам дойти. А поскольку эти преломленные лучи отправляются с более высокого места, чем лучи прямые, мы видим их скорее и теряем из виду позже, чем те. Поэтому я должен отречься от того,

что я вам сказал раньше, а именно будто Луна не может иметь зорь, поскольку она не окружена плотным воздухом, как Земля. Очевидно, она от этого ничего не теряет, зори будут у нее благодаря плотному воздуху, обволакивающему Солнце и посылающему лучи в те места Луны, куда прямые лучи не проникают.

— Но разве таким образом,— спросила маркиза,— не доказывается существование зорь и на всех других планетах? Ведь вовсе не нужно, чтобы каждая из них была окружена плотным слоем воздуха, ибо тот воздух, что окружает Солнце, один может произвести желательный эффект на всех планетах нашего вихря. Я охотно верю, что природа, согласно уже известному мне принципу экономии, сознательно прибегла к этому единственно возможному средству.

— Однако,— возразил я,— вопреки этой экономии существуют две причины зорь на нашей Земле, и одна из них — плотный воздух Солнца — здесь совершенно лишняя и являет собой лишь объект любознательности обсерваторий. Но надо сказать все: возможно, только Земля испускает вовне пары и испарения, достаточно густые, чтобы способствовать зорям, и у природы были все основания позаботиться о нуждах других планет, пустив в ход общее для всех них средство: ведь они, так сказать, чище нашей Земли, и их испарения более деликатны. Быть может, мы из всех обитателей миров нашего вихря единственные, кому для дыхания надо было дать более грубый и плотный воздух. С каким презрением смотрели бы на нас обитатели других планет, если бы они это знали!

— И были бы они тогда глупцами,— сказала маркиза.— Разве можно кого-нибудь порицать за то, что он окружен плотным воздухом, если само Солнце окружено таким же? Скажите мне, прошу вас, разве этот воздух не образуется из определенного рода паров, как вы упомянули раньше, исходящих от Солнца, и не служит ли он для того, чтобы препятствовать первому натиску лучей, возможно непомерно жарких? Я понимаю это таким образом: Солнце могло естественно прикрыть себя покрывалом, чтобы быть лучше приспособленным к нашим нуждам.

— Вот, мадам,— сказал я,— и небольшое начало системы, довольно удачно вами придуманной. К этому можно добавить: солнечные испарения образуют нечто вроде дождей, выпадающих обратно на Солнце для его освежения, подобно тому как иногда льют воду в чересчур раскаленный кузнечный горн. Можно всего ожидать от искусства природы. Но она владеет и другого рода искусством, совершенно особым, направленным на то, чтобы от нас ускользать. И не нужно себя легкомысленно уверять, будто мы отгадали ее образ действий или ее намерения. В свете новых открытий не надо спешить с выводами, хотя всегда и возникает такое желание. Истинные философы подобны слонам, которые, передвигаясь, никогда не опускают на землю вторую ногу, пока первая там себя не почувствует прочно.

— Сравнение кажется мне тем более справедливым,— прервала меня она,— что достоинство обоих этих видов существ — слонов и философов — зависит вовсе не от их внешнего обаяния. Я согласна подражать суждениям как тех, так и других. Расскажите мне, пожалуйста, еще о последних открытиях, и я обещаю вам не создавать впредь таких опрометчивых систем.

— Я только что вам сообщил,— отвечал я,— все небесные новости, какие мне только известны, и думаю, что более свежих новостей не существует. Я очень огорчен, если они не так поразительны и чудесны, как некоторые наблюдения, о которых я прочел на днях в краткой летописи китайской истории⁹, написанной полатыни. В Китае наблюдают тысячи звезд, одновременно падающих с неба в море с превеликим треском; существуют и такие, что разрушаются совсем и превращаются в звездный дождь. Это не однажды там наблюдали. Я встречал два описания такого рода наблюдений, сделанные в самое различное время, не говоря уже о восточной звезде, которая движется со взрывом, наподобие ракеты, в направлении к Востоку, причем всегда со страшным шумом. Обидно, что подобные зрелища предназначаются только для Китая и наша страна никогда не принимала в них участия. Еще совсем недавно все наши философы считали доказанным на опыте, что небо и все небесные тела неразрушимы и не подвержены переменам. А в то же самое время другие

люди на другом конце Земли видели, как звезды расщепляются на тысячи кусков. Огромное расхождение!

— Но, — сказала она, — не слыхала ли я постоянно, что китайцы — великие астрономы?

— Это верно, — отвечал я. — Но китайцы обладают тем преимуществом, что они отдалены от нас большим пространством Земли, точно так же как греки и римляне обладают преимуществом быть отдаленными от нас длинным рядом веков. А любая отдаленность обманчива. В самом деле, я все больше и больше верю, что существует некий гений, никогда не бывавший за пределами нашей Европы или живущий по крайней мере где-то неподалеку. Быть может, ему не дано сразу распространиться по большому пространству Земли, и это ограничение предписано ему неким роком. Давайте наслаждаться им сейчас, пока мы им владеем. Самое лучшее в нем то, что он не замыкается в тесном кругу наук и сухих умозрений; он охватывает с равным успехом все приятные вещи — и в этом не может сравниться с нами ни один народ. Именно этими вещами, мадам, вам следует заниматься, и именно они должны составлять всю вашу философию.

Отступление по поводу древних и новых

Весь вопрос о превосходстве древних над новыми или новых над древними, возникший однажды, сводится к тому, чтобы понять, выше ли были деревья, некогда росшие в сельских местностях, чем деревья нашего времени¹. Если они действительно были выше, то Гомер, Платон и Демосфен не могут найти себе равных в новейшее время; но если наши деревья столь же высоки, как тогдашние, мы можем смело сравнивать себя с Гомером, Платоном и Демосфеном.

Поясним этот парадокс. Если древние были более умны, чем мы, то потому что мозги в те времена были лучше устроены, состояли из более крепких или более нежных волокон и содержали больше жизненных духов². Однако почему бы тогдашним мозгам быть устро-

енным лучше? Ведь в этом случае и деревья старых времен должны были бы быть выше и прекраснее; ибо если природа была тогда более молодой и цветущей, то деревья точно так же, как человеческие мозги, должны были ощущать эту молодость и цветение.

Но пусть поклонники древних немного поостерегутся: когда они нам твердят, что древние были источником хорошего вкуса и разума, а также светочем, несущим просвещение всем другим людям, что наш разум зависит от того, насколько мы ими восхищаемся, что природа истощилась, создавая эти великие образцы, они в самом деле рисуют их каким-то отличным от нас родом существ, и физика протестует против всех этих великолепных изречений. Природа замешивает всегда одно и то же определенное тесто, которое она лепит то так, то эдак, на тысячи разных ладов, и создает таким образом людей, животных и растения. И уж, конечно, она не сделала Платона, Демосфена и Гомера из более высококачественной и лучше приготовленной глины, чем философов, пророков и поэтов нашего времени. Я рассматриваю здесь только связь наших умов, имеющих нематериальную природу, с мозгом, природа которого материальна и который благодаря своему различному устройству у разных людей дает все существующие между умами этих людей различия.

Но если деревья всех времен (так сказать, в вертикальном разрезе) одинаково высоки, то деревья всех стран (разрез горизонтальный) неодинаковы. Таково различие и между умами. Разные идеи подобны растениям или цветам, растущим совсем не одинаково хорошо в различного рода климатах³. Возможно, почва нашей Франции так же не годится для рассуждений, обычных в Египте, как и для их пальм, и даже, не ходя столь далеко, можно считать, что апельсиновые деревья, не произрастающие здесь, у нас, с такой легкостью, как в Италии, указывают на особый склад итальянского ума, не имеющий ничего подобного во Франции. Безусловно достоверно следующее: благодаря взаимным связям и зависимости, существующей между всеми частями материального мира, различия в климате, явно ощутимые для растений, должны оказывать определенное влияние на все, вплоть до мозга.

Однако влияние климата на мозг менее сильно и ошутимо, ибо искусство и культура имеют гораздо большее значение для мозга, чем для земли, представляющей собою более грубую и менее поддающуюся обработке материю. Итак, мысли легче переносятся из одной страны в другую, чем растения, и нам не столь трудно было бы воспринять в свои творения итальянский гений, сколь культивировать у нас апельсины. Мне кажется, обычно считают, что существует больше различий между умами, чем между лицами. Я в этом совсем не уверен. Лица, рассматривая друг друга, не приобретают от этого нового сходства, в то время как умы от взаимного общения становятся сходными. Таким образом, умы, от природы различные, как и лица, позднее такого различия уже не имеют. Легкость, с которой умы до определенного предела преобразуют друг друга, приводит к тому, что народы не сохраняют полностью оригинальный ум, полученный ими от их собственных климатических условий. Чтение греческих книг воздействует на нас в той же мере, как если бы мы женились только на гречанках. Известно, что благодаря весьма частым союзам такого рода кровь как французов, так и греков подверглась изменениям и изменился также внешний облик, присущий тому и другому народу.

Небольшая разница двух соседствующих народов, обусловленная различием климатов, может очень легко стираться под влиянием общности духа, образующейся путем взаимного книгообмена; что касается двух народов, друг от друга более удаленных, то общность эта не может пойти там столь далеко. Все говорит о том, что негры и лапоны, читая греческие книги, почти не приобщились к духу греков. Лично я склонен считать, что жаркий пояс и обе зоны льда не приспособлены для усвоения наук⁴. До сих пор знания не перешагнули границ Египта и Мавритании, с одной стороны, и Швеции — с другой. Быть может, это не случайно, что они задержались между Атласскими горами и Балтийским морем? Трудно сказать, возможно, это и есть географические границы, положенные им природой, и мы вряд ли можем надеяться когда-либо увидеть великих негритянских или лапонских⁵ авторов.

Как бы то ни было, таким образом, кажется мне, великий вопрос о древних и новых исчерпан. Века не пролагают никакой естественной грани между людьми, а климат Греции и Италии, с одной стороны, и Франции — с другой, слишком близки друг к другу, чтобы создать какое-либо различие между греками или римлянами и нами; если бы он и вызвал какие-то различия, то их было бы очень легко устранить. Итак, мы все ничем друг от друга не отличаемся — древние и новые, греки, римляне и французы.

Я совершенно не утверждаю, что это рассуждение должно всему миру показаться столь же убедительным, каким оно кажется мне. Если бы я пользовался патетическими оборотами речи, если бы противопоставлял исторические черты, служащие к вящей славе моих современников, историческим чертам, почетным для древних, и отрывки, выставляющие в благоприятном свете одних, отрывкам, выгодно рисуящим других; если бы я назвал пристрастных ученых, считающих нас невеждами и поверхностными людьми, и, согласно установившемуся среди людей пера закону, посылал бы оскорбление за оскорблением в адрес сторонников античности, — быть может, мои доводы были бы приняты лучше. Но я решил, что браться за этот вопрос таким образом — значит никогда не прийти к концу: ведь после множества великолепных декламационных выступлений как одной, так и другой стороны обычно с удивлением отмечают, что дело ничуть не продвинулось вперед. Я верю в то, что наиболее короткий путь — это обратиться за небольшим советом по поводу всего этого к физике, владеющей секретом сокращать словопрения, которые риторика делает нескончаемыми.

В данном случае здесь, после того как мы признали естественное равенство, существующее между древними и нами, не остается более никаких затруднений. Мы ясно видим, что все различия, какого бы рода они ни были, непременно вызываются посторонними обстоятельствами, такими, как эпоха, система правления, состояние общества.

«Древние изобрели решительно все!» — вот пункт, по которому особенно торжествуют приверженцы древних. Итак, они были значительно одареннее нас? Вовсе нет!

Но они — наши предшественники. Тогда уж надо, чтобы их превозносили за то, что они первыми пили воду из наших рек, а нас обвиняли бы в том, что мы допиваем их остатки. Если бы мы оказались на их месте, первыми изобретателями стали бы мы; если бы, наоборот, они оказались на нашем месте, они добавили бы свой труд к тому, что было изобретено уже до них. Во всем этом нет ничего таинственного.

Я не говорю здесь об изобретениях, обязанных своим рождением случаю, честь которых может быть приписана, если угодно, самому неумелому человеку в мире. Я говорю лишь об изобретениях, потребовавших некоторых размышлений и умственных усилий. Известно, что даже самые простые из них были предназначены для выдающихся умов; все, что мог сделать Архимед на заре человечества,— это изобрести плуг; Архимед, перенесенный в иную эпоху, сжигает римские суда с помощью зеркал—если только это не миф^{5а}.

Тот, кто захотел бы высказать положительные и блестящие мысли, мог бы подкрепить славу наших современников, сказав, что для первых изобретений не требуется большого умственного напряжения, так как природа нас сама к ним подводит, зато требуется очень много усилий, дабы к этим первым изобретениям что-то добавить — тем больше усилий, чем больше к этим изобретениям уже добавлено: ведь те, кто бы за это взялся, нашли бы вопрос достаточно исчерпанным, а то, что осталось еще открыть,— значительно менее наглядным, чем то, что уже было открыто. Возможно, почитатели древних не пренебрегут таким добротным рассуждением, если оно будет лить воду на их мельницу; но я чистосердечно признаюсь, что рассуждение это не очень основательно.

Верно, что для того, чтобы добавить что-либо к первым изобретениям, часто требуется больше умственных усилий, чем для того, чтобы их сделать; но в то же время путь к этим добавлениям очень облегчен. Ведь разум тогда просвещен теми открытиями, которые уже налицо; мы имеем взгляды, заимствованные от прошлых времен, добавляющиеся к тем, которыми мы располагаем из собственных источников, и если мы опережаем первого изобретателя, то это именно он помог нам его

опередить. Итак, у него всегда есть доля в наших достижениях и славе, и, если бы он забрал то, что ему принадлежит, на нашу долю осталось бы не больше, чем на его.

Я простираю свое беспристрастие по этому пункту столь далеко, что принимаю при этом в расчет бесчисленные ошибочные взгляды, слабые рассуждения, глупые высказывания древних. Условия, в которых мы находимся, таковы, что нам совсем не дано придти сразу к чему-то разумному, какого бы вопроса это ни касалось; нужно, чтобы мы до этого долго блуждали, прошли через всевозможного рода ошибки, через различные ступени самонадеянности. Казалось бы, всегда было легко догадаться, что вся загадка природы состоит в различном расположении фигур и в движении тел, однако раньше, чем придти к этому, надо было пройти через идеи Платона, числа Пифагора, качества Аристотеля⁶ и, признав все это ложным, дойти до создания истинной системы. Я говорю «дойти до создания истинной системы», потому что нам действительно не оставалось никакой иной, и, как кажется, принятию этой системы противились столь долго, сколько только могли. Мы обязаны древним тем, что они исчерпали до нас большую часть ложных идей, которые могли бы у нас возникнуть. Несомненно, нужно было заплатить дань невежеству и ошибкам, и мы не имеем права пренебрегать признательностью по отношению к тем, кто расквитался за нас с этим долгом. Это относится к самым различным вопросам, по которым мы могли бы высказать бог весть сколько глупостей, если бы они не были сказаны еще до нас и если бы их у нас, так сказать, не похитили. Впрочем, кое-когда бывает, что мои современники возвращаются к этим глупостям, быть может, потому, что они не были пока еще заклеены по достоинству. Итак, нет ничего удивительного в том, что мы, просвещенные мнениями древних и даже самими их ошибками, их превосходим. Для того чтобы всего лишь сравняться с ними, надо было бы, чтобы мы были людьми значительно более низкой породы или даже вообще не были людьми в том смысле, в каком они.

Однако если наши современники хотят всегда быть впереди древних, надо, чтобы объективное положение

вещей это допускало. Красноречие и поэзия требуют только определенного, достаточно ограниченного количества мнений и зависят главным образом от живости воображения. Что ж, люди способны за несколько веков собрать небольшое число мнений, а живое воображение не нуждается ни в длительном опыте, ни в большом количестве правил для достижения всего того совершенства, на какое оно способно. Но физика, медицина, математика состоят из необозримого числа мнений и зависят от справедливости суждения, совершенствующегося крайне медленно, причем процесс этот вечен. Кроме того, часто необходимо, чтобы суждения были подтверждены опытом, который зависит исключительно от случая, далеко не всегда ведущего к намеченной цели. Совершенно очевидно, что все это носит бесконечный характер, и последние физики или математики, естественно, должны быть самыми искусными.

Действительно, то, что является главнейшим в философии и от нее распространяется решительно на все — я разумею метод рассуждения, — в высшей степени усовершенствовалось в наш век. Правда, я сильно сомневаюсь в том, что большинство людей согласятся с замечанием, которое я собираюсь сделать; однако я его все же сделаю для тех, кто разбирается в рассуждениях, и могу похвастаться, что нужна определенная смелость для того, чтобы в интересах истины подвергнуть себя критике всех остальных, число которых вовсе не столь незначительно.

По поводу целого ряда вопросов древние не расположены к рассуждениям, которые были бы до конца совершенны. Многие у них неправдоподобно, уподобления их слабы, остроумие легковесно, пространные и путанные рассуждения выдаются за доказательства; таким образом, доказать что-либо им ничего не стоит. Но то, что какой-нибудь древний муж доказывал шутя и играя, доставляет теперь много хлопот несчастным моим современникам, ибо с какими только суровыми требованиями не подходят теперь к рассуждениям! Хотят, чтобы они были понятны, справедливы, увенчивались бы выводами. Хватает злокозненности на то, чтобы выявлять малейшую двусмысленность — в содержании или в способе выражения. Хватает жестокости

осуждать самое талантливое рассуждение, если оно не основывается на фактах. До г-на Декарта рассуждали с большим комфортом; минувшим векам повезло — у них не было этого человека. Именно он — по крайней мере мне так кажется — ввел этот новый метод рассуждений⁷, гораздо более почтенный, чем сама его философия, добрая часть которой обнаружила свою ложность или хотя бы большую недостоверность — в соответствии с его собственными, преподанными нам, правилами. В результате он царит не только в наших прекрасных трудах по физике и метафизике, но и в сочинениях по религии и морали, а также в критических работах, со своей точностью и справедливостью суждений, до сих пор неслыханными.

Я совершенно убежден, что пойдут еще дальше в этой определенности и справедливости суждений. В наших лучших книгах уже не проскальзывают рассуждения в античном духе, но ведь когда-нибудь мы сами станем античностью, и разве не справедливо будет, если наши потомки в свою очередь нас поправят и нас превзойдут, особенно в способе рассуждения — своеобразной науке, наиболее трудной и менее всех других работанной?

Что касается красноречия и поэзии, являющихся главным предметом спора между древними и новыми, хотя сами по себе эти искусства и не столь значительны, то я считаю, что древние могли достичь в них совершенства, ибо, как я уже сказал, совершенства можно достичь за сравнительно небольшое число веков, хотя я не знаю точно, сколько именно веков для этого требуется. Я утверждаю, что греки и римляне могли быть превосходными поэтами и ораторами, но были ли они ими на самом деле? Для того чтобы яснее обрисовать этот момент, надо было бы втянуться в нескончаемую дискуссию, которая, как бы ни была она справедлива и безупречна, никогда не удовлетворила бы приверженцев античности. Есть ли средство вести с ними обсуждение? Они твердо решили все прощать своим древним. Но что я говорю — «все прощать»? Всему в них восхищаться — так будет вернее. Именно и особенно в этом заключается талант комментаторов, самых суеверных людей из тех, кто является служителями культа антич-

ности. И какие красавицы не считали бы себя счастливыми оттого, что внушают своим возлюбленным столь же живую и нежную страсть, какую некий грек или римлянин внушает своим почтительным толкователям?

Впрочем, я сейчас выскажусь несколько точнее относительно красноречия и поэзии древних. Не то чтобы я не понимал достаточно всей опасности, грозящей тому, кто откровенно выступит по этому вопросу; но мне кажется, что отсутствие большого авторитета и недостаток внимания к моим мнениям позволяют мне свободно говорить все, что я пожелаю. Я нахожу, что красноречие шагнуло у древних дальше, чем поэзия, и Демосфен и Цицерон более совершенны в своем жанре, чем Гомер и Вергилий — в своем. Для этого я усматриваю вполне естественную причину: красноречие управляло всем в греческих демократиях и Римской республике, и в те времена было так же важно родиться с талантом оратора, как теперь — с миллионом ренты. Поэзия, наоборот, была совсем ни к чему: положение было всегда таким, при любых правительствах. Это — очень существенный порок поэзии. Кроме того, мне кажется, что в красноречии и поэзии греки уступали римлянам. Я исключаю здесь лишь один вид поэзии, в котором римлянам нечего противопоставить грекам: легко понять, что я говорю о трагедии⁸. Согласно моему личному вкусу, Цицерон превосходит Демосфена, Вергилий — Феокрита и Гомера, Гораций — Пиндара, а Тит Ливий — всех греческих историков без исключения.

В соответствии с нашей установленной выше системой порядок этот вполне естествен: римляне были новыми по отношению к грекам; и, поскольку красноречие и поэзия достаточно ограничены в своих средствах, должно было пройти время, в течение которого они могли бы быть доведены до высшего совершенства. Для красноречия и истории, считаю я, временем этим была эпоха Августа. Я не представляю себе ничего выше Цицерона и Тита Ливия. Это не значит, что у них нет никаких погрешностей, но я не верю, будто можно иметь меньше погрешностей при столь великих достоинствах, а ведь известно, что только таким образом можно определить совершенство человека в каком-либо искусстве.

Самые лучшие стихи в мире у Вергилия; возможно, этому способствовало то, что он обладал досугом, чтобы их переделывать. В «Энеиде» есть большие отрывки совершенной красоты; не думаю, чтобы когда-нибудь можно было эту красоту превзойти. Что же до композиции поэмы в целом, манеры вводить события, умения подготавливать приятные неожиданности, благородства характеров, разнообразия происшествий, то я вовсе не буду удивлен, если в этом его превзойдут, и наши романы — настоящие поэмы в прозе — уже показали здесь свои возможности.

Я не намерен входить в критические подробности. Я хочу только здесь показать, что поскольку древние сумели в определенных вещах достичь высшего совершенства, а в других — не сумели, то надо, исследуя, достигли ли они этого совершенства, оставить всякое почтение к их великим именам, всякую снисходительность к их ошибкам — одним словом, надо рассматривать их как наших современников. Надо иметь смелость сказать без всякой скидки, что есть известная самонадеянность у Гомера и Пиндара, надо иметь мужество признать, что смертные очи могут разглядеть погрешности в творениях этих великих гениев, надо уметь спокойно переварить, что Демосфена и Цицерона сравнивают с человеком, носящим французское имя, и, быть может, имя совсем невысокого толка: большое, колоссальное усилие разума!

По этому поводу не могу сдержатъ себя и не посмеяться над людскими странностями. Предрассудок на предрассудке — но ведь разумнее было бы питать предрассудки в пользу наших современников, чем в пользу древних! Современники — это новые, и, естественно, они должны цениться выше древних; такое предубеждение в их пользу имело бы под собой основание. А какие могут быть основания для предубеждения, питаемого в пользу древних? Их имена, звучащие лучше для наших ушей потому, что они греческие или латинские; их репутация первых людей своего века; огромное число их поклонников — ведь для роста этого числа было в течение длинного ряда веков довольно досуга. Гораздо лучше, если бы мы были настроены в пользу новых; но люди, не довольствуясь тем, что они теряют

разум и отдаются во власть предрассудков, иногда стремятся выбрать из этих предрассудков самые нелепые.

Найдя, что древние в некоторых областях достигли предела совершенства, давайте удовлетворимся, сказав, что они не могут быть превзойдены; но не будем говорить, что с ними нельзя сравняться — а ведь это наиболее обычный способ выражения их поклонников. И почему мы не можем с ними сравняться?! Как люди, мы всегда имеем право на это претендовать. Не забавно ли, что возникает необходимость подбадривать себя в этом отношении, и мы, которые часто питаем непостижимое тщеславие, в то же время иногда бываем обуреваемы скромностью — той, что паче гордости? В самом деле, видно, нам суждено не быть обойденными ни единой смешной чертой.

Без сомнения, природа отлично помнит, как она создавала головы Цицерона и Тита Ливия. В любой из веков она порождает людей, способных стать великими, но не всегда время позволяет им реализовать свои таланты⁹. Нашествия варваров, правительства, либо абсолютно противодействующие, либо мало благоприятствующие развитию наук и искусств, предрассудки и фантазии, принимающие бесконечно разнообразные формы, например почитание трупов в Китае, препятствующее каким бы то ни было анатомическим опытам, всеобщие войны — все это способствует (и на долгое время!) воцарению невежества и дурного вкуса. Добавьте к этому огромное разнообразие частных судеб, и вы увидите, как сплошь и рядом природа впустую посылает в мир Вергилиев и Цицеронов и как редко некоторые из них приходят к благой цели. Говорят, что небо, порождая великих государей, одновременно порождает и великих поэтов, назначение которых — их воспевать, и выдающихся историков, чтобы описывать их свершения. В самом деле, достоверно, что в любые времена историки и поэты всегда налицо, и государям остается только соизволить дать им работу.

Варварские времена, следовавшие за веком Августа¹⁰ и предшествовавшие нам, снабжают приверженцев античности тем из их рассуждений, которое выглядит наиболее верным. Какая причина тому, спраши-

вают они, что в эти века невежество было столь глубоко и непроходимо? Ведь в те времена уже не знают ни греческих, ни латинских авторов, их больше не читают. Однако в тот момент, когда снова взяли в руки эти великолепные образцы, разум и вкус возродились. Это верно, но в то же время это ровным счетом ничего не доказывает. Если бы человек, обладающий хорошими начатками знаний и литературным вкусом, внезапно заболел и болезнь отняла бы у него память обо всем этом, можно ли было бы сказать, что он стал ко всему этому не способен? Нет, он сможет восстановить у себя эти знания, когда пожелает, снова начав с азов. Если какое-нибудь лекарство внезапно вернет ему память, это сэкономит ему усилия, он снова почувствует себя знающим все то, что он знал прежде, и, чтобы развивать свои знания дальше, он должен будет всего лишь вернуться к тому, на чем он раньше остановился. Чтение античных авторов рассеяло невежество и варварство предшествующих веков. Это я отлично понимаю. Оно неожиданно дало нам представление об истинном и прекрасном, которое мы в противном случае восстанавливали бы в течение многих лет, но которое тем не менее восстановили бы в конце концов без помощи греков и римлян, если бы сильно к тому стремились. И где бы мы его почерпнули? Там же, где древние. Сами древние, раньше чем получить это представление, долго топтались на месте, разыскивая его на ощупь.

Сравнение, которое мы хотим сейчас сделать между людьми всех времен и одним-единственным человеком¹¹, может быть распространено на всю эту проблему древних и новых. Хорошо развитый ум, если можно так сказать, складывается из всех умов предшествующих веков: его можно считать одним и тем же умом, воспитывающимся на протяжении всего этого времени. Итак, человек этот, живший от начала мира до наших времен, имел свое детство, в течение которого он был занят только самыми насущными своими нуждами, и свою юность, во время которой он достаточно хорошо преуспел в области воображения, то есть в поэзии и красноречии, и даже начал понемногу рассуждать, хотя и не очень солидно, но с жаром. Сейчас он находится в поре возмужалости, когда он рассуж-

дает сильнее и просвещен больше, чем в прежние времена, но он продвинулся бы гораздо дальше, если бы его так долго не занимала неудержимая страсть к войне, научившая его презирать науки, к которым он, однако, в конце концов обратился вновь.

Очень досадно не иметь возможности довести до конца хорошо начатое сравнение. Но я вынужден признать, что наш человек совсем лишен старости: он всегда одинаково будет способен на то, что ему было доступно в юности; мало того, он все больше будет становиться способен к тому, что подобает возрасту возмужалости. Иначе говоря — мы оставим в стороне аллегория, — люди никогда не вырождаются, и здоровые взгляды людей светлого ума будут, следуя друг за другом во времени, объединяться и взаимно друг друга поддерживать.

Это непрерывно растущее скопление взглядов, которым надлежит следовать, и правил, которые следует выполнять, постоянно увеличивает также трудности любого рода наук и искусств, однако, с другой стороны, возникают, как бы в возмещение за эти трудности, и новые облегчающие обстоятельства. Но я лучше объяснюсь с помощью примеров: во времена Гомера считалось великим чудом, если человек умел подчинить свою речь стихотворному размеру, долгим и кратким слогам, добиваясь одновременно какого-то разумного содержания. Поэты пользовались неограниченной свободой, и люди считали себя очень счастливыми, если получали от них взамен стихи. Гомер мог в одном стихе одновременно употребить пять различных наречий: например, ввести доризм там, где его не устраивал ионизм, или, за неудобством того и другого, перейти к аттическому диалекту, к эолийскому либо к общему, а это все равно что сразу говорить на пикардийском, гасконском, нормандском, бретонском и общепольском языках. Он мог растянуть слово, если оно было очень коротким, укоротить его, если оно было слишком длинным, — никто бы и пикнуть не посмел в возражение. Это причудливое смешение языков, это странное сочетание искаженных слов считалось языком богов, по крайней мере было совершенно ясно, что это не язык людей.

Постепенно пришли к пониманию смехотворности этих вольностей, дозволенных поэтам. Они были одна за другой у них отняты, и в настоящее время поэты, лишенные своих древних привилегий, вынуждены говорить естественным языком. Казалось бы, это ремесло сильно пострадало и создавать стихи стало намного труднее. Но нет: ведь наши умы обогащены несчетным числом поэтических идей, переданных нам древними и всегда находящихся у нас перед глазами; мы руководствуемся огромным количеством правил и размышлений, уже сделанных до нас по поводу поэтического искусства; и, поскольку всех этих вспомогательных средств недоставало Гомеру, в компенсацию за это он справедливо пользовался всеми дозволенными ему вольностями. Правда, честно говоря, я думаю, что его положение было значительно лучше нашего: ведь все эти компенсации не очень-то определены...

Математика, физика — это науки, ярмо которых становится для ученых все более тяжким: в конце концов следовало бы отступить, но в то же время сильно умножается количество методов. Тот же ум, что совершенствует знания, добавляя все новые точки зрения, совершенствует и способ их восприятия, вводя всевозможные упрощения, и снабжает нас новыми средствами, помогающими охватить новый объем наук. Ученый нашего времени содержит в себе десять ученых времен Августа, но у него также в десять раз больше возможностей стать ученым.

Я охотно представляю себе природу в образе Правосудия с весами в руках — знаком того, что она взвешивает и уравнивает почти все, что ею уделено людям, — счастье, таланты, преимущества и недостатки всевозможных положений, а также трудности и легкости в области духа. В силу этого уравнивания мы хотим надеяться, что нас будут в высшей степени чтить в будущие столетия, как бы в уплату за унижение, которое мы испытываем в наш век. Будут стараться усмотреть в наших трудах красоты, о которых мы никогда и не думали; нетерпимая погрешность, в которой сейчас сознался бы сам автор, найдет смелых и непоколебимых защитников, и один бог знает, с каким презрением будут третировать в сравнении с нами образо-

ванных людей того времени (быть может, это будут американцы). Таким образом, один и тот же предрас-судок унижает нас в одни времена и возносит в другие; сначала мы жертвы, потом — божества. Игра эта забавна лишь для равнодушного наблюдателя.

Я могу завести мое пророчество еще дальше. Было время, когда римляне считались людьми новыми, и они жаловались тогда на пристрастие, питаемое всеми к грекам, считавшимся древними. С нашей точки зрения, различие времени между теми и другими уже исчезло — в силу большой временной дистанции. Все они для нас — древние, и мы, ничтоже сумняшеся, обычно отдаем римлянам предпочтение перед греками, ибо, с нашей точки зрения, когда речь идет о древних и древних, неважно, если за одними из них будет признано превосходство. Но вот если бы сравнение делалось между древними и новыми, признание превосходства этих последних внесло бы большую сумятицу. Нужно иметь терпение: в длинном ряду веков мы в конце концов станем современниками греков и римлян; и легко предвидеть, что нас без особой щепетильности во многом сильно превознесут над ними. Лучшие произведения Еврипида, Софокла, Аристофана не смогут выдержать соперничества с «Цинной», «Арианой», «Андромахой», «Мизантропом»¹² и большим числом других трагедий и комедий блестящей эпохи. Правда, надо честно признать, что вот уже около десяти лет, как это блестящее время ушло в небытие. Не думаю, чтобы «Феагена и Хариклею», «Клитопонта и Левкиппу» когда-нибудь смогли сравнить с «Киром», «Астреей», «Зайдой» и «Принцессой Клевской»¹³. Существуют такие новые жанры литературы, как галантные письма, новеллы, оперы, каждый из которых дал нам выдающихся авторов и которым античности нечего противопоставить; потомками они, по-видимому, также не будут превзойдены. Разве песни — жанр, который, может быть, и отомрет, ибо ему не уделяют много внимания, — не имеются у нас в огромном количестве? Я утверждаю, что, если бы Анакреонт знал наши песни, он пел бы их чаще, чем свои собственные. Мы знаем из «Искусства поэзии»¹⁴ и других сочинений того же автора, что творчество в наше время несет на себе печать благородства,

сходного с древним, но оно более правдиво и точно. Я заранее решил избегать подробностей и больше не стану выставлять напоказ наши богатства, но я убежден, что мы напоминаем вельмож, не удостоивающих составить точный реестр своих сокровищ, и потому часть этих сокровищ остается им неизвестной. Если бы у великих людей нашего века было сострадание к последующим поколениям, они предупредили бы своих потомков, чтобы они не слишком их чтили и всегда стремились бы по крайней мере с ними сравняться. Ничто так сильно не задерживает прогресс, ничто так страшно не ограничивает умы, как излишнее поклонение древности. Поскольку последующие поколения посвятили себя культу Аристотеля¹⁵ и искали истину исключительно в его загадочных писаниях, а ни в коем случае не в природе, то не только философия не получала никакого развития, но, более того, она погрязла в трясине галиматрии и непостижимых идей, вытянуть ее из которой стоило миру глобальных усилий. Аристотель никогда не был истинным философом, но он подавил многих тех, кто стали бы истинными философами, если бы им это было дозволено. Беда в том, что если такого рода фантазии однажды получают право на существование среди людей, то это надолго; пока умы освобождаются от них, проходят века, даже после того как все признают их смехотворность. Впрочем, решительно надо сказать: нет никакой уверенности, что наши потомки так же засчитают нам в заслугу две или три тысячи лет, которые когда-нибудь будут отделять их от нас, как мы считаем это ныне заслугой греков и римлян. Есть все основания полагать, что разум с течением веков усовершенствуется, и тогда полностью рассеется грубый предрассудок в отношении античности. Быть может, ждать этого осталось недолго; быть может, почитание древних в наше время — это чистый убыток, и мы сами никогда не заслужим подобного почета. Это было бы немножко досадно.

Если после всего, что я здесь сказал, мне не простят нападок на древних в «Рассуждении об эклоге»¹⁶, значит, это было преступление, которому нет пощады. Больше на эту тему я говорить не буду. Добавлю только, что если я задел минувшие века своей критикой

древних эклог, то я очень боюсь не угодить нынешнему веку своими эклогами. Кроме погрешностей, которыми они изобилуют, они изображают всегда любовь — нежную, утонченную, усердную, верную до суеверия, а ведь, согласно всему тому, что я слышал, наш век плохо подходит для воспевания столь совершенной любви.

О происхождении мифов

В детстве нас столь основательно приучают к греческим мифам, что в пору зрелых рассуждений мы не находим их больше поразительными, как они того на самом деле заслуживают. Но лишь только мы отрешимся от привычного взгляда на вещи, как не можем не ужаснуться тому, что история целого народа представляет собой всего лишь грудку химер, нелепостей и фантазий. Возможно ли, чтобы все это выдавалось за истину? Какой смысл был бы в том, чтобы преподносить нам это в качестве лжи? Наконец, что представляла собой эта приверженность людей к явной и смехотворной лжи и почему в дальнейшем она иссякла?

В самом деле, ведь греческие мифы ничуть не напоминают наши романы, авторы которых выдают их только за то, что они есть, но вовсе не за правдивые истории: в древности иной истории, кроме мифологической, не существовало. Уясним себе, если можно, этот вопрос и исследуем человеческий разум в одном из его самых странных проявлений: часто именно это — кратчайший путь к познанию нашего разума.

На заре человечества у народов, либо ничего не знавших о родовых традициях Сета, либо их не соблюдавших, варварство и невежество должны были быть столь велики¹, что мы теперь не можем себе этого даже представить. Вообразим себе кафров, лапонов или ирокезов²: при этом мы должны принять во внимание, что народы эти, пусть и довольно древние, достигли тем не менее определенного уровня развития знаний и утонченности, первобытным людям совершенно неведомого.

Чем более люди невежественны и чем меньше у них опыта, тем скорее им все представляется чудом. Первые люди были склонны усматривать чудеса почти что во всем; и, поскольку отцы обыкновенно рассказывают своим детям все виденное и совершенное, естественно, сказания эти были полны чудес.

Когда мы повествуем о чем-либо удивительном, воображение наше воспаляется и начинает самовольно преувеличивать качества объекта повествования либо добавлять к ним недостающие, с тем чтобы сделать этот объект совсем уж чудесным — так, как если бы рассказчику было жаль оставить нечто прекрасное несовершенным. Тем более, что ему приятно чувство удивления и восхищения, вызываемое им у слушателей; он стремится подогреть это чувство, ибо, думается мне, это ужасно льстит нашему тщеславию. Обе эти причины, действующие в одном направлении, приводят к тому, что человек, совсем не собиравшийся лгать, когда он приступал к рассказу, пусть и несколько необычному, может поймать себя — если он только будет внимательно следить за собою — на лжи. Отсюда необходимо определенное усилие и особое внимание для того, чтобы говорить чистую правду. Но во что же это превратится для тех, кто по самой своей природе любит привирать и внушать другим свои мысли?

Рассказы первобытных людей своим детям, часто лживые по самому своему существу, ибо они придумывались людьми, расположенными видеть многое из того, чего не существует на свете, и к тому же сильно преувеличивать — с честными ли намерениями, как мы только что это отметили, или ради обмана, — эти рассказы бывают, как очевидно, искажены в самых своих истоках. Но разумеется, они подвергаются еще большей порче при передаче из уст в уста. Любой из них теряет при этом какие-то правдивые черточки и, наоборот, приобретает ложные штрихи, последние главным образом за счет лживых чудес, таящих в себе особую привлекательность. И быть может, спустя одно столетие или два в них не останется не только ни капли истины, которая могла бы присутствовать там вначале, но даже и следа первоначальной лжи.

Поверят ли тому, что я сейчас собираюсь сказать? В эти грубые времена существовала даже своего рода философия, и она сильно способствовала рождению мифов. Люди несколько более одаренные, чем другие, естественно, стремились найти причину вещей и событий, происходивших у них на глазах. «В самом деле, откуда берет начало этот вечнотекущий поток?» — так должен был вопрошать самого себя созерцатель тех времен. Конечно, это своеобразный философ, но, быть может, он был Декартом своего века. После долгого размышления его озаряет счастливая мысль: существует некто постоянно занятый выливанием этой воды из какого-либо сосуда. Но кто же ему всегда ее доставляет? Наш созерцатель не заходит так далеко в своих размышлениях.

Надо иметь в виду, что идеи эти, которые можно назвать системами тех времен, всегда отражали наиболее известные вещи. Люди часто наблюдали, как выливают воду из кувшина: в связи с этим рождалось прочное представление о боге, изливающим из кувшина воду речного потока. Легкость, с которой рождалось подобное представление, способствовала безусловной вере в него. Так, чтобы понять причины грома и молний, люди охотно представляли себе бога в человеческом образе, поражающего нас огненными стрелами: совершенно очевидно, что идея эта была заимствована человеком от очень близких и знакомых ему объектов.

Философия ранних веков основывалась на столь естественном принципе, что даже наша современная философия не имеет иного. Иначе говоря, мы склонны объяснять неизвестные явления природы с помощью тех, что постоянно происходят у нас на глазах, и переносить в область природы идеи, поставляемые нам опытом. Мы на практике, а не путем догадки открыли, что такое сила тяжести, упругость и рычаги: мы можем пустить в ход природные силы лишь с помощью рычагов, гирь и пружин. Бедняги дикари, бывшие первыми обитателями Земли, либо совсем ничего об этом не знали, либо не обращали на это ровным счетом никакого внимания. Явления природы они объясняли лишь самым грубым образом, с помощью наиболее известных им осязаемых вещей. В самом деле, что делали все мы,

люди? Мы постоянно представляли себе неизвестное в образе того, с чем мы были знакомы; но, по счастью, есть все основания считать: неизвестное не может совсем уж быть непохожим на то, что нам в настоящее время известно.

От этой примитивной философии, несомненно господствовавшей в пору детства человечества, родились всевозможные боги и богини. Весьма любопытно наблюдать, как человеческое воображение порождает ложные божества. Люди отлично понимали, сколь много вещей сами они были не в состоянии сделать: они не могли метать молнии, поднимать ветры, волновать морские воды — все это было выше их власти. Тогда они вообразили себе существа более могущественные, чем они сами, обладающие властью вызывать все эти грандиозные явления. Конечно, существа эти должны были быть скроены по образу и подобию человека: в самом деле, могли ли они иметь какой-нибудь иной облик? А стою момента, как они получают облик человека, наше воображение начинает приписывать им все, что свойственно людям. И вот перед нами люди, со всеми их человеческими особенностями, разве только они всегда чуть-чуть могущественнее людей.

Отсюда — явление, быть может не ставшее до сих пор предметом особого рассмотрения: именно, в образах всех богов, изобретенных воображением язычников, преобладает идея силы и власти, и в них почти совершенно нет места ни мудрости, ни справедливости, ни всем прочим неотъемлемым атрибутам божественной природы. Не может быть лучшего доказательства глубокой древности всех этих божеств; ничто также не указывает точнее пути, проделанного нашим воображением, чтобы их создать. Первые люди не знали лучшего качества, чем телесная сила. В древнейших языках не было даже обозначения для понятий мудрости и справедливости, как это и посейчас действительно для варваров Американского континента. К тому же первая идея людей относительно верховного существа родилась при необычных обстоятельствах, а вовсе не благодаря созерцанию правильного порядка Вселенной, который первобытные люди не были в состоянии ни познать, ни оценить. Таким образом, они создали своих богов в те

времена, когда не могли уделить им ничего лучшего, чем могущество, почему они и представляли их себе наподобие всего того, чему свойственна была сила, а не того, чьим отличительным признаком была мудрость. Ничего удивительного нет в том, что они придумали множество богов, часто враждебных друг другу, жестоких, вздорных, несправедливых и невежественных. Все это ничуть не противоречит идее силы и власти — единственной, какую они в состоянии были усвоить.

Боги эти, несомненно, должны были сознавать, в какое время они были созданы и какие обстоятельства их породили. В самом деле, что за жалкая власть стала их достоянием! Марс, бог войны, был поражен в битве смертным: это сильно умаляет его божественность. Однако, спасаясь бегством, он издает вопль, который было бы под силу издать лишь десяти тысячам смертных одновременно. Именно с помощью столь страшного вопля он и одолевает Диомеда³. И этого, по мнению Гомера, было достаточно для спасения чести богов! При том способе, каким здесь рождается вымысел, воображение удовлетворяется малым и всегда признает божеством того, кто обладает несколько большей силой, чем человек.

Цицерон где-то сказал, что он предпочел бы, чтобы Гомер переносил качества богов на людей, чем, наоборот, качества людей — на богов. Однако Цицерон в данном случае слишком требователен: то, что он в свое время считал качествами богов, было неведомо временам Гомера. Язычники всегда творили своих богов по собственному своему образу и подобию. По мере того как люди становились более совершенными, такими же становились и их боги. Древнейшие люди были очень грубы и неотесанны и больше всего почитали силу; значит, и боги должны были быть почти столь же неотесанными и лишь чуть-чуть более сильными. Таковы были времена Гомера.

Впоследствии люди начинают обретать идеи мудрости и справедливости; боги на этом выигрывают: они становятся все более мудрыми и справедливыми, по мере того как идеи мудрости и справедливости совершенствуются среди людей. И вот перед нами боги времен Цицерона, и они куда более значительны, чем боги

времен Гомера, ибо гораздо более сильные философы приложили к этому свою руку. Таким образом, древнейшие люди положили начало мифам, будучи при этом, так сказать, без вины виноватыми. Люди эти были невежественны и потому усматривали в природе много чудес. О вещах, поразивших их воображение, они, естественно, повествуют с преувеличениями; переходя от одного человека к другому, такие рассказы обрастают всевозможными вымыслами. При этом создается своего рода философская система, весьма примитивная и нелепая, однако иная система и не могла тогда появиться. Ниже мы увидим, что при подобных исходных данных люди определенным образом получали удовольствие от этого самообмана.

То, что мы называем философией ранних столетий, безусловно, могло быть связано с историей фактов. Например, молодой человек падает в реку, и тело его не могут найти. Что же произошло? Первобытная философия утверждает, что река населена молодыми девушками, которые в ней царят; и конечно же, девушки эти увлекли на дно молодого человека: что может быть более естественным? Чтобы поверить этому, нет даже нужды в доказательствах. Или человек, о происхождении которого ничего не известно, обладает каким-то особым талантом: но ведь только боги имеют качества, близкие к человеческим; поэтому никто не дает себе труда раньше узнать, кто его родители: он, несомненно, сын одного из этих богов.

Если рассмотреть внимательно большую часть этих мифов, можно обнаружить, что они представляют собой всего лишь смесь фактов с современной им философией. Философия эта очень удобно разъясняет все, что есть в этих фактах чудесного, причем чудесное это как будто весьма естественно согласуется с фактами. Речь идет именно о богах и богинях, которые очень на нас похожи, надлежащим образом подобраны и выведены вместе с людьми на арену жизни.

Поскольку повествования о действительных фактах, смешанные со всевозможными вымыслами, имели большой успех, получили широкое распространение вымышленные истории, в основе которых не лежало уже

ни одного правдоподобного факта, или по крайней мере прекратили свое существование рассказы о каком-либо замечательном факте, если они не были снабжены всевозможными прикрасами, признанными приятными и доставляющими удовольствие. Прикрасы эти были лживыми; впрочем, иногда их и не старались выдать за правду; и, однако, все эти истории вовсе не считались сказками. То, что мы сейчас изложили, станет понятным из сравнения нашей современной истории с древней.

Во времена, которым свойственно более высокое развитие разума,— в век Августа и в наше столетие — было принято рассуждать о действиях людей, проникать в причины этих действий и познавать человеческие характеры. Историки этих времен приспособились к таким вкусам и пуще всего остерегались писать лишь о голых и сухих фактах. Сообщения о событиях они сопровождали указанием на причины, присовокупляя к этому портретные описания действующих лиц⁴. Можем ли мы считать, что эти описания лиц и причин были полностью правдоподобны, и верить в них так же, как в голые факты? Разумеется, нет: мы отлично знаем, что историки угадывали то и другое в меру своих возможностей и почти невероятно было бы все доподлинно угадать. Между тем мы вовсе не считаем чем-то нехорошим стремление историков к некоторым прикрасам, не имеющим ничего общего с правдоподобной частью рассказа. Но именно благодаря правдоподобию одной части рассказа примесь лжи, присутствие которой мы признаем в современных нам историях, заставляет нас не считать эти истории простыми вымыслами.

Точно так же после того как древние народы, идя упомянутыми здесь нами путями, обрели вкус к историям, где выводились боги и богини и вообще всевозможные чудеса, люди перестали повествовать рассказы, не снабженные подобными аксессуарами. Все понимали, что рассказы эти могли быть неправдоподобными; но в те времена такие вымыслы казались правдивыми, и этого было достаточно для того, чтобы сохранить за ними значение исторических истин.

Еще и в наше время арабы наполняют свои истории пророчествами и чудесами, большей частью гроте-

скими и смешными. Несомненно, все это воспринимается ими как прикрасы, и никто не опасается здесь обмана, поскольку у них принято так писать. Однако когда такого рода истории получают распространение у других народов, вкус которых воспитан на стремлении к точному и правдивому описанию фактов, они либо принимают их на веру буквально, либо по крайней мере бывают убеждены, что в них твердо верят те, кто их предаёт гласности, а также те, кто их безоговорочно принимает. Безусловно, возникающие при этом недоразумения бывают очень велики. Когда я сказал, что ложь в этих историях принималась за то, чем она и была, я подразумевал мнение людей до некоторой степени просвещенных, ибо толпе всегда и во всем суждено оставаться жертвой обмана.

В древние времена не только объясняли с помощью фантастической философии все, что было поразительного в истории фактов, но и толковали с помощью истории фактов, вымышленных для развлечения, то, что было областью самой философии. Например, на небе в северном направлении видны два созвездия, каждое из которых носит наименование «Медведица». Оба эти созвездия постоянно видны и никогда не заходят, подобно другим звездам. Никто и не думает о том, что объясняется это их положением по отношению к полюсу, с точки зрения наблюдателя как бы приподнятому: об этом тогда и не слыхивали. Вместо этого люди вообразили, будто обе Медведицы некогда были человеческими существами: одна Медведица была якобы любовницей, а другая — дочерью Юпитера; когда же оба этих лица были обращены в созвездия, ревнивая Юнона умолила Океан, чтобы он не позволял им в него спускаться, как другим созвездиям, и, подобно им, находить в нем отдых.

Всевозможные метаморфозы составляли естествознание этих древнейших времен. Красный цвет стены означал, что некогда она была окрашена кровью любовников; куропатка постоянно парит над землей, потому что превращенный в нее Дедал вечно помнит о злой судьбе, постигшей его сына, слишком высоко залетевшего в небо; и т. д. Я навеки запомнил то, что мне говорили в детстве о бузине: оказывается, некогда она

рождала сочные ягоды, вкусные, как виноград; но предатель Иуда повесился на этом дереве, и тогда плоды его стали горькими и невкусными, как теперь. Миф этот мог народиться лишь с появлением христианства; но он носит точно такой же характер, как знаменитые старинные метаморфозы, созданные Овидием. Иначе говоря, люди всегда были склонны к такого рода историям. Удовольствие, получаемое от них, двоякого рода: во-первых, наш ум бывает поражен какой-либо удивительной сказочной выдумкой; во-вторых, удовлетворяется наша любознательность, ибо нам сообщают очевидные причины каких-то естественных и хорошо нам знакомых явлений.

Помимо всех этих частных причин возникновения мифов есть еще две более общие причины, бывшие особенно благоприятными для остальных.

Первая из этих общих причин — право придумывать вещи, подобные тем, что уже считаются истинными, и даже давать этим вещам дальнейшее развитие, привлекая на помощь возможные следствия. К примеру, некое выходящее из ряда вон происшествие заставляет предположить, что какой-то бог влюбился в смертную женщину: тотчас же все истории оказываются переполненными влюбленными божествами. В самом деле, если вы верите, что один из богов влюбился, почему не поверить, что и с другими произошло то же самое? Если у богов есть дети, они их любят и пускают в ход все свое могущество, дабы вызволить их из беды: вот вам неисчерпаемый источник чудес, к которым нельзя подходить с меркой абсурда.

Вторая общая причина наших больших заблуждений — слепое почитание древности. Наши отцы в это верили: не можем же мы считать себя более мудрыми, чем они! Итак, обе эти причины, объединенные вместе, творят чудеса. Одна из них, опираясь на самое шаткое основание, какое только может возникнуть из слабости человеческой натуры, делает глупость бесконечной во времени; другая, коль скоро она утвердилась, сохраняет эту глупость навеки. Одна, поскольку мы уже впали в ошибку, заставляет нас погружаться в нее все глубже и глубже; другая же запрещает нам выбраться из болота, коль скоро когда-то нас в него уже затянуло.

Вот, по всей очевидности, что довело мифы до столь великой абсурдности и что продолжало их поддерживать на достигнутом уровне. Ибо то, что природа вложила в них от себя, вовсе не было ни смехотворным, ни слишком большим по объему. Притом же люди совсем не так глупы, чтобы ни с того ни с сего породить подобного рода химеры, уверовать в них и долгое время пребывать в этом заблуждении, если только в это дело не вмешиваются обе причины, о которых мы только что говорили.

Если мы исследуем заблуждения наших времен, мы обнаружим, что в основе их появления, развития и устойчивости лежат те же причины. Правда, мы ни разу не дошли до такой великой нелепости, как греки в своих древних мифах; но это лишь потому, что с самого начала у нас не было столь абсурдной отправной точки зрения. Так же как они, мы умеем развивать и беречь наши ошибки; но, по счастью, ошибки эти не столь велики, ибо мы просвещены светочем истинной религии, а также, как по крайней мере мне кажется, и лучами истинной философии.

Обычно возникновение мифов приписывают живому воображению восточных народов. Что касается меня, то я приписываю его невежеству первобытных людей. Поместите какой-либо новый народ в полярные широты, и вы увидите, что первой его историей станут мифы. В самом деле, разве древние сказания севера не полны басен? В них только и действуют что одни великаны да волшебники. Я не берусь утверждать, будто раскаленное, яркое солнце юга не доводит умы до той степени готовности, при которой они оказываются в совершенстве расположенными к поглощению басен; однако все люди обладают этим талантом и без участия Солнца. Итак, все, что я тут сказал, направлено к нахождению у людей качеств, свойственных всем им на самом деле, а именно тех, что должны проявиться как в полярных широтах, так и в зоне экватора.

Если бы в том была необходимость, мне, наверное, удалось бы показать, какое поразительное сходство существует между американскими мифами и мифами греков. Американцы посылают души людей, ведущих дурной образ жизни, к неким грязным, затянутым

тиной, мерзким на вид озерам; греки же отправляют души дурных людей на берега подземных рек Стикса и Ахеронта⁵. Американцы верили, будто дождь идет тогда, когда некая молодая девушка играет в облаках со своим маленьким братом и тот разбивает у нее кувшин, полный воды: разве это не напоминает как две капли воды греческих нимф родников, изливающих потоки из перевернутых урн?

Согласно традициям перуанцев, инка Манко Гвина Капак, сын Солнца, изыскал средство с помощью своего красноречия выманивать из лесной чащи туземцев, живших там на манер диких зверей, и заставлять их жить под управлением разумных законов. То же самое сделал Орфей для греков, и он также был сыном Солнца. Это показывает, что в свое время греки были не меньшими дикарями, чем американцы; вдобавок они были извлечены из состояния варварства тем же способом, что и эти последние. Наконец, представления этих двух столь далеких друг от друга народов дружно сходятся на том, что оба считают сыновьями Солнца всех, кто обладает каким-либо исключительным дарованием. Поскольку греки, со всем их умом, пока оставались молодым народом, и мыслили не более разумно, чем американские варвары, бывшие, по всей очевидности, достаточно молодым народом, когда их открыли испанцы, есть все основания думать, что американцы в конце концов пришли бы к такому же разумному образу мышления, как греки, если бы им была дана такая возможность.

У древних китайцев, как и у древних греков, мы находим метод объяснения природных явлений с помощью вымышленных историй. Отчего происходит морской прилив и отлив? Само собой, им и в голову не приходило подумать о воздействии Луны на наш вихрь. Поэтому они придумали следующее: у некой принцессы было сто детей; пятьдесят из них жило на морском побережье, другие же пятьдесят — в горах. От них произошло два великих народа, часто находившихся между собой в состоянии войны. Когда обитатели морских берегов берут верх над обитателями гор и обращают их в бегство, происходит прилив; когда же, наоборот, их самих обращают в бегство и обитатели гор

спускаются к морским берегам, происходит отлив. Такой способ философствования очень напоминает метаморфозы Овидия. Таким образом, верно, что одинаковое невежество ведет к одним и тем же следствиям у всех народов.

Именно по этой причине нет ни одного народа, история которого не начиналась бы с мифов, за исключением народов избранных, в чьей истории благодаря особой заботе провидения была соблюдена истина. И с какой же действительно колоссальной медлительностью приходят люди к чему-либо разумному — каким бы простым это разумное ни было! Ведь сохранять память о совершившихся фактах в том виде, в каком факты эти имели место, вовсе не такое уж великое чудо; между тем проходит много веков, раньше чем люди оказываются в состоянии восстановить эти факты, а до тех пор все, что сохраняется в памяти этих людей, представляет собой не что иное, как фантазии и бредни. После всего этого было бы величайшей глупостью удивляться тому, что философия и способ рассуждения оставались весьма грубыми и несовершенными в течение долгих веков и даже ныне прогресс в этой области идет крайне медленно.

У большинства народов мифы с течением времени перешли в религию; у греков, кроме того, они, если можно так сказать, превратились в развлечение. Поскольку они поставляют идеи, ближе всего стоящие к самой заурядной игре человеческого воображения, поэзия и живопись легко к ним приспособляются; ведь хорошо известно, какую страсть питали греки к этим изящным искусствам. Разнообразные божества, обитающие повсюду, оживляющие и одушевляющие природу и вещи, всем интересующиеся и, что еще более важно, часто действующие наиболее удивительным образом, несомненно, должны были производить самое приятное впечатление, будь то в поэмах или на рисунках, цель которых состояла лишь в том, чтобы увлечь человеческое воображение, подсовывая ему легко усвояемые и вместе с тем поражающие его объекты.

Заблуждения, однажды укоренившиеся среди людей, имеют обыкновение пускать очень глубокие корни и цепляться за все, что может их поддержать. Религия

и здравый смысл разочаровали нас в греческих мифах, но мифы эти продолжают бытовать среди нас благодаря поэзии и живописи, так как, по-видимому, был открыт секрет, делающий их необходимыми для этих искусств. И хотя мы, несравненно более образованные и просвещенные люди, чем те, чей грубый ум честно сотворил мифы, мы тем не менее легко поддаемся тому же побуждению ума, которое сделало мифы столь привлекательными для воображения древних народов. Но они тешились мифами, ибо в них верили, мы же наслаждаемся ими не меньше, хотя им не верим! Это лишний раз доказывает, что рассудок и воображение не имеют между собой ничего общего и вещи, не умеющие обмануть рассудок, ничуть не теряют привлекательности для нашей фантазии.

До сих пор мы не включали в эту историю происхождения мифов ничего, кроме основных свойств человеческой природы, да это и на самом деле является здесь доминирующим моментом. Однако к этому главному фактору присоединились и некоторые побочные, и мы не можем не дать им места в истории мифов. Например, поскольку финикийцы и египтяне были народами более древними, чем греки, их сказания перекочевали в Грецию, причем в пути они разбухали и обрастали преувеличениями, так что самые правдивые из них становились мифами. Финикийский язык (а может быть, и египетский) полон двусмысленных выражений⁶; кроме того, греки не понимали ни того ни другого, что и служило великолепным источником для всевозможных небрежностей. Две египтянки, собственное имя которых должно было означать «Голубка», явились в леса Додоны⁷ с целью заняться там прорицанием будущего: греки решили, что это и в самом деле две голубки, скрытые в древесной листве и вещающие оттуда свои пророчества. А в самом скором после того времени голубки превратились, по мысли греков, в деревья, сами издававшие прорицания. Или другой случай: корабельное кормило по-финикийски зовется словом, одновременно означающим: «говорящий», — и греки придумывают в истории аргонавтов говорящий руль корабля Арго⁸.

Ученые новейших времен нашли тысячи других примеров, из которых явствует, что большинство мифов

обязано своим происхождением явлению, обычно именуемому *qui pro quo*⁹, причем греки особенно были склонны к таким недоразумениям, когда имели дело с египетским или финикийским языком. Что касается меня, то, как я думаю, греки, обладавшие большим умом и любознательностью, в данном случае начисто теряли либо то, либо другое, коль скоро они не считали нужным хотя бы изучить в совершенстве эти языки или оставить их просто в покое. Разве не понимали они отлично, что почти все их города были египетскими или финикийскими колониями и что большинство их древних историй имело своей родиной именно эти города? И разве происхождение их языка и древности их страны не состояли в прямом родстве с обоими этими языками? Но то были варварские языки, грубые и малоприятные на слух. Какая забавная утонченность!

С тех пор как было изобретено искусство письма, оно основательно послужило делу распространения мифов, а также тому, чтобы снабдить какой-либо один народ всеми глупостями, измышленными другим. Однако был тут и выигрыш: найдены были определенные рамки для недостоверной дотоле традиции; количество мифов уже не так катастрофически возрастало, и они оставались в пределах, поставленных им изобретением письменности.

Постепенно невежество рассеивалось, что повлекло за собой умаление силы чудес; ложных философских систем стало меньше, повествуемые истории утратили в значительной мере свою баснословность: все это ведь тесно между собою связано. До сих пор память о минувших событиях сохранялась из чистого любопытства: теперь, однако, заметили, что полезно беречь их в памяти — будь то ради сохранения преданий, делающих честь родине, или во имя усмирения раздоров, могущих возникнуть между народами, или, наконец, с целью показать народу примеры доблести; я даже думаю, что это последнее использование мифов было самым незначительным по существу, хотя именно его обычно окружали самой великой помпой. Тем не менее все это требовало от истории правдивости — она должна была быть правдивой по сравнению с древними сказаниями, исполненными нелепостей. Таким образом, у некоторых наро-

дов стала писаться более разумная история, как правило обладавшая правдоподобием.

После этого новые мифы уже не возникали. Народы удовлетворялись тем, что сохраняли старые предания. Однако на что только не способны натуры, до безумия влюбленные в древность?! Постепенно стали воображать, что под оболочкой мифа скрыты тайны природы и нравов. Возможно ли — так рассуждали люди, — чтобы древние породили подобные бредни, если на самом деле за этим не скрывается какая-то тонкость? Слово «древний» всегда внушает почтение: но совершенно ясно, что создатели мифов не были знатоками природы или морали и не изобрели еще искусства скрывать то и другое под прикрытием вымышленных образов.

Не будем же искать ничего другого в древних сказаниях, кроме истории заблуждений человеческого разума. Разум наш тем меньше блуждает в потемках, чем скорее он осознает степень своей ошибки. Это не означает, что мы должны постичь нашу склонность забивать себе головы всевозможными нелепостями финикийцев и греков; мы стремимся показать, что именно привело финикийцев и греков к этим причудам. Все люди до такой степени друг на друга походят, что нет той глупости, совершенной каким-либо из народов, которая не заставила бы нас дрожать от страха перед ее повторением.

Сомнения по поводу физической системы окказионализма

Глава I. Что послужило появлению этого труда

Ничто не вызывало большего шума среди небольшого числа мыслящих людей, чем диспут, возникший между двумя выдающимися философами мира — отцом Мальбраншем и Арно. Не без причины относились с особым вниманием к состоявшимся между ними сражениям: верили, что если истина может когда-либо быть установлена путем диспутов, то в этом-то случае она

будет установлена непременно. Я был таким же наблюдателем этих сражений, как и все прочие, без сомнения не самым умным, но, быть может, более других прилежным — по причине, о которой сейчас скажу.

Мне никогда не была симпатична окказионалистская система отца Мальбранша, хотя я и признаю охотно ее удобство и даже величие. Не могу поручиться, что не предубеждение чувств и воображения образовало у меня это неприятие идеи, столь явно противоречащей всем общераспространенным идеям. Но в конце концов я отделался от этого предубеждения — как благодаря предупреждениям, столь заботливо предпосланным картезианцами их необычным мнениям, так и еще больше благодаря известной общей осторожности, к которой я привык в отношении всех мнений, укоренившихся в моем сознании благодаря тому, что я долгое время не подвергал их внутренней проверке. Если бы для удовлетворения требований, всегда предъявляемых нам философами, я прислушивался только к своему разуму, я был бы поражен тем, что он не более благосклонен к *случайным поводам*, чем мое воображение и мои чувства. Но быть может, предубеждение породило в нем известный дефект. Не могу здесь ничего гарантировать. Все, что мне доступно, — это бросить вызов собственному разуму, и именно это я сделал.

Я имел довольно оснований для этого, поскольку из всех возражений, какие я мог бы сделать против системы окказионализма, отец Мальбранш в своих трудах не сделал себе ни одного; а между тем я считал, что никогда ни один философ лучше него не взвешивал все *pro* и *contra*¹ своих убеждений и не имел более искренних намерений в деле раскрытия людям истины. Это и вызвало спор между ним и Арно. Грозный этот противник вознамерился подорвать самые основы системы отца Мальбранша, и я льщу себя тем, что некоторые из моих сомнений счастливым образом пришли на ум также ему. Но по каким бы пунктам он ни нападал на отца Мальбранша, я с огорчением вижу, что у меня нет с ним ничего общего.

Однако какова же моя собственная точка зрения? Отец Мальбранш не предвидел моих возражений, Арно ими не воспользовался. Действительно, предубеждение

против этих возражений велико, и я признаю, что, если бы их вообще не пожелали принять к изданию, это не было бы большой несправедливостью по отношению ко мне. Но поскольку я собираюсь рассмотреть эти возражения сами по себе, то не знаю, каким уж образом, но я вовсе не нахожу их достойными пренебрежения. Итак, я решил освободиться от этой неуверенности и спросить у читающей публики, что мне следует думать по этому поводу, особенно же — у отца Мальбранша, которого охотно признаю судьей в его собственном деле. Ибо во-первых, я не считаю себя способным представить ему возражения настолько веские, чтобы вынудить его скрывать свои мысли по этому поводу, а во-вторых, не считаю его способным скрывать свои мысли даже в том случае, если мои возражения окажутся исключительно вескими.

Я предлагаю вниманию читателей всего лишь сомнения и положусь на первый же ответ, который мне соблаговолит дать. Я уступлю даже в том случае, если мне его не дадут, и не истолкую превратно это молчание. Прошу, чтобы все это не было сочтено словами, в основе которых лежит ложная скромность: искренность моих слов должно подтвердить то обстоятельство, что я не теолог и не философ по роду своих занятий, а также не имею громкого имени ни в одном из видов деятельности. Следовательно, я ничуть не обязан любой ценой быть правым и с честью могу признать, что я ошибаюсь, всякий раз как мне укажут на мою ошибку.

Глава II. История окказионализма

Дабы лучше изложить свои сомнения по поводу окказионализма, я полагаю необходимым дать объяснение этой системы и даже представить ее историю, как я ее понимаю в соответствии с достаточно правдоподобными догадками.

Окказионализм по своему происхождению не так древен; но это не значит, что в силу этого значение его невелико. Декарт, один из самых глубоких умов, какие когда-либо существовали, будучи убежден, как это

и следовало ожидать, в духовности нашей души, усмотрел, что единственным средством правильно ее постигнуть является допущение крайнего несоответствия между протяженной и мыслящей субстанцией: несоответствие это таково, что, даже если бесконечно возносить протяженную субстанцию или низводить до бесконечно низкого уровня субстанцию мыслящую, все равно никогда одна из них не совпадет с другой. Все, кто дает себе труд немного поразмыслить над этим, вынуждены признать это допущение и бывают в ужасе от абсурдности общераспространенной системы, согласно которой животным приписывается материальная мыслящая душа.

Но если душа и тело находятся в отношении такого несоответствия, каким образом движения тела вызывают мысли у души? Каким образом мысли души вызывают в свою очередь движения тела? И какая может быть связь между столь глубоко различными субстанциями? Именно эта трудность заставила Декарта изобрести *случайные поводы*. Он нашел, что поскольку между движением и мыслью не существует никакой естественной связи, то не может существовать *истинных причин*, связывающих между собой то и другое (ибо следует усматривать необходимую связь между *истинной причиной* и ее действием); однако, считает он, может существовать случай, или *случайный повод*, связывающий одно с другим, ибо бог в случае движения тела может внушать душе мысль или же, наоборот, в случае мысли души внушать движение телу. Поскольку между движениями и мыслями не существует никакой естественной связи — ведь ее никак не может быть между *случайным поводом* и его действием, — бог остается единственной *истинной причиной* и движений и мыслей и является, если можно так сказать, единственным посредником во всех взаимоотношениях тела и души.

Вслед за тем Декарт заметил, что невозможно понять, каким образом движение одного тела передается другому, причем всегда в очень точных зримых соотношениях. Он уже располагал *случайными поводами*, объясненными своим происхождением системе, касающейся души; он понял, что, применяя их к телам, можно будет снять все затруднения: итак, он сделал тела простыми

случайными поводами для связывания между собой движений одних тел с движениями других, поскольку оставалось совершенно непонятным, каков характер связи между движением одного тела и другого, испытывающего толчок первого, и каким образом движение первого тела сообщается второму; он пожелал, чтобы бог явился здесь истинной причиной, которая в случае столкновения двух тел передавала бы что-то от движения одного из тел другому: ведь нельзя не усмотреть необходимой связи между божественной волей и ее действием.

Таково было развитие *случайных поводов* в области физики: после Декарта они заполнили ее почти целиком. Отец Мальбранш явился столь же крупным философом и теологом, сколь великим философом был Декарт, и он перенес *случайные поводы* в теологию. Он утверждает, что ангелы явились *случайными поводами* поразительных творений бога, согласно Ветхому завету, а в Новом завете Иисус Христос, в своем качестве человека, явился *случайным поводом* для распространения благодати.

Таким образом, *случайные поводы*, изобретенные под давлением настоящей нужды, были не очень стойкими при своем рождении; но мало-помалу обнаружившееся их удобство привело к значительно более широкому их применению, не вызванному требованиями первой необходимости.

В мои намерения не входит проследить их историю вплоть до теологии, которой завладели в последнее время *случайные поводы*: я предоставляю такую погоню за ними — если только она возможна — Арно. Я заявляю, что ограничиваюсь исключительно областью физики и озабочен лишь тем, может ли эта система найти в ней свое применение. Я не хочу также затрагивать связь между душой и телом, хотя она и имеет отношение к естествознанию: я буду говорить только о двух телах, относительно которых утверждают, будто они являются друг для друга *случайными поводами* к движению. Сначала я покажу, почему мне представляется, что они при этом не *случайные поводы*, а истинные причины; затем я докажу, что бог в данной системе не действует ни непосредственно, ни через всеобщие законы и

не более является в ней верховной причиной, чем согласно общераспространенной системе. Те, кто хоть немного разбирается в этом предмете, прекрасно увидят, что все это имеет отношение к главным преимуществам, приписываемым защитниками окказионализма их точке зрения. Они утверждают, что только они дают богу действовать по методу, имеющему отличительные признаки его атрибутов — всегда с исключительной простотой, всегда через всеобщие законы, всегда в качестве господина и творца Вселенной. Но я нахожу, что по первым двум пунктам они достигают прямо противоположного эффекта, что же касается последнего, то они не добиваются никакого преимущества по сравнению с нами. Я очень прошу не удивляться моим парадоксам и подождать, если можно, с выражением своего изумления до того момента, как я представлю свои доказательства.

*Глава III. Как мы считаем, тела —
это вовсе не случайные поводы,
но истинные причины движения
одних по отношению к другим*

Это раздел, в котором я более всего уверен, ибо он принадлежит к представляющимся мне наиболее ясными, и я не могу понять, каким образом тысячи других людей не разделяют подобную точку зрения.

Истинная причина — это та причина, между которой и ее действием существует необходимая связь, или, если угодно, та, которая именно потому, что она существует либо является такой, какова она есть, делает то, что вещь существует либо существует такой, какова она есть.

Случайный повод не делает ничего в силу своего существования или в силу того, что он является таким, каков он есть; он делает что-то лишь потому, что, когда он существует либо является таким, каков он есть, действует *истинная причина*: таким образом, между *случайным поводом* и его действием вы не усматриваете никакой необходимой связи.

Мне кажется, что из этих определений ясно вытекает моя точка зрения.

Согласно мнению отца Мальбранша, тела не имеют ни малейшей силы воздействия друг на друга и бог изрек повеление, которым он обязуется в случае удара одного тела о другое передавать от одного другому движение в соответствии с различными соотношениями объемов и скоростей движения этих тел.

Согласно этому повелению, телам не придается способность к взаимному толчку, к тому, чтобы они были различной величины и различным образом приводились в движение; оно предполагает в телах три этих свойства, зависящие исключительно от их природы: это бесспорно.

Итак, я предполагаю, что до божественного веления — я допускаю, что пока еще оно не изречено, — два тела, *А* и *Б*, движутся по направлению к одной цели; *А* во много раз больше и движется во много раз быстрее, чем *Б*; *А* — тело с вогнутой поверхностью, и в конце концов оно сталкивается с *Б* именно этой своей вогнутой стороной. Во всем этом нет ничего, что не предшествовало бы велению о сообщении движения [телам] и не вытекало бы исключительно из природы данных тел.

Спрашивается, что произойдет при столкновении тела *А* с телом *Б*?

Следовало бы — поскольку тела не могут сами по себе, с помощью толчка, ни увеличить, ни уменьшить скорость движения друг у друга, — чтобы *А* и *Б* сохранили количество движения, какое у них было до столкновения.

Но абсолютно невозможно, чтобы они оба сохранили его в один и тот же момент.

Если *А* сохраняет прежнюю скорость движения, следует, что оно толкает перед собою *Б* и, значит, скорость движения *Б* должна сильно возрасти.

Б не сможет избежать этого, даже если оно высвободится из вогнутости *А*, ибо я предполагаю, что кризисна тела *А* значительно больше той, которую тело *Б* могло бы описать за одно мгновение, не увеличивая скорости своего движения.

Если скорость движения *Б* не увеличивается, из этого следует, что *А* всего только догоняет *Б* и, значит, скорость его движения сильно уменьшается.

Итак, до повеления, согласно которому бог приводит тела к столкновению — *случайному поводу* к увеличению или уменьшению скоростей движения, эти скорости необходимо увеличиваются или уменьшаются благодаря столкновению.

И заметьте, что одна только непроницаемость тел делает необходимым один из тех случаев, о которых я говорю.

Ибо если бы тела не обладали этой непроницаемостью, *А* вынуждено было бы пропустить *Б* через себя, без того чтобы при этом хоть сколько-нибудь изменилась скорость движения обоих этих тел.

Итак, именно из того, что тела таковы от природы, следует, что они должны при столкновении взаимно изменять скорость движения друг друга.

Итак, они производят эти изменения в качестве *истинных причин*, а вовсе не как *случайные поводы*.

Я намеренно опустил два химерических случая:

Один из них — когда *А* остается неподвижным при столкновении с *Б*.

Но тогда *Б*, в качестве *истинной причины*, прекращает движение *А* или даже сообщает ему позитивный модус, если только покой является таковым, как это принято утверждать.

Второй случай — когда, при встрече с *Б*, *А* испытывает обратный толчок и возвращается на свое исходное место.

Но тогда *Б*, в качестве *истинной причины*, изменяет направление движения *А*.

Однако даже если бы тела по самой своей сущности, до декрета бога, всего лишь изменяли при столкновении направление своего движения, а не его количество, этого было бы вполне достаточно для моего доказательства.

Ведь главным основанием, согласно которому отец Мальбранш придает телам значение всего лишь *случайных поводов*, служит то, что движение есть не что иное, как само существование тела, поскольку оно существует последовательно в различных местах; и, поскольку один лишь бог может даровать существование и его сохранять, он же может даровать и движение; таким образом, любое движение тела — это результат непосред-

венного воздействия бога и, значит, ни одна тварь не может обладать силой здесь что-либо изменить в качестве *истинной причины*.

В дальнейшем я попытаюсь дать ответ на это рассуждение, которое, честно говоря, очень красиво. Но пока вы прекрасно видите, что, если изменить здесь выражения и вместо слова «движение» поставить «направление движения», вы обнаружите, что ни одна тварь не обладает силой изменять в качестве *истинной причины* направление, сообщенное [чему-либо] богом.

Между тем вот самое меньшее, что проистекает из сделанного нами предположения — хотя такой случай и непостижим: *Б* в качестве *истинной причины* изменяет направление [движения] *А*; согласно рассуждению отца Мальбранша, это означает то же самое, что изменить движение *А*. Но совершенно очевидно: коль скоро твари оказываются *истинными причинами* в отношении направления движений, вся система окказионализма терпит крах.

Однако, возражают всегда картезианцы, какая может быть связь между движением одного тела и другого? Разве можно постичь, как происходит эта передача движения? Напротив, связь между божественной волей, направленной на движение тела, и его движением постигается хорошо.

Почти все это верно. Я согласен, что для того, чтобы установить истинную причину, нужно наблюдать необходимую связь между ней и ее действием, причем совершенно невозможно понять, каким образом движение одного тела передается другому. Согласен я также и со следующим: я ясно усматриваю связь, существующую между волей бога и движением тела; но картезианцы ошибаются, полагая, что это дает им преимущество.

Суть любого вида философствования состоит в том, чтобы различать между собой идеи, на первый взгляд представляющиеся идентичными. Дабы установить *истинную причину*, нужно усмотреть необходимую связь между ней и ее действием, но совершенно не требуется видеть, каким образом она производит свое действие. Бог — *истинная причина* всего сущего. Я отлично постигаю, что, поскольку он по самому своему существу всемогущ, невозможно, чтобы он пожелал существования

какой-либо вещи, а эта вещь бы не стала. Но постигаю ли я, каким образом эта вещь начинает существовать в тот самый миг, как бог этого пожелал? Отнюдь. Напротив, ум мой настолько обманчив, что он представляет мне творческий акт бога как нечто ограниченное и замкнутое в самом себе и потому не могущее ничего произвести вне себя. Я не в состоянии понять, каким образом это потенциальное бытие, пока еще не существующее, получает предупреждение о том, что бог желает, чтобы оно стало. Я совершенно не в состоянии понять, откуда это потенциальное бытие берет то, что делает его актуальным; это, собственно говоря, означает, что я усматриваю лишь необходимость факта, но способ, каким он совершается, полностью от меня ускользает. Те же самые затруднения относятся к способу приведения тела в движение, когда бог желает, чтобы оно двигалось. Я постигаю лишь, что оно движется, потому что бог этого желает.

Точно так же я ясно вижу, что, поскольку тела непроницаемы, они должны при столкновении сообщать друг другу свое движение: я только что это показал. Но каким образом передается это движение от одних тел к другим? Я ничего об этом не знаю. Если нужно будет понять все эти «каким образом», я не приду даже к тому, что сам бог является *истинной причиной* какого-либо действия.

Я долго искал, не может ли быть иного ответа на развитое нами сейчас рассуждение, и нашел только один ответ, правда косвенный и не слишком достойный веры; но я не премину его изложить, дабы предупредить его, на случай если он кому-нибудь придет в голову.

Итак, мне, быть может, ответят, что моя гипотеза относительно находящихся в движении *А* и *Б* совершенно несостоятельна; хотя это и верно, что до веления бога, распорядившегося относительно столкновения — *случайного повода* к взаимному сообщению движения, — каждое из тел может само по себе быть приведенным в движение и тем самым сообщить толчок другому телу, однако, чтобы тела эти начали двигаться, с тем чтобы потом столкнуться, необходимо, чтобы они толкали перед собой и смещали, то есть двигали бы, другие тела, встречающиеся на их пути, например

воздух, заполняющий пространство. Но поскольку пространство у картезианцев, с одной стороны, константно, а с другой стороны, согласно их учению, невозможно, чтобы в этом пространстве одно тело сообщало движение другому, они не могут допустить, что *А* и *Б* столкнутся, ибо для этого нужно было бы, чтобы *А* и *Б* были уже приведены в движение другими телами. Таким образом, до повеления бога все остается неподвижным — не потому, что тела до этого повеления не могут быть приведены в движение (ведь это заложено в их природе), но из-за пространства, служащего причиной того, что они не могут быть приведены в движение, не сдвигая с места другие тела: это возможно только после веления бога.

Однако будем осторожны: эта несостоятельность тел, служащая причиной того, что они не могут, в качестве *истинных причин*, сообщать друг другу движение, заложена, как оказывается, в их природе: веление бога, делающее их поводами к взаимному передвижению, не сообщает им никакой двигательной силы. Проявление любой способности, любая действенность — какого бы рода она ни была — это, согласно отцу Мальбраншу, неотъемлемое право бога.

Итак, неспособность двигать другие тела — это существенное свойство двух частных тел, *А* и *Б*.

Итак, они сохраняют это свойство при любом предположении; ни одно предположение не может разрушить этой их сущности.

Я совершенно не собираюсь здесь заниматься вопросом заполненного и пустого пространства; я признаю пока существование первого.

Но я могу допустить предположение пустоты и построить на этом допущении рассуждение от противного: это не нарушает правил [логики].

Гипотеза пустого пространства совсем не противоречит сущности *А* и *Б*: представляя их себе в пустом пространстве, я вовсе не мыслю их менее объемными, рельефными, подвижными или неспособными, если вам угодно, приводить в движение другие тела; правда, я разрушаю сущность пространства, в котором я их мыслю, поскольку я не представляю себе это пространство как тело, хотя на самом деле оно таковым является.

Однако это безразлично для нашего вопроса, не имеющего никакого отношения к сущности пространства, в которое я помещаю тела, но связанного лишь с сущностью самих тел. К их сущности совершенно непричастно то, что они находятся в заполненном пространстве, хотя они всегда находятся именно там; быть заполненным характерно для сущности пространства.

Если бы бездейственность тел *A* и *B* была заложена в их природе, они сохранили бы ее и при гипотезе вакуума, вовсе не препятствующего проявлению этой бездейственности.

Но при такой гипотезе тела эти могут быть приведены в движение без того, чтобы обрести при этом способность сообщать движение другим телам, лежащим на их пути.

После того как они придут в движение, я предполагаю, что они столкнутся между собой.

И тогда необходимо возникнет один из указанных выше случаев, показывающих, что *A* и *B* действуют как *истинные причины*.

Итак, поскольку, согласно гипотезе, ничуть не противоречащей их природе, они вовсе не сохраняют свою неспособность действовать в качестве *истинных причин*, неспособность эта не есть их природное свойство.

Наоборот, именно от неотъемлемого природного свойства тел — их непроницаемости, их плотности — происходит воздействие, делающее их *истинными причинами*.

Таким образом, я считаю, что, несмотря на хитрое ухищрение, который мы себе здесь вообразили, доказательство наше сохраняет всю свою силу.

Глава IV. Как представляется, в системе окказионализма бог действует не просто

Недостатком учения картезианцев, конечно, является вовсе не то, что они пользуются смутными идеями: они более всего рекомендуют их избегать и особенно похваляются тем, что им это удается; однако я сильно сомневаюсь в том, что они достаточно хорошо

разъяснили идеи, которые мы имеем относительно простоты действий бога. Я стараюсь внести как можно больше ясности в этот вопрос, который представляется вполне ясным тем, кто мало об этом думает, но до сих пор совсем не так ясен для тех, кто хорошо мыслит.

У бога — свои замыслы, и он приводит их в исполнение.

Мудрость замысла заключается в основаниях, составляющих его осуществлять, и в целях, которые при этом себе ставят. Почему бог пожелал создать мир таким, каков он есть? Мы ничего об этом не знаем. Хорошо говорить, что это было сделано к его вящей славе: богу причитается не меньшая слава существования чисто потенциального мира; ибо то, что находится всего лишь в потенции, для бога так же действительно и производит, с его точки зрения, тот же эффект, как и то, что действительно существует. Итак, мы можем допустить бесконечную мудрость божественного замысла, но даже и мечтать не должны о том, чтобы в нее проникнуть. Природа божественных целей не допускает их проникновения в человеческий ум.

Что же касается простоты, то мы видим, что в упомянутом замысле она, как таковая, не столь уж велика: ведь чтобы говорить о простоте действий бога, нужно было бы, чтобы он всего только разделил материю на равные части и всем этим частям сообщил одинаковое движение, которое длилось бы вечно. Итак, хоть мы и не можем понять этот замысел бога, мы полагаем, что он был весьма мудр, и мы также видим, что он не очень-то прост и однозначен. Но нет никакого сомнения в том, что воплощение этого замысла было в одно и то же время столь мудрым и столь простым, сколь только это было возможно.

Мудрость воплощения замысла заключается в том, чтобы воплотить его полностью.

Простота того же замысла заключена в том, чтобы соблюдался минимум действия и возможно меньшее количество различий в действиях: одним словом, при этом не должно иметь места ничего, кроме того, что абсолютно необходимо для полного и совершенного воплощения.

Тут следует сделать два замечания: 1) мудрость воплощения замысла дает нам идею относительно муд-

рости замысла не самого по себе, но постольку, поскольку это связано с воплощением: ибо как воплощение мудро тогда, когда замысел воплощен в совершенстве, так и замысел мудр только тогда, когда он может быть полностью воплощен; 2) мудрость воплощения [замысла] предшествует простоте: это значит, что, во-первых, следует полностью воплотить свой замысел, а уже во-вторых, его надо воплотить с минимальной затратой действия и по возможности меньшим количеством различий в действиях.

Пункт этот очень важен, поскольку мне кажется, что именно по этому пункту совершалась постоянная ошибка претензий величайшим гением нашего века.

Он говорит, что порядок Вселенной сам по себе не самый совершенный, какой только возможен; что [при создании Вселенной] средства не всегда находились в точном соответствии с целями, которые, как принято считать, ставил перед собою бог; что, например, в намерения бога входило создавать лишь совершенные живые существа, а между тем появились на свет монстры; что бог посылает дожди для того, чтобы оплодотворять землю, между тем иногда дожди делают земли бесплодными; и т. д. Однако тот же автор утверждает, что порядок этот — самый совершенный, какой только возможен с точки зрения простоты законов, на которых он основан. Короче говоря, это значит, что для того, чтобы сделать этот порядок, как таковой, более совершенным, чтобы добиться в нем более точного соответствия средств целям, надо было сделать его более сложным: при той же простоте, с которой он создан, он никогда не мог бы стать лучшим. Итак, совершенно очевидно, что образ действий бога весьма прост.

Возможно, я очень ошибаюсь, но я усматриваю во всей этой идее скрытый в ней вечный софизм.

Если бы я хотел создать машину, которая точно показывала бы время, и для этого нужно было бы вложить в нее десять колесиков, я, несомненно, вложил бы туда все десять. Если же я вложил бы в нее лишь пять, стала бы она от этого более простой? Да, но она не показывала бы точного времени. Моя задача — сделать не простую машину, а машину, точно показывающую время, причем добиться этого я должен по возможности

самыми простыми средствами. Я, конечно, поостерегусь вложить в нее больше колесиков, чем это требуется, и в этом будет заключаться простота воплощения моего замысла; но я вложу их туда столько, сколько требуется для полного воплощения моего замысла.

Согласно идее, которую я здесь опровергаю, мир сделан несовершенным во имя простоты. Но его надо было сделать совершенным, а затем уже настолько простым, насколько это было возможно.

Утверждают, что, хотя создание монстров и не входило в задачу бога, тем не менее простота установленных богом законов, которые он не мог сделать менее простыми, породила монстров.

Это может, собственно говоря, означать только одно, а именно что замысел бога не был мудр: ведь он не мог быть полностью осуществлен, поскольку он мог быть осуществлен лишь таким образом, что в творение бога проникли монстры, хотя они и не были им задуманы. Однако совершенное воплощение замысла не только подразумевает осуществление того, что было задумано, но и исключает все то, что задумано не было. Ведь делать слишком много столь же порочно, как делать чересчур мало. И потом, если вы скажете мне, что простота законов бога заставила его сделать больше, чем то входило в его намерения, я буду вправе считать, что она заставила его сделать, наоборот, меньше, хотя я и не смог бы вам указать это меньшее, которого на самом деле не существует, таким же образом, как вы, согласно вашему утверждению, показываете мне большее, которое есть.

И смотрите, какую нелепость и противоречивость подразумевает все это в природе бога: он очень мудр, он должен воплощать свой замысел в совершенстве; [но] он [и] очень прост, он должен воплощать свой замысел просто; однако он не может воплотить его одновременно и в совершенстве, и просто; его мудрость и его простота вступают в противоречие; ведь нужно, чтобы он ослабил совершенство воплощения своего замысла, для того чтобы дать дорогу тому, что связано с простотой его исполнения.

Есть гораздо больше оснований считать, что бог ослабил простоту воплощения или же совсем ее отверг,

чем допускать несовершенство исполнения его намерений. Ибо в конце концов гораздо лучше пользоваться несовершенными средствами, чем как-то погрешить против цели. А ведь простота действий — это только способ воплощения, действительно более предпочтительный, когда он имеет место, но не заслуживающий того, чтобы стремиться к нему за счет полноты и совершенства осуществления своих замыслов.

Это настолько верно, что отец Мальбранш соглашается с тем, что бог иногда выходит за пределы простоты своих действий и, когда порядок этого требует, действует с помощью особых средств. Однако что это за порядок? Ведь это — мудрость его замыслов. Таким образом, в этих случаях он предпочитает полноту и совершенство воплощения своих замыслов его простоте. Так он должен был поступать всегда; порядок — всегда порядок. Я очень хотел бы понять, почему в других случаях, таких, как создание монстров, бог предпочел простоту воплощения своих замыслов полноте и совершенству этого воплощения? Несомненно, это достаточно путаная система, если, согласно ей, то мудрость бога увлекает его к простоте, то простота увлекает его в сторону мудрости.

В борьбе этих двух атрибутов, связанных с воплощением замысла бога, всегда должна была бы побеждать мудрость; но было бы еще лучше, если бы вообще не существовало этой борьбы. Я думаю, что, если бы в том была необходимость, я изложил бы естественный порядок [вещей], ибо я разумею только его: если речь идет о нем, вы не только никогда не смогли бы увидеть, как одна из двух вещей, не могущая быть подчиненной другой, ей подчиняется и подвергается, так сказать, давлению с ее стороны, но и вообще не могли бы увидеть, как одна из них подчинена другой. Каждая из них имела бы свой объем, настолько полный и абсолютный, что ей совсем не нужно было бы приноравливаться к другой; вы увидели бы столь совершенное воплощение замысла бога, что вам трудно было бы себе представить, будто воплощение это может быть простым, причем настолько простым, как если бы оно было очень далеким от того, чтобы быть совершенным. В самом деле, это вполне соответствует двум следствиям,

проистекающим из двух атрибутов бога: я не верю тому, что эти атрибуты сообщают друг другу видоизменения и ограничения.

Однако вопрос в данный момент состоит не в этом. Мне достаточно было показать, что, когда бог приводит в исполнение какой-то свой замысел, его первое намерение — воплотить его полностью, а уж следующее — воплотить его по возможности простыми средствами.

Замысел бога состоял в том, чтобы существовали непрерывно движущиеся планеты, живые существа, непрерывно сменяющие друг друга в поколениях, и т. д.; для этого нужно было, чтобы части материи имели неодинаковые движения и сообщали бы их друг другу.

Если предположить, как того желают картезианцы, что тела не обладают никакой двигательной силой, то богу остается лишь два средства для воплощения своего замысла:

либо сообщить телам различные движения в каждый отдельный момент, согласно своему замыслу;

либо учредить *случайный повод* к неодинаковому распределению движений — такой *случайный повод*, как толчок.

Это значит, что бог сообщает телам неодинаковое движение, повинуюсь единственно лишь своему замыслу либо подчиняясь для выполнения его *случайному поводу*.

Почему я делаю такой вывод? В случае если бог повинуетя случайному поводу, его замысел либо осуществляется с той же полнотой, как если бы он и не повиновался этому поводу, либо он не осуществляется столь полно.

Если замысел его не столь полно осуществляется, значит, бог вовсе не повинуетя *случайному поводу*.

Ибо другой образ действий будет более мудр и, следовательно, он подчинит себе бога, пусть даже сам по себе он будет менее прост.

Если же замысел бога достаточно полно осуществляется посредством *случайного повода*, то перед нами два образа действий, одинаковых с точки зрения мудрости; в этом случае первое слово будет за простотой.

Сравним же оба эти образа действий с точки зрения простоты.

Как при том, так и при другом образе действий бог распределит одинаковое количество неодинаковых движений среди одинакового числа различных тел.

Однако учредить *случайный повод* несомненно значит пуститься обходным путем, причем этот обходный путь, согласно принятому нами допущению, ничуть не способствует более полному и совершенному воплощению замысла.

Это решает вопрос. Следовательно, учреждение *случайного повода* противоречит простоте [действий] бога, такой, как мы ее сейчас определили.

Можно ли предполагать, что простота деяния бога произтечет от чуждой ему вещи, которую он должен принимать во внимание, причем ей ничуть не помогает это внимание бога? Напротив, именно то, что он без необходимости включает в свое деяние чуждую [ему] вещь, полностью должно разрушить простоту этого деяния.

Утверждают необходимость того, что бог учреждает *случайный повод*, дабы действовать единообразно; но речь сейчас идет ведь не об единообразии; ибо единообразие и простота — это не одно и то же, хотя по данному вопросу их довольно охотно смешивают, возможно не без пользы для намерений тех, кто это делает. Но единообразию, как таковому, мы ниже посвятим обширное рассмотрение; я нахожу, что достаточно опроверг простоту, которую превозносят сторонники системы окказионализма.

Глава V. Как представляется, в системе окказионализма бог вовсе не действует посредством всеобщих законов

Действовать единообразно, действовать посредством всеобщих законов или волевых актов — это прекрасные идеи, и, как совершенно очевидно, это подобает богу. Но что это такое — всеобщие законы? Что это за единообразие, долженствующее присутствовать в деянии бога? Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь как следует это знал. К богу применяют эти слова, но не очень-то

понимают существо того, что ему приписывают. Постараемся несколько тщательнее исследовать этот вопрос.

Влияние, которое мыслящее существо оказывает вне себя, имеет два аспекта: один из них относится к его замыслам и цели, которую оно себе ставит; другой — к природе предмета, на которое оно воздействует.

Влияние это не может иметь иного отношения к замыслу, кроме того, которое содействует воплощению этого последнего; что же касается его отношения к природе объектов, то оно может быть троякого рода: либо оно в точности соответствует тому, чего требует природа объекта, либо оно стоит над тем, чего эта природа требует, и в какой-то мере противостоит ей, либо оно таково, что природа объекта к нему безразлична.

Объяснюсь по этому поводу.

Если я хочу создать механизм, показывающий время, я беру куски металла и их прилаживаю либо формирую определенным образом: действие это безразлично к природе данных кусков металла, ибо по своей природе они вовсе не требуют того, чтобы их прилаживали и формировали тем или иным способом.

Однако с того момента как эти куски металла стали благодаря устройству, которое я им придал, механизмом, они получили новую природу; их нельзя больше рассматривать как материал — их надо рассматривать как механизм.

В природе механизма заключено следующее: после того как ему извне сообщено движение, он в дальнейшем, будучи предоставлен сам себе, выполняет задачу, для которой он был создан.

Таким образом, когда я сообщаю движение этому механизму, я поступаю согласно с требованиями его природы.

Но если я не сумел наладить этот механизм настолько хорошо, чтобы приданное ему мною движение заставляло его естественным образом отбивать время, и если надо, чтобы я заставлял его отбивать время всякий раз своею рукою, это значит, что я действую вне природы этого механизма или даже, если вам угодно, вопреки ей. Ибо природа механизма исключает положение, состоящее в том, что после сообщения ему

движения его надо заставлять делать то, что не было сделано им самим.

Действие единообразно, когда оно постоянно находится в одинаковом отношении как к цели, так и к природе объекта.

Итак, действие, направленное на выполнение определенного замысла, может быть единообразным в трех отношениях:

либо оно всегда соответствует природе объекта, либо оно всегда стоит выше этой природы, либо оно всегда к ней безразлично.

Все эти три вида единообразия одинаковы, если рассматривать их с точки зрения единообразия, как такового; между тем три вида действия, для которых действительны эти три вида отношений, совсем не одинаково совершенны.

Сообщаю ли я постоянно в определенное время движение механизму, только в этом и нуждающемуся, чтобы отбивать часы, или же я собственной рукой заставляю его бить каждый час, или, наконец, не создав никакого механизма, я отбиваю каждый час, ударяя друг о друга два куска металла, что будет совершенно безразличным для этих двух кусков металла, представляющих собою всего лишь материал,— эти три вида воздействия, хотя и одинаковые с точки зрения их единообразия, не являются одинаково совершенными. Только первое из них совершенно, ибо оно предполагает, что из всех возможных сочетаний, какие допускаются природой этих двух кусков металла и какие я могу, таким образом, им придать, я правильно выбираю то сочетание, при котором они сами собою отбивают время, разумеется, если только им придано то, чего требует любой механизм, то есть движение. Таким образом, я доверяю выполнение моего замысла единственно лишь природе объектов, на которые я воздействую; при этом все, что происходит из самой этой природы, является результатом повиновения моей воле. Замысел мой так точно соответствует этой природе, что все ее требования совпадают с требованиями моего замысла, и я не могу оказать на нее такое воздействие, которое не привело бы к моей цели. Моя мудрость помогает мне питать относительно объектов лишь те замыслы, кото-

рые природа их способна воплотить, а мой ум ставит их в те единственные условия, при которых природа их должна способствовать воплощению моих замыслов. Если я избрал этот замысел, соответствующий природе объектов, и эти условия, соответствующие моему замыслу, среди бесконечного числа других замыслов и условий, то мудрость моя и мой ум безграничны.

Второй вид воздействия несовершенен с точки зрения того или другого из этих двух приемов. Если куски металла могут быть расположены таким образом, что они будут отбивать время без того, чтобы я прилагал к этому руку, значит, мне недостает ума для того, чтобы усмотреть это расположение; если же они ни в коем случае не могут быть расположены таким образом, значит, у меня недостает мудрости для того, чтобы извлечь из них то, что находится за пределами их природы.

Третий способ воздействия несовершенен лишь в том случае, если куски металла могут быть прилажены так, что они будут отбивать время сами по себе. В данном случае способ этот не лишен мудрости, ибо, согласно предположению, он требует от вещей только того, на что они способны; но ему недостает ума для того, чтобы заставить их выполнить мой замысел, как это возможно, силами одной лишь собственной природы. Всегда требуется больше умения для создания механизма, исполняющего ваш замысел, чем для того, чтобы не создать его, когда создание его вполне возможно.

До того как создан механизм, который я желаю создать, я не могу действовать более совершенным способом, чем способом воздействия, безразличного к природе объектов: ибо, если объекты будут сопротивляться некоему расположению, мне, заставляющему их принять это расположение, будет недоставать мудрости; но, так как я предполагаю, что объекты эти безразличны к любому расположению, воздействие мое всегда будет безразличным по отношению к их природе. Мое воздействие предопределяется моим замыслом.

Однако коль скоро механизм создан, я должен впредь действовать лишь точно в соответствии с его природой.

Итак, на примере этих трех способов воздействия вы видите то, что мы и предположили, а именно что простого единообразия недостаточно для того, чтобы сделать воздействие совершенным; для этого необходимо, чтобы единообразие предполагало мудрость и разумение.

Заметьте также, что воздействие не становится более совершенным от большего его единообразия, если в этом единообразии нет разума и мудрости.

Я полагаю невозможным, чтобы механизм отбивал время сам по себе. Следует, чтобы я каждый раз запускал его своей рукой. В этом воздействии есть свое единообразие, заключающееся в том, что я всегда действую в соответствии с моим замыслом и вопреки природе моего объекта.

Я поручаю человеку, который (хоть я и отлично знаю, когда нужно завести часы для боя) никогда не пропустит момента и даст мне знак в нужную минуту подойти к часам; и я потом говорю: «Вот, мое воздействие таким образом стало более единообразным и, следовательно, более совершенным: ведь я всегда действую по знаку этого человека!» Прав ли я?

Разумеется, нет. Новое единообразие моего воздействия не предполагает у меня большей мудрости; я тем не менее все-таки требую от моего механизма того, на что он не способен. Единообразие это не предполагает во мне большего разума, потому что природа упомянутого человека не имеет никакого отношения к часам: он подает мне знак лишь потому, что я этого хочу; совершенно очевидно следующее: то, что я этого захотел, не делает меня более умелым. Понимание этого введенного мною без необходимости и тем самым произвольного отношения не делает меня более умным; а тот факт, что я ввел его без необходимости, делает меня менее мудрым. Вот все, к чему приводит новое единообразие моего воздействия.

Поскольку под выражением «всеобщие воздействия» или «всеобщие законы» смутно и в целом подразумеваются воздействия, обладающие единообразием, сообщающим им большее совершенство, и при этом четко не разъясняется, в чем заключается это совершенство, я полагаю, что мы можем определить всеобщие

воздействия или всеобщие законы как такие, которые способствуют воплощению замысла в соответствии с природой объекта, причем природа объекта, как таковая, требует того же, чего требует и сам замысел.

Таким образом, частные воздействия или законы будут теми воздействиями и законами, которые воплощают замысел вне или вопреки природе объекта: это понятно само собою.

К этому надо добавить третий вид воздействий или законов, о которых до сих пор еще никто не подумал, хотя они вполне могут служить разъяснению нашего вопроса. Мы назовем их посредствующими воздействиями или законами: это те воздействия, которые содействуют воплощению замысла способом, безразличным к природе объекта.

Очень легко применить к богу и его деяниям эти определения и приведенные нами выше примеры. Таким образом, вся наша проблема разрешается с помощью некоей аллегории.

В намерения бога входит, чтобы движения сталкивающихся между собою тел переходили от одного тела к другому.

Однако, согласно природе тел, это никогда не может случиться: ведь по своей природе они не имеют никакой силы взаимного воздействия.

И вот бог требует от тел чего-то превосходящего их природу. Таким образом, он впадает в одну из двух несообразностей частного закона, суть которого заключена в том, что, согласно ему, замысел не соразмеряется с природой объекта.

В нашем примере это соответствует моему замыслу заставить механизм отбивать время при том, что я предполагаю, будто невозможно, чтобы механизм его отбивал.

В отношении бога несообразность эта еще гораздо более велика, чем та, в которую впадал я. Пусть мои намерения и выходят за пределы природы кусков металла — но ведь это не я дал им эту природу. Что же касается бога, то сущности вещей основаны на его собственном существе: они таковы потому, что такова сущность бога, которая необходима. Однако совершенно нелепо, чтобы божественная мудрость, осуществляя

свои замыслы, требовала от вещей большего, чем в них заложено благодаря причастности божественной природе, предопределившей их существо. Нелепо, чтобы их природа, предельно совершенная, в то же время оказывалась бы настолько несовершенной, что была бы не в состоянии способствовать воплощению замыслов бога, или же, наоборот, чтобы замыслы бога оказались столь исключительными, что их воплощению не могла бы способствовать природа вещей, несмотря на все ее совершенство.

На случай если бы, согласно природе тел, их движения не могли усиливаться или ослабляться при столкновении, бог должен был бы питать замысел, воплощение которого позволяло бы телам постоянно сохранять одно и то же количество движения независимо от того, сталкиваются ли они между собой или нет. В этом случае бог действовал бы, прибегая ко всеобщему закону.

Вы скажете, что в самой природе тел заключено свойство быть движимыми — то больше, то меньше, — согласно тому, чего пожелает бог.

Правильно: это заключено в их природе, если рассматривать тела просто, как таковые, — как части индифферентной материи, всегда имеющей большее или меньшее движение. Но если рассматривать тела как части механизма, то в их природе заключено свойство не принимать неравномерного движения — то быстрого, то более медленного — без того, чтобы этого требовало устройство механизма.

Если механизм, после того как он получил движение, не может отбивать время и я вынужден своей рукой заставлять его это делать, я в этом случае действую посредством частного закона и вопреки природе этого механизма, который стремится отречься от всего, что естественным образом может вытекать из приданного ему мною устройства.

Но если я беру два куска металла, не имеющие между собой никакой связи и никакого отношения, которое делало бы их частями целого, и ударяю один из них о другой столько раз, сколько соответствует данному часу, то в этом случае я действую с помощью посредствующего закона, ибо эти два куска металла

остаются в том состоянии, при котором они индифферентны к любому виду движения, какой я им пожелал бы сообщить.

Если считать тела просто материей, то бог воздействует на них лишь через посредствующий закон, когда он приводит их то в более слабое, то в более сильное движение. Но ведь материальный мир, согласно идее всех философов, и особенно картезианцев, это механизм. Следовательно, бог должен был придать всем частям этого механизма первичное движение, столь неравномерное, сколь ему только было угодно — это не имеет значения: до сих пор тела индифферентны. Однако необходимо, чтобы все то, что в дальнейшем будет происходить в этом механизме, происходило бы в зависимости от данного устройства механизма и исключительно в соответствии с природой составляющих его частей. Но совершенно невозможно, чтобы в силу данного устройства и в соответствии с природой тел движения одних тел усиливались бы, а других — ослаблялись: ибо, согласно предположению, в телах самих по себе не заключено никакой двигательной силы и, разумеется, никакое устройство не может ее им придать. Значит, усиление и ослабление движения тел противно их природе постольку, поскольку они являются частью механизма. Значит, это усиление и ослабление движения происходит благодаря частному закону.

Особенно ясный знак частного закона несут на себе соотношения, установленные богом при передаче движения [от одного тела к другому]. Например, естественным свойством двух тел, какими бы неодинаковыми они ни были, является одинаковое сопротивление третьему телу при столкновении с ними, а также одинаковая устойчивость, поскольку это третье тело обладает не большей силой для смещения одного из них, чем для смещения другого.

Между тем бог, устанавливая соотношения сил движений при их передаче [от тела к телу], пожелал, чтобы большое тело оказывало другому телу большее сопротивление, чем маленькое, и чтобы его труднее было сотрясти. Таким образом, он определил этим двум телам равенство, противное их природе.

В целом вы отлично видите, что, поскольку передача движения вовсе не является естественным свойством тел, соотношения, имеющие место при передаче движения телами, не могут зависеть от природы этих последних: ведь свойство передачи движений — это необходимое основание для установления соотношений при передаче движений.

Итак, бог не может установить эти соотношения, если он действует вне или вопреки природе тел, то есть, иначе говоря, если он действует посредством частных законов.

Мало того, всякий раз, как бог, так сказать, осуществляет на практике установленные им правила, он опять-таки действует посредством частных законов; ибо осуществление, пусть и единообразное, того, что противно природе объектов, всегда нарушает, хоть и единообразно, природу этих объектов.

Пусть столкновение [двух тел] будет, сколько вам угодно, *случайным поводом*: это все равно ничего не дает; это тот же самый человек, который делает мне знак, чтобы я отбивал время. При этом я все равно действую вопреки природе моего механизма всякий раз, как я заставляю его звучать. Более того, я признаю, что действую единообразно; однако мы видели, что единообразие это, не проистекающее ни от большой мудрости, ни от большого ума, ничего не прибавляет к совершенству воздействия и потому даже порочно в своей бесполезности.

Не буду повторять по поводу столкновения то, что я сказал относительно этого человека; я предпочитаю показать вам все это в обобщенном виде.

Припомните, пожалуйста: мы показали, что единообразие само по себе вовсе не обладает совершенством; совершенно лишь единообразие в чем-либо совершенном.

Припомните также, что действие, способствующее воплощению замысла, не обладает единообразием, делающим это действие более совершенным, чем то, которое постоянно согласуется с природой объекта.

Действие это всегда несовершенно (хотя оно и единообразно), если оно постоянно направлено против природы объекта; либо оно всегда индифферентно, если

предположить, что оно может соответствовать природе объекта.

Если между силой, действующей одним из этих двух несовершенных способов на объект, и объектом, на который она действует, поставить *случайный повод*, будет ли этим возмещено несовершенство воздействия? Отнюдь. Ибо несовершенство это заключается в том, что воздействие не соответствует природе объекта. Этот *случайный повод*, который именно в силу того, что он случаен, может иметь лишь произвольное, а ни в коей мере не естественное отношение как к действующей силе, так и к объекту, на который она действует, безусловно не внесет в это воздействие ничего такого, что приблизило бы его к природе объекта. Он может внести в это воздействие новое единообразие: но, поскольку он никак не изменяет отношение воздействия к объекту, воздействие всегда остается индифферентным или частным, хотя оно и единообразно.

Создатели системы окказионализма ошибаются, выдавая нам воздействие за всеобщее на том основании, что оно единообразно.

Единообразие включает в себя лишь постоянную длительность одного и того же отношения — каким бы оно ни было — между воздействием и объектом. Всеобщность же — если так можно выразиться — заставляет это отношение быть сколь возможно совершенным. Подобная двусмысленность пронизывает сочинения картезианцев от первой строки до последней.

На самом же деле, если это новоявленное единообразие, которое *случайный повод* придает воздействию, не способствует тому, чтобы воздействие получило более совершенное отношение к природе объекта, то тем более оно не способствует большему совершенству отношения воздействия к замыслу: ведь замысел отлично может быть воплощен и без *случайного повода*; наоборот, часто, как утверждают картезианцы, он благодаря *случайному поводу* получает худшее воплощение. Таким образом, это новое единообразие представляется по крайней мере абсолютно излишним, и, следовательно, его ни в коем случае нельзя допускать, когда речь идет о деянии бога.

Здесь-то и есть, как я полагаю, слабое место системы окказионализма и узел всех противоречий, возникающих по данному вопросу.

Итак, если предположить, что тела сами по себе не обладают никакой движущей силой, бог все-таки не должен был учреждать никакого толчка в качестве *случайного повода* для сообщения движения телам; и, даже если бы он его учредил, его воздействие от этого не стало бы менее частным, ибо оно всегда шло бы наперекор либо природе механизма, приданного богом всей материи, либо собственной природе тел, как мы это показали выше.

При подобной гипотезе относительно собственной несостоятельности тел бог, мне кажется, может воздействовать [на тела] самым совершенным образом лишь через посредствующие законы. Он вовсе не должен был учреждать толчок как *случайный повод* — это ничего бы ему не дало; он не должен был также прилаживать тела друг к другу в виде общего механизма — ведь он ничего не смог бы из этого механизма извлечь; он должен был просто оставить их в состоянии индифферентности по отношению к любому движению и сообщать им неравномерное движение в каждый отдельный момент в соответствии со своим замыслом.

Если бы я не мог создать механизм, который отбивал бы время, я не стал бы забавляться тем, чтобы смастерить механизм, ни на что не годный; я также не прибегнул бы к человеку, знаки которого служили бы для меня *случайным поводом*, ибо я сам отлично бы знал, когда именно нужно заводить часы для боя; я заставлял бы их бить при помощи двух кусков металла — тогда, когда это было бы нужно: это самое лучшее из того, что я мог бы сделать. Неужели я нарочно придал бы этим кускам металла вид механизма, чтобы сделать мое воздействие частным вместо посредствующего, иначе говоря, чтобы сделать его менее совершенным?

Разумеется, бог также не стал бы этого делать; а поскольку он организовал материальный мир как механизм, его воздействие не является ни посредствующим, ни частным. Однако для всеобщности этого воздействия необходимо, чтобы тела по самой своей

природе обладали движущей силой, которая действовала бы пропорционально различному их объему и скорости движения, и чтобы бог с самого начала сообщил им движение и устроил бы их таким образом, что одни только естественные соотношения в их движениях могли бы всякий раз приводить к тому, что задумал бог. А ведь для этого богу стоит лишь постоянно сохранять одно и то же количество движения в массе материи: никакое воздействие не может быть более всеобщим, чем это, или предполагать в своей основе большую мудрость и разумение.

*Глава VI. Как представляется,
система окказионализма
приписывает богу не более
могущества, чем общераспростра-
ненное учение о движущей
силе тел*

Защитники окказионализма, как кажется, весьма гордятся тем, что в их системе единственным двигателем [всего] выступает бог и только он один владеет силой движения. Однако мне кажется, что это преимущество будет у нас с ними общим, если только ясно изложить общераспространенную систему силы тел. Правда, я не знаю, признают ли философы, поддерживающие эту систему, тот оборот, который я собираюсь ей придать.

Достоверно, что существование тварей — это подлинное существование, действительно отличное от существования бога; однако это не противоречит ни величию бога, ни его суверенитету. Точно так же не должно противоречить его суверенитету и величию то, что твари обладают движущей силой, действительно отличной от божественной. До сих пор [в той и другой системе] все совпадает; и все, что вы мне можете возразить относительно движущей силы тварей, я верну вам в качестве возражения против их существования.

Но как существование тварей, будучи зависимым и причастным [божественному существованию], характеризуется тем, что оно бесконечно ниже этого последнего, так и их движущая сила должна characterizo-

ваться тем, что она бесконечно ниже движущей силы бога.

Это легко обнаруживается. Движущая сила бога — такая сила, с помощью которой он производит движение, до тех пор не имевшее реального существования; что же касается движущей силы тварей, то это такая сила, с помощью которой они заставляют переходить от тела к телу движение, уже реально существовавшее и не произведенное ими самими. Движения бога и его тварей можно сравнить со свечением Солнца, с одной стороны, и с прозрачными или отражающими свет телами — с другой.

Когда какое-нибудь тело посылает в определенное место свет благодаря преломлению и отражению световых лучей, оно не само по себе освещает данное место: свойство это принадлежит только Солнцу, единственному источнику данного света.

Но тело, о котором идет речь, тем не менее является — именно в силу своей природы — *истинной причиной* того или иного направления этого света.

В этом сравнении есть одно несоответствие: в то время как воздействие Солнца естественно детерминировано необходимостью излучать свет по одной и той же прямой линии, прозрачное либо темное тело, заставляющее солнечный луч принимать иное направление, кое-что изменяет в воздействии Солнца; что же касается божественного воздействия, производящего движение, то оно детерминировано лишь необходимостью производить такое-то количество движения во всей массе материи, а вовсе не необходимостью производить определенное количество движения в каждом отдельном теле; следовательно, тела, всего только передающие свое движение другим отдельным телам, ничего не изменяют в воздействии бога — постольку, поскольку оно детерминировано.

Именно в этом и заключается ответ, который я обещал дать на рассуждение отца Мальбранша, изложенное в главе III. Если бы творения бога могли что-то изменять в его детерминированном воздействии, это было бы недостойным бога и значительно превышало бы возможности тварей: например, если бы они могли что-нибудь изменить в детерминированном воздействии

бога, с помощью которого он производит и сохраняет совершенно определенное количество движения материи в целом. Однако твари могут, не выходя за пределы своей неизменности и не нанося оскорбления божественному могуществу, кое-что изменять в недетерминированном, индифферентном воздействии, не предполагающем ничего абсолютного и твердо фиксированного, т. е. в том воздействии бога, с помощью которого он сохраняет такое-то количество движения в каждом отдельном теле.

Наша излагаемая здесь идея относительно движущей силы тварей в совершенстве согласуется с принципом, который, как мы полагаем, лежит в основе этой силы; мы имеем в виду непроницаемость. Вам ведь ясно, что непроницаемость не может повлечь за собой возникновение движения, не имевшего ранее существования: наоборот, в результате непроницаемости возникает передача движения от одного тела к другому. Именно в силу этого следует признать тела *истинными причинами*.

Таким образом, в нашей системе бог является единственным двигателем не меньше, чем в системе окказионализма; но мне кажется, что наша, общераспространенная, система, совпадающая с системой окказионализма в этом отношении, превосходит последнюю по всем остальным разобранным нами пунктам. Призываю в свидетели этого всех тех, кто не питает относительно новых мнений предубеждения в пользу древних, в котором другие пребывали столь долго и столь смехотворным образом. Истина не имеет ни молодости, ни старости. Миловидность юности не должна вызывать к ней более сильной любви, как и морщины старости не должны заставлять нас питать к ней большее уважение.

Размышления² о книге,
выпущенной в Роттердаме
в 1686 году и озаглавленной
«Сомнения по поводу
физической системы
окказионализма»

Некоторое время тому назад вышла в свет небольшая книжка под заголовком «Сомнения по поводу

физической системы окказионализма». С самого начала автор обнаруживает весьма благородные намерения и своей скромностью заслуживает того, чтобы ему ответили. Я охотно беру на себя эту обязанность, как ради него самого, так и ради тех, кто, не уделив времени исследованию этого вопроса, может дать ослепить себя доводами, кажущимися с виду довольно точными.

Возможно, автор получит и другие ответы, которые окажутся более ценными, чем мой; но, как мне представляется, довольно легко понять, что если такой человек, как я, хорошо понял сказанное отцом Мальбраншем, то не найдется никого, кто не смог бы понять его также — если только пожелает уделить этому предмету необходимое внимание.

*Ответ на предложенные
сомнения*

*По поводу первого
сомнения*

Совершенно ясно, что автор этих сомнений с самого начала выдвигает относительно движения тел предположение, которое само находится под вопросом. Он допускает, что движение тел может предшествовать велению бога. Увы! Возможно ли это? Если желанием бога было просто создать материю, значит, она должна находиться в вечном покое; для того чтобы она получила движение, надо было, чтобы бог кроме воли к ее сотворению имел бы также волю к приведению ее в движение.

Для того чтобы хорошенько это понять, надо знать, что тела существуют лишь в силу того, что этого хочет бог, и продолжают существовать лишь потому, что бог продолжает этого хотеть. Если бы бог перестал желать, чтобы они существовали, они прекратили бы свое существование; ибо если бы следовало, чтобы бог обладал позитивной волей, направленной на их разрушение, то следовало бы также, чтобы пределом этой воли было небытие: а это, безусловно, недостойно бога. При таком предположении очевидно следующее: покой тела есть

не что иное, как его созидание, длящееся в одном и том же месте; движение тела — это его созидание, длящееся последовательно в различных местах.

Что же должно произойти, если с одним телом, находящимся в покое, столкнется другое, находящееся в движении? Совершенно ясно: поскольку ничто не может противостоять воле бога, второе тело не сможет сдвинуть с места первое и отскочит от него, по крайней мере если бог не пожелает по поводу столкновения заставить их передвинуться вместе. Без сомнения, бог имел возможность установить и другие законы сообщения движения, а не только те, что нам очевидны. Однако, как мне кажется, мы должны рассуждать исходя из того, что мы видим. Два тела движутся и сталкиваются между собою; их движение распределяется между ними пропорционально их объему; ничто не может усилить или ослабить движение тела без вмешательства бога, согласно данному нами определению движения и покоя. Итак, столкновение, которое мы наблюдаем, необходимо является всего лишь *случайным поводом* к движению тел.

Я не постигаю, каким образом божественная воля созидает тела или приводит их в движение. Но опыт подсказывает мне, что существуют тела, находящиеся в движении, и я усматриваю необходимую связь между божественной волей и ее действием. Этого мне достаточно: я вовсе не обязан верить в то, что тела обладают движущей силой, которая является их неотъемлемым свойством; разум и вера предоставляют мне полную свободу выбора по этому пункту, но не в вопросе относительно существования тел.

По поводу второго сомнения

Автор ошибается также относительно простоты путей бога, забыв обратить внимание на то, что великим замыслом бога является вечный храм — церковь будущего, которая вечно должна быть объектом его забот. Сегодняшний мир не является, собственно говоря, его целью; он создал его всего лишь затем, чтобы извлечь из него составные части, подходящие для здания небес-

ного Иерусалима, постройку которого он закончит вопреки всей беспорядочности тел и умов: беспорядочность эта проистекает из простоты путей бога, но она вовсе не препятствует воплощению его главного замысла. Напротив, она в определенном смысле способствует этому воплощению, поскольку бог, с помощью своих мудрых комбинаций, включает всевозможные действия в порядок своего провидения.

Бог всемогущ, и потому он полностью воплотит свой замысел. Он мудр, и потому он воплотит его самым простым путем: ибо простота способов воплощения делает честь его мудрости. Для чего стал бы он усложнять свои произволения с целью, например, преобразовать монстров, которые, как таковые, то есть уродливые сами по себе, вовсе не вредят его замыслу, а, наоборот, по принципу противоположности, заставляют яснее проявляться красоту Вселенной?

Почему стали бы говорить — как это обычно и говорят, — что бог попустил существование монстров, если бы он создал их в соответствии с частным замыслом или если бы они не были следствием простоты его путей? Иначе говоря, если бы не нужно было относить эти недостатки за счет *случайных поводов*? Ведь лишь с их помощью бог может действовать просто, ибо именно благодаря им он может совершить с помощью единой воли то, что без них он мог бы выполнить лишь с помощью многочисленных произволений.

Правда, бог имел возможность, образуя свои пути, создать более совершенное творение; но ведь его творение заслуживало меньшего внимания, чем его мудрость, которая несомненно обязывала его не усложнять свои пути, если и без этого он мог создать достойное себя творение. Я не буду объяснять это дальше. Можно получить вполне ясное представление об этом по книгам отца Мальбранша.

*По поводу третьего
сомнения*

Пространные рассуждения автора о единообразии действий бога ясно показывают, что он не понял, в чем это единообразие состоит. Если я не ошибаюсь, оно

состоит в том, что бог, постоянно действуя одинаковым образом, постоянно производит действия, прямо или косвенно способствующие воплощению его замысла.

Различные столкновения детерминируют общую волю бога к тому, чтобы производить различные виды движений; а благодаря этим различным движениям, являющимся не чем иным, как действием одной и той же единой воли, мы постигаем бесконечное количество различных вещей. Воздействие это единообразно. У меня всегда есть определенные ощущения, соответствующие определенным движениям, происходящим в моем теле, и, согласно различным изъявлениям моей воли, бог постоянно передвигает с места на место мои жизненные духи таким способом, который соответствует желаемому мною движению. Этому воздействию, несомненно, свойственно единообразие. Можно ли назвать это единообразие простотой? Нет, но оно является следствием простоты [воздействия бога]. Простота эта заключается в том, что используется весьма мало средств для исполнения желаемого, единообразие же — в том, что действие всегда или почти всегда производится одинаковым способом: именно это в совершенстве представлено тем, что называют системой окказионализма.

По поводу четвертого сомнения

Четвертое сомнение автора заключается в следующей мысли: бог дает существование телам; значит, он мог также вложить в тела движущую силу. Однако следствие такого рода недостаточно обосновано. С потенцией дело обстоит иначе, чем с существованием. Давая телам существование, бог ничего не умаляет в своей славе; но, если бы он дал им истинную потенцию, он дал бы им возможность разделить его славу. Я бы хотел, чтобы он мог это сделать: однако, быть может, он этого и не сделал. Когда мы исследуем, что же это такое — движущая сила, мы не сталкиваемся ни с малейшим признаком, который свидетельствовал бы, что бог вложил ее в тела. Ведь эта движущая сила должна была бы быть либо модусом, либо субстанцией. Если бы это была субстанция, нужно было бы, чтобы

одна и та же субстанция либо была поделена между бесконечным числом тел, либо чтобы в каждый данный момент создавалось бесконечное число субстанций подобного рода: то и другое одинаково нелепо. Если движущая сила — это модус, здесь содержится противоречие, заключающееся в том, что она передается от одного тела к другому: ведь модус — это всего только субстанция того или иного свойства. Таким образом, следует вернуться к сказанному выше, а именно к тому, что движущая сила есть не что иное, как воля творца, который в случае столкновения двух тел непременно сообщает им движение.

Кроме того, судить я могу только о том, что я вижу; выводы же я могу делать лишь относительно того, что я понимаю. Но ведь когда два тела сталкиваются между собою, я вижу только толчок. И потому я могу вынести суждение лишь о том, что эти два тела между собою столкнулись. Я постигаю необходимые связи лишь между божественными произволениями и их действиями. Поэтому я могу признать один только этот принцип, прекрасно устроенный и проверенный, состоящий в том, что одна лишь божья воля есть движущая сила тел; и естественно, что из всякого иного принципа можно с легкостью извлечь как раз весьма пагубные следствия.

Итак, автор должен иметь в виду, во-первых, что нет никакой необходимости, для утверждения системы окказионализма, знать, каким образом бог дарует своим творениям существование;

во-вторых, что бог не может иметь иной цели, кроме самого себя, и потому он не мог действовать иначе как во имя собственной славы;

в-третьих, что мудрость замысла заключается не в том, чтобы воплотить его полностью, а в том, чтобы довести его до совершенства наиболее простыми путями: что же касается полноты воплощения замысла, то это бывает результатом могущества;

в-четвертых, что у бога нет иного замысла, кроме построения вечного храма, и что при этом он пользуется особыми, исключительными путями лишь в тех случаях, когда обычные пути не способствуют воплощению его замысла или того, что он осознает себя обязанным

сделать: ведь порядок, посредством которого он все соотносит с самим собою,— это закон, которому он нерушимо следует;

в-пятых, что единообразие воздействия бога — это единообразие разумения и мудрости: поэтому он не может не предвидеть все детерминации движения тел и произволеней жизненных духов, а также действия всего этого: именно после такого предвидения он установил законы, которым так неуклонно следует,— те самые всеобщие законы, весьма хорошо постижимые, которые вносят в его воздействие максимальное единообразие;

в-шестых, что в природе тел не заключено обладание движущей силой, ибо эта последняя имеет своим истоком лишь божью волю; тела по своей природе могут быть движимы бесконечным числом способов, ибо движение какого-либо тела есть не что иное, как такое-то состояние данного тела. Таким образом, сообщая телам движение, бог не предъявляет им никаких сверхъестественных требований;

в-седьмых, что пример, который приводит автор — тело, посылающее свет путем его преломления или отражения,— разрушает всю его аргументацию, ибо упомянутое тело просто состоит из частей, расположенных таким образом, что расположение это детерминирует проекцию лучей в определенном направлении — так же точно, как толчок детерминирует волю бога;

наконец, в-восьмых, что всегда следует проверить смысл утверждений какого-либо автора, раньше чем делать ему возражения: в противном случае все рассуждение оппонента окажется бесполезным; и, поскольку в таком случае обычно приходится сражаться лишь с призраками, все, что при этом говорится, оказывается галиматьей. Маленькая книжка, на которую я отвечаю, являет тому отличный пример. Автор сам допустил, чтобы ему это сказали: он далеко не всегда сохранял скромный вид, который принял в начале своего сочинения. Если питаешь искреннее намерение что-либо познать, никогда не надо впадать в дидактический тон и еще менее следует подражать некоторым философам, не терпящим того, что философия приближает их к богу, и желающим под видом ложной почти-

тельности скрыть отсутствие вкуса к тому, что должно быть единственным объектом наших усилий.

Письмо автора «Сомнений»
господину***, написанное
с целью дать ответ на одно
из предложенных ему возражений

Я бы не хотел, месье, даже ради всей метафизики мира, упрекать Вас в том, что Вы дали ответ на одно из моих доказательств. Было бы в высшей степени смешно, если бы абстрактный, умозрительный вопрос относительно системы *случайных поводов* был вправе возбуждать бури и страсти в человеческом сердце: когда же, наконец, станем мы хладнокровными? Иногда, видя, как наши великие люди язвительно препираются между собой и, что еще хуже, проявляют при этом очень мало добросовестности и чистосердечия, я восхищаюсь их способностью рассуждать и испытываю жалость к самому их рассудку. Они говорят о философии, но говорят при этом не так, как должны это делать философы.

Вы утверждаете, что я сделал сомнительное допущение. Я не стану педантично отвечать на все то, что Вы пишете: это вызвало бы к жизни спор, в котором читающая публика ничего бы не поняла и в котором, быть может, мы сами не поняли бы друг друга. Будет лучше, если я представлю в новой форме, могущей предвосхитить Ваше возражение, доказательство, которое Вы считаете ложным в моей книге «Сомнений».

Поскольку, согласно теории отца Мальбранша и Вашей, у тел нет никакой силы, которая могла бы передавать от одного тела к другому, при их столкновении, движения, полученные ими от бога, и поскольку из-за этого нужно было, чтобы бог учредил *случайный повод* для сообщения движения телам, он мог учредить в качестве такого случайного повода что-либо иное, а не обязательно толчок: ничто ведь не может быть *случайным поводом* к чему бы то ни было по самой своей природе. Наоборот, *случайный повод*, как таковой, может быть только учрежден.

Итак, я предполагаю следующее: пусть бог, вместо того чтобы учреждать толчок в качестве *случайного повода* для передачи движений, учредит такой *случайный повод*, как взаимное расхождение двух тел на определенную дистанцию друг от друга — например, на расстояние отрезка, представляющего собою среднее пропорциональное между диаметрами этих двух тел. Тогда весь порядок материальной Вселенной будет основываться на этом новом принципе.

Итак, если далее я начну исследовать вопрос о *случайных поводах* согласно методу, которого я придерживался в главе III моих «Сомнений», то я спрошу: «Действительно ли является расхождение между собой двух тел на указанную дистанцию *случайным поводом* для взаимной передачи движения?» И для того чтобы выяснить этот вопрос, я предположу, что, до того как бог издал повеление, согласно которому было учреждено это предполагаемое взаимное расхождение двух тел как *случайный повод* для передачи ими друг другу движения, бог просто пожелал сдвинуть с места два тела, *A* и *B*, поскольку ничто вне него самого этому не препятствовало.

И тогда я найду, что два тела, *A* и *B*, в течение целой вечности будут двигаться без всякого изменения. И сколько бы я ни понимал, что они расходятся между собою на расстояние, являющееся средним пропорциональным между их диаметрами, я никогда не постигну, что это расхождение имеет какую-либо естественную и необходимую связь с изменением в их движениях.

Вывод мой будет следующим: значит, это расхождение является действительным *случайным поводом* для передачи движений, поскольку до того, как бог снабдил его этим качеством, которое, таким образом, являет результат установления бога, расхождение это само по себе не имело никакой связи с передачей движений.

Примените это рассуждение к толчку и Вы обнаружите нечто прямо противоположное.

Бог, до того как он учредил толчок в качестве *случайного повода* для передачи движения, пожелал передвинуть два тела, *A* и *B*, при указанных мною выше условиях; обратите особое внимание на то, что я раньше недостаточно подчеркнул: он хочет их передвинуть

постольку, поскольку ничто вне его этому не препятствует. И заметьте себе хорошенько, если Вы не возражаете, что можно предположить, будто бог издал повеление относительно движения двух тел без того, чтобы издать повеление о взаимной передаче ими своих движений, поскольку первый из этих двух актов вовсе не подразумевает второго.

A и *B* столкнутся между собою. До сих пор все это может происходить в силу простого веления о приведении в движение тел *A* и *B*.

Но с момента столкновения, как я предполагаю, должна возникнуть абсолютная необходимость изменения [в движении этих тел], каким бы это изменение ни было.

Эта необходимость изменения движения возникает не по воле бога, ибо, согласно нашему допущению, он продолжает передвигать *A* и *B* прежним образом, если этому не препятствует ничто находящееся вне его: она возникает в силу природы самих тел, их непроницаемости, которая абсолютно противостоит продолжению движения *A* и *B* в прежней форме.

Итак, между природой *A* и *B* существует необходимая связь, и изменение [в движении] необходимо наступает, какого бы рода оно ни было.

Природа тел, или их столкновение — что в конце концов одно и то же, — будет, таким образом, *истинной причиной*, а не *случайным поводом* этого изменения.

Именно таким было мое рассуждение в «Сомнениях»; оно только становится более ясным и выпуклым благодаря воображаемой мною параллели между столкновением и расхождением на определенное расстояние и т. д. Прошу Вас, обратите пристальное внимание на эту контрастную параллель и исследуйте прилежно, откуда проистекает различие. Прошу Вас также поместить в том же журнале, где Вы все это напечатали, Ваш последующий ответ и точно указать мне, где именно я допускаю ошибку. Возможно ли, что в диспутах спорящие стороны никогда ни в чем не могут достичь согласия? Я желал бы видеть, как это случится хоть однажды в моей жизни, пусть даже это совершится за мой собственный счет,

Размышления³ по поводу Письма автора «Сомнений»

Если бы бог учредил *случайный повод* к передаче движения, состоящий в отдалении тела *A* от тела *B* на расстояние, соответствующее среднему пропорциональному между диаметрами тела *A* и тела *B*, постоянно происходило бы следующее: тело *B* приходило бы в движение всякий раз, как тело *A* проходило бы средне-пропорциональное расстояние, но весь свет не упустит при этом случая сделать вывод, что подобное отдаление тела *A* является *истинной* и действительной физической *причиной* движения тела *B*.

Это подтверждается примерами магнита и всех прочих игрушек схоластов. В течение нескольких веков эти последние учили нас, что магнит заставляет двигаться железо именно в качестве физической причины этого движения, без вмешательства какого-либо толчка и без того, чтобы хоть как-то учитывалась непроницаемость материальных тел: ведь схоласты утверждают, что физическое свойство, придаваемое магнитом железу, как бы перемешивается с этим последним.

Итак, у бога не было более сильного и верного средства убедить людей в том, что тела не являются причинами движения, как учредить указанное выше расхождение тел между собою в качестве *случайного повода* для передачи движения: это было бы гораздо лучшим средством убеждения, чем возводить в ранг *случайного повода* столкновение тела.

Все это показывает нам, сколь мало бывают обоснованы свидетельства чувств: ибо, поскольку (как это правильно признает автор) отдаление какого-либо из тел на предполагаемое расстояние не может быть *истинной причиной* движения другого тела, но может представлять собой лишь *случайный повод* к нему; поскольку между тем люди должны быть абсолютно убеждены в том, что одно из этих тел физически сдвинуло с места другое — точно так же, как они верили, не имея возможности заметить никакой материальной эманации из магнита, в то, что он с расстояния сообщает движение железу, — поскольку, говорю я, дело обстоит таким образом, можно сделать вывод, что все

люди — рабы своей природы: они получили известные уроки естествознания, позволяющие им заключать, что все, как правило связанное с данным действием и без чего данного действия не бывает, является *истинной его причиной*.

Таким образом, можно понять, какое значение надо придать тому факту, что мы склонны считать столкновение весьма *реальной причиной* передачи движения, а не просто *случайным поводом*.

После этого замечания, которое было бы совершенно излишним, если бы весь свет обладал таким же точным мышлением, как автор «Сомнений», давайте более подробно рассмотрим выдвинутое им затруднение.

Он делает два предположения, между которыми он в дальнейшем проводит параллель.

Первое из них состоит в том, что, до того как бог издает повеление, которым он учреждает *случайный повод* к такого рода движению, как отдаление тела *A* [от тела *B*] на расстояние, представляющее собой среднее пропорциональное между диаметрами тел *A* и *B*, он может пожелать просто сдвинуть с места два тела, *A* и *B*, поскольку ничто вне его этому не препятствует.

Второе допускаемое автором предположение состоит в том, что бог до того, как он повелел столкновение в качестве *случайного повода* к движению, возымел желание сдвинуть с места два тела — *A* и *B*, — поскольку вовне ничто этому не препятствует.

При первом предположении автор находит, что два тела, *A* и *B*, движутся целую вечность без всякого изменения и следует считать, что они движутся друг по отношению к другу на расстоянии дистанции, представляющей собой среднее пропорциональное между их диаметрами; автор при этом считает совершенно невозможным, чтобы такое отдаление одного тела от другого имело естественную и необходимую связь с изменениями в их движении.

Отсюда он делает вывод, что это отдаление не может быть учрежденной [богом] причиной движения и случаем, который детерминировал бы решение бога придать движение данным телам. Во всем этом он совершенно прав.

При втором предположении автор находит, что тела *A* и *B* могут столкнуться между собой и что это не может случиться без того, чтобы в момент столкновения не произошло изменение [в их движении], каким бы это изменение ни было.

И снова он совершенно прав.

Необходимость такого изменения, продолжает он рассуждать, возникает не в результате божественного произвола, ибо, согласно предположению автора, бог продолжает в это время передвигать *A* и *B* прежним образом, если ничто вне его этому не противодействует: необходимость изменения проистекает из природы тел — точнее, из их непроницаемости.

И это верно.

Итак, заключает он, существует естественная связь между природой тел *A* и *B* и изменением движения, какого бы рода это изменение ни было. Природа тел, или их столкновение (что в конце концов одно и то же), является, таким образом, *истинной причиной*, а не *случайным поводом* перемены в [движении].

Здесь-то и кроется ошибка. Конечный вывод отвергается, и это приводит почти к двусмысленности: ведь кажется, будто автор утверждает, что причина может быть случайной, в силу противоположности действительной причине, лишь в том случае, когда во власти учредителя есть абсолютная возможность воспользоваться случаем или же не воспользоваться им — каким бы образом то и другое ни происходило. Но мы понимаем это иначе. Для того чтобы какая-либо причина считалась только случайной, достаточно, чтобы она не производила действия и достигала бы лишь детерминации этого действия через действие другого агента; хотя в конце концов причина эта такого рода, что, если агент позволяет ей детерминировать себя к какому-либо действию, он обязан к нему приноровиться и модифицировать свою потенцию в соответствии с этой причиной. Поэтому вполне возможно, что толчок или, иначе говоря, природа тел окажется случайным поводом для передачи движения (и ничем больше), и бог будет обязан ввиду такого случая передвинуть тела определенным образом.

Если мы допустим пустое пространство и повеление бога, с помощью которого он пожелал бы передвинуть тела *A* и *B*, ибо ничто вне его этому бы не препятствовало, мы поймем, что два тела могут вечно приводиться в движение совершенно единообразным способом — всегда по прямой линии, одно, например, в восточном направлении, другое — в западном. Но если бог передвигает их одно по направлению к другому, дабы они в определенном пункте встретились, ему необходимо принять решение либо остановить их оба, либо вообще не останавливать в момент их встречи: здесь нет никакой загвоздки, поскольку два этих термина противоречивы. Если бы он принял решение продолжать передвигать эти тела, необходимо следовало бы, чтобы они передвигались либо рядом друг с другом (под этим подразумевается и положение «верх — низ»), либо отскакивали бы одно от другого, либо, наконец, чтобы одно из них толкало перед собой другое. Но каким бы образом это ни происходило, непременно наступит изменение [в характере движения] — по причине непроницаемости материи.

Почувствует ли при этом бог, что тело является *истинной причиной* продолжающегося движения тел *A* и *B*? Вовсе нет. Другого заключения быть не может, разве только надо сказать, что, поскольку тела по своей природе непроницаемы, это служит для бога детерминацией к продолжению движения скорее в одном направлении, чем в другом.

Мы никогда не утверждали, приписывая одному только богу непосредственный принцип и реальное производство движения, что он может при любых предположениях устанавливать всевозможные законы: ибо здесь заключено противоречие, состоящее в том, что при условии абсолютной заполненности пространства и при том, что материя никогда не выходит за пределы мира, бог создает закон, согласно которому он постоянно передвигает тела по прямой линии.

Все известные нам *случайные поводы* показывают, что, не отнимая у действующих причин ничего из их активности, они принуждают их действовать определенным образом. Колокола и трубы дали людям *случайные поводы* к тысячам действий: но следует ли из этого,

что люди могут с одинаковым успехом пользоваться и колоколами и трубами?

Добавлю, что, если бы рассуждение автора было правильным, из него вытекало бы, что встречающаяся на пути река производит [изменение] движения в путешественнике, который покидает в этом месте прямой путь, для того чтобы поискать переправу — мост или какое-либо судно: ибо в этом примере имеет место все то, что мы видим при столкновении тел *А* и *Б*. Когда эти два тела сталкиваются, в них происходит некоторое изменение. Происходит оно и в путешественнике, встречающем на своем пути реку; и тем не менее река эта не является действенной причиной движения путешественника: она всего-навсего служит ему детерминацией к тому, чтобы он применил свои движущие силы (я разумею здесь общераспространенное учение) для принятия иного направления своего движения. Собственно, то же самое делают сталкивающиеся между собою тела. Их столкновение служит для бога, передвигающего тело, сталкивающееся с другим телом, детерминацией к тому, чтобы применить свою двигательную потенцию иным — в сравнении с прежним — образом: например, применить ее так, чтобы сразу приложить ее к обоим телам — толкающему и испытывающему толчок, — или так, чтобы придать толкающему телу иное направление.

Одно только то, что можно наблюдать на примере взаимно отталкивающихся тел, доказывает, что бог — единственный двигатель материи, ибо, если бы отталкивание тела не производила причина, не желающая, чтобы тело это остановилось, разве оно оттолкнулось бы от другого тела? Разве телу более важно находиться в одном месте, чем в другом? И почему столкнувшись с чем-то, что задерживает его движение, оно не останавливается?

Скажут: это потому, что оно получило движущую потенцию, которая не была исчерпана к тому моменту, как оно столкнулось с другим твердым телом. Отлично; но разве известно этой потенции при том, что она совершенно слепа, что телу лучше повернуть вспять, чем заново нанести удар по встречному твердому телу и тем исчерпать все свои силы? Заботится ли эта потенция о том, чтобы истощиться до конца в воздухе, а не

при ударе об стену? И как случается, что потенция эта иногда обращается вспять в воздушной среде? Почему не способствует она перпендикулярному падению тела и не развивает затем его движение по горизонтали до тех пор, пока оно более не сможет производить движение?

Все это пустяки по сравнению с другими доказательствами, которые могут опровергнуть существование собственной движущей силы в материи: я имею в виду ту движущую силу, которую дал материи бог. И тем не менее я не знаю, можно ли дать достойную отповедь этим пустякам: ведь для того чтобы ответить на эти пустячные вопросы, надо предположить, что движение происходит по определенным законам. Однако создавать законы для ничего не ведающей слепой силы и поручать ей их выполнение — это верное средство никогда не увидеть их исполненными. Значит нужно — поскольку существуют законы движения, исполняющиеся с предельной точностью, — чтобы было всеведущее существо, приводящее эти законы в исполнение, иначе говоря, существо, которое само двигало бы тела, согласно установленным им самим законам.

Этого более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить столь здравомыслящий ум, как у автора «Сомнений», который так мало держится за свои исходные мысли.

Следует заметить, что мое возражение, основанное на зрелом размышлении, возможно обойти, если предположить, как это можно сделать, не нарушая видимости истины, что всякое отталкиваемое тело отталкивается с помощью импульса, сообщаемого ему телом, которое его отталкивает: импульс этот имеет своей причиной упругость частей [отталкивающего тела], которые сжали тело отталкиваемое. Однако в этом случае возражение мое снова обретет свой вес благодаря другому моменту: поскольку верно по крайней мере то, что сжатые части отталкивающего тела вслед за тем вновь занимают свое прежнее место; это предполагает, что их отталкивает на свое место какая-то материя, поскольку ей свойственно двигаться именно в эту сторону.

Если все обстоит таким образом, то из этого следует, что материя имеет детерминацию к движению по определенным законам: а это вновь поднимает во весь рост мое сомнение.

Фрагменты трактата о человеческом разуме

К открытию того, что нам неизвестно, мы приходим лишь с помощью разума, причем наш разум нам столь же неведом, как и все остальное. То, что обыкновенно называют логикой, всегда представлялось мне достаточно несовершенным искусством: с помощью логики вы не можете представить себе, ни какова природа нашего разума, ни какими средствами пользуется он в своих изысканиях, ни каковы границы, положенные ему богом, либо дозволенный ему богом объем, ни, наконец, каковы различные пути к тем целям, которые разум перед собою ставит. Вы представляете себе лишь, из скольких предложений состоит рассуждение, каким образом предложения эти могут комбинироваться, согласно чему они всеобщи или единичны и сколько различных мест может занимать в силлогизме определенный термин, являющийся в нем главным: это довольно пустые и бесполезные изыскания, содержащие в себе мало любопытного, если судить об этом с точки зрения удовольствия, и приносящие славу, быть может, одному только автору, преуспевающему в них с помощью прилежания и определенного хитроумия...

Не всякая идея дает представление. Когда я вижу, как животное движется само по себе, я получаю идею, представляющую мне это самопроизвольное движение.

После того как я увидел, что многие животные двигаются таким же образом, я говорю, что всякое животное движется само по себе. Эта идея отнюдь не дает мне представления о том, что всякое животное движется само по себе, она меня только в этом убеждает.

Невозможно, чтобы она давала мне подобное представление, ибо ни одна идея не может мне дать представления о том, что не существует: а ведь *всякое животное* — это вовсе не то, что реально существует; таким образом, никакая идея не может дать мне представление обо *всяком животном* и, значит, ни о чем из того, что к нему относится.

Видя, как многие животные движутся сами по себе, я полагаю, что все остальные животные, мною не виденные, и, значит, все животные вообще движутся таким же образом; подобная идея убеждает меня в том, что дело обстоит именно таким образом, не давая мне никакого представления.

Если я хочу, чтобы она дала мне какое-то представление, я должен тотчас же посмотреть на какое-нибудь отдельное животное или на группу животных: таким образом, эта идея, какой бы всеобщей она ни была, становится частной.

Вот как в действительности образуются всеобщие идеи.

Мы видим много сходных между собою отдельных вещей. Ум наш, который не может ни видеть их все вместе, ни, если бы даже он их видел таким образом, все их объять, заключает, что те из этих вещей, которые он не видел и которые (как он понимает) имеют ту же природу, все походят на первые, виденные им; и он тотчас же выводит всеобщее предложение.

Таким образом, всякое всеобщее предложение — это сокращенный путь ума, который не может ни видеть, ни объять все частные вещи [одного рода] и объять их одной-единственной идеей.

Отсюда происходит, что идея эта бывает смутной и не дает никакого представления: ведь целью ее не является ничто реальное.

Итак, ни одна универсальная идея не дает представления.

Я полагаю, что у бога вообще нет универсальной идеи. Его безграничное понимание точно охватывает все частности одновременно и не нуждается в том, чтобы производить извлечения и сокращения. Впрочем, он и не может иметь идеи, которая не дает представления ни о чем реальном. А ведь всеобщая, универсальная

идея не может давать представления ни о чем реальном и, следовательно, ни о чем вообще.

Животные имеют только частные идеи, дающие представления, но совсем не могут иметь идей, которые убеждают. Таким образом, их ум может объять лишь то, что он видит.

У людей есть идеи, дающие представления, и идеи, которые убеждают. Таким образом, они могут объять очень многое; но они не могут объять это ясно. Большая или меньшая ясность понимания может дать понятие о бесконечном ряде существ, соответственно занимающих в этом смысле место между богом и животными. Человек — одно из этих промежуточных существ.

Две крайности, как правило, сходятся между собой; и бог и животные имеют идеи, дающие только представление, правда совершенно различным образом.

Итак, вы видите, что универсальные идеи вовсе не более совершенны, чем частные: как раз наоборот.

Обычно идеи, дающие о чем-нибудь представление, называют идеями воображения; те же, что убеждают, носят название идей чистого разума.

Очень верно, что идеи воображения образуются в уме таким образом, что он при этом находится в бездействии и, как кажется, отражает их наподобие зеркала; что касается идей чистого разума, то они возникают в нем благодаря определенному действию нашего ума, который, устав от восприятия большого количества частных идей, начинает предполагать, что все они одинаковы.

Но я не считаю, будто в природе чистого разума заложено, чтобы его идеи не давали никаких представлений. Иначе что сказали бы мы о природе разума бога?

Согласно обычному порядку природы, всем идеям чистого разума предшествуют идеи воображения.

Невозможно иметь идеи, которые убеждают, если им не предшествуют идеи (относящиеся к вещам того же рода), которые дают представление.

Ведь в противном случае мы бы не знали, что означают идеи, которые нас убеждают. Хотя я не видел четырех либо пяти цветов, у меня все-таки может быть идея, убеждающая меня, что может существовать бесконечное число других тонов, представления о которых

я не имел. Но чтобы обосновать эту общую идею чистого разума, мне достаточно иметь несколько частных идей тонов — идей воображения.

Однако если я от рождения слеп и никогда ни одна идея не дала мне представления ни о каком цвете, то никакая идея не может меня убедить, будто цвета вообще существуют.

Итак, любая идея чистого разума основана на идеях, дающих представление.

Итак, всякая универсальная идея основана на идеях частных.

Итак, мне немислимо иметь всеобщую идею относительно вещи, по поводу которой я совсем не имел частных идей.

Наконец, немислимо, чтобы у меня были врожденные идеи аксиом, ибо это идеи всеобщие.

Само собой понятно, что только опыт даст мне относящиеся сюда идеи.

Иначе нужно было бы, чтобы бог, вложивший в наш ум [понятие о том], что целое больше своей части, одновременно вложил бы туда идею о некоем целом и некоей части, о числе и линии и т. д. Ибо без этой частной идеи универсальная идея, не дающая никакого представления, непостижима.

Когда мне говорят слово *беф*¹, мне совсем непонятное, я составляю себе тем не менее идею, которую я обнаруживаю в своем уме, когда я того желаю.

Идея эта не дает мне представления ни о чем реальном, кроме звука *беф*. Это идея всего только одного слова.

Если мне скажут, что *беф* означает «дом», я, воспринимая звук *беф*, увижу в уме дом.

Эта идея дает представление и является идеей какой-то вещи.

Таким образом, звуку *беф* могут соответствовать две идеи: идея слова и идея вещи.

Если предположить, что я знаю еврейский язык и мне говорят *беф*, первая идея, какая при этом у меня возникает, это идея слова: ведь она неотделима от своей материи; в то же самое мгновение я воспринимаю идею вещи. Если я начинаю изучать еврейский язык, то немедленно вслед за идеей, даваемой мне словом *беф*,

ум мой переходит к идее дома, как если бы он хотел сопоставить между собой обе эти идеи и посмотреть, всегда ли идея вещи соответствует идее слова. Если то, в чем меня убеждают, верно для идеи слова *беф*, то это верно и для идеи дома.

Когда я уже хорошо знаю язык и при этом имел неоднократный внутренний опыт, гласящий, что идея слова всегда соответствует идее вещи, я начинаю приобретать привычку прекращать свою мысль на идее слова, не переходя больше к идее вещи.

Ибо заметьте: идею вещи нелегко воспринять, воспринять же идею слова — ничего не стоит.

Я ощущаю, что ум мой проделывает известную работу, когда я хочу представить себе дом, но я не ощущаю никакого труда, когда внутренне произношу про себя *беф*.

Итак, познакомившись с равнозначностью идей слов и идей вещей, наш ум, поскольку идеи слов легче воспринимаются, привыкает впредь оперировать только идеями слов, исключая те случаи, когда, если в том есть нужда, он подменяет их идеями вещей.

Ибо равнозначность идей слов и идей вещей бывает не настолько безупречна, чтобы не вводить нас иногда в заблуждение.

Например, я вполне способен внушить вам положение, что человек, упершийся пятками в стену, может дотронуться руками до земли.

Почему я могу вас на этом поймать? Да потому, что вы воспринимаете только идеи слов, не замечая между ними явного противоречия.

Но если вы перейдете к идее вещей, если вы представите себе то, что я вам говорю, вы увидите, насколько невозможно, чтобы человек, упирающийся пятками в стену, мог коснуться земли руками.

Как мне кажется, сказанного достаточно для того, чтобы понять разницу между идеями слов и идеями вещей.

Разница эта является причиной, по которой

- 1) размышляя, мы в уме разговариваем;
- 2) сколь глубоко бы мы внутренне ни размышляли, каждый размышляет на своем языке;
- 3) умозаключения, делаемые различными народами по поводу одних и тех же вещей, равнозначны, ибо, хотя они были сделаны на основе различных идей слов,

эти различные идеи были затем подменены идеями вещей, которые однозначны;

4) когда мне говорят об армии в тридцать тысяч человек, я понимаю это, не воспринимая какую-либо точную идею множества собранных воедино и вооруженных людей;

5) но если я не верю, что армия в тридцать тысяч человек может находиться в данном месте, я воспринимаю точную идею вещи, дабы лучше ее понять;

6) глухонемые люди имеют более живой ум, чем все остальные, ибо они не имеют никаких идей слов, которые, сберегая усилия ума, делают его в то же время более медлительным и хладнокровным, чем в том случае, если бы он оперировал идеями самих вещей;

7) живопись требует более живого ума, чем философия, ибо всегда имеет дело с идеями вещей, философия же чаще всего имеет дело с идеями слов: при этом равнозначность или неравнозначность этих идей бывает определена идеями вещей, которые должны были предшествовать идеям слов, и потому умозаключение выводится на основании почти одних только идей слов. Однако поскольку философия придает большое значение сравнениям идей, то, чтобы они не оставались пустыми словами, она требует большей точности и утонченности ума, чем живопись.

О познании человеческого ума

Фрагмент

Я совсем не собираюсь начинать здесь метафизическое размышление относительно природы ума, в котором я, может быть, просто бы запутался и наверняка мало бы кто в нем за мною последовал, даже если бы я не сбился с пути. Я претендую лишь на раскрытие гораздо менее абстрактных истин, некоторые из которых, однако, не окажутся из-за этого ни менее новыми, ни менее полезными. Я тщательно буду избегать идей, носящих чересчур философский характер, но не буду им противоречить. Я оставляю их в стороне, но не буду упускать их из вида; и настолько, насколько это при

желании возможно, я постараюсь увязать с ними идеи этого сочинения. Возможно, я иногда и использовал бы метафизику, если бы она оказалась в этих случаях поддающейся толкованию и, соблюдая свою точность и справедливость, разрешала бы отвлечь себя от своей обычно строгой суровости.

Природа ума целиком заключена в его способности мыслить, и мы будем рассматривать человеческий ум только с точки зрения его идей. Сначала мы исследуем, каково их происхождение. Затем мы рассмотрим их в двух их главных отношениях: во-первых, к внешним объектам, то есть в отношении, которое заставляет признать их истинными либо ложными; во-вторых, к самому уму, то есть в отношении, позволяющем признать их приемлемыми либо неприемлемыми. Наконец, из рассмотрения различных видов идей и различных моментов, касающихся их природы, мы извлечем основные различия, существующие между умами, иначе говоря, характерные признаки, отличающие людей постольку, поскольку речь идет об их уме.

О происхождении идей

*О том, что все идеи мы получаем
из опыта*

Античная философия не всегда ошибалась. Она утверждала, что все находящееся в нашем уме пришло туда через ощущения²; нам было бы неплохо сохранить это ее утверждение. Наши ощущения передают уму бесчисленное количество образов внешних объектов, достаточно несовершенных с точки зрения истинности и достаточно смутных; но, поскольку наш ум способен воздействовать на эти образы, их увеличивать, уменьшать, сравнивать одни с другими, в нем создаются новые образы, более точные и напоминающие объекты, чем первые, с которыми он имел дело. Таким образом, от многих частных идей, дающих представление об объектах, некоторым образом между собою сходных, наш ум отделяет то, что в них есть отличного. Отсюда рождается универсальная идея, дающая представление обо многих

вещах, как об одной, ибо она дает представление только о том, что в них есть общего.

Оперируя первыми идеями, поставляемыми ему чувствами, добавляя к ним что-то и что-то от них отнимая, делая их из частных всеобщими, а из всеобщих еще более всеобщими, ум образует их настолько отличными от их первоначального вида, что иногда бывает очень трудно проследить их происхождение. Однако тот, кто хочет схватить всю нить и точно за ней проследить, всегда возвращается от идеи более возвышенной и отвлеченной к некоей чувственной, грубой идее.

Даже идея бесконечности образована мною от идеи конечного, которую я лишаю границ, и тогда я не в состоянии ее более ни охватить, ни понять. Я могу только рассуждать по поводу сделанного мною предположения относительно того, что она совсем не имеет границ, и, не заходя слишком далеко в этих своих рассуждениях, я обычно запутываюсь в трудностях, проистекающих от несовершенства моей идеи.

Утверждают, что аксиомы, или, иначе говоря, положения, имеющие значение неопровержимых истин и не нуждающиеся в доказательствах, представляют собой врожденные знания: таковы, например, аксиомы, что целое больше своей части, что равные величины, если отнять от них нечто равное, остаются равными между собою, и т. д. Если бы, говорят нам, все эти аксиомы были истинами, основанными на опыте, их следовало бы подвергать проверке, как проверяют все экспериментальные истины, а именно исследуя все отдельные случаи. Следовало бы рассмотреть все случаи целого и проверить, всегда ли оно больше своей части. Точно так же, чтобы установить экспериментальную аксиому, гласящую, что все люди смертны, надо было бы увидеть, как умирает значительное число людей.

На это я отвечаю, что обе эти аксиомы — *Все целое больше своей части* и *Все люди смертны* — одинаково представляют собой аксиомы опыта, но нет никакой нужды проверять их истинность путем повторных экспериментов.

В одном порядке вещей природа открывается нам целиком, в другом же она нам целиком не открывается. Когда она открывается нам целиком, необходимость,

которая делает вещь такой, а не иной, становится для нас также абсолютной необходимостью воспринимать ее именно как таковую.

Когда природа вещей открывается нам только частично, необходимость, делающая вещи такими, каковы они есть, не проявляется вовсе, ибо она неделима.

Если я смотрю на часы изнутри, я вижу, что они непременно должны бить, и я не мог бы понять, почему они не бьют.

Если же я на них смотрю только снаружи, я отлично вижу, что они всегда бьют, но мне нетрудно представить себе, что они могут и не бить.

Когда я вижу размер стопы, я вижу всю природу [вещи], поскольку это касается одной только величины; а когда я вижу, что стопа больше большого пальца, составляющего ее часть, я усматриваю здесь необходимость такого рода, что после этого мне невозможно вообразить себе какое-то иное целое, которое не будет таким же образом больше своей части.

Но когда я вижу умирающего человека, то, поскольку мне совсем не знаком механизм, а точнее — бесконечный комплекс механизмов, образующих тело человека, я вовсе не усматриваю необходимости в том, чтобы все это распалось на части в определенный срок, и ничто не мешает мне вообразить, будто движение и единство частей этого комплекса не будет иметь конца.

Таким образом, в первом случае я сразу же вижу природу вещи во всем ее целом; один-единственный случай дает мне представление обо всех остальных, и у меня нет нужды в повторном опыте для того, чтобы убедиться, что в подобных случаях ничто не изменится. Далее, поскольку идея эта, пусть и полученная из опыта, сама собою удерживается в моем сознании, независимо от подкрепления последующим опытом, я начинаю считать, что у меня и не было никогда на этот счет опыта. Я пренебрегаю происхождением этого опыта и убежден в том, что идея эта родилась вместе со мною. Это-то и называют врожденными аксиомами.

Во втором случае повторение опыта, бывшее необходимым, чтобы убедить меня в том, что все люди смертны, постоянно и многократно указывало мне на источники происхождения этой идеи и мешало мне при-

нять ее за что-либо иное, чем за аксиому опыта. Я во все не вижу необходимости, заставляющей всех людей умирать; но, не видя ее, я обязан ее предположить и полностью в нее поверить.

Итак, мы получаем все идеи из опыта; но среди них есть такие, которые опыт, если можно так сказать, покидает с того самого момента, как произведет их на свет, и они продолжают жить без него; другие же по долгу нуждаются в его подкреплении.

Аналогия между материей и умом

Фрагмент

Бог сделал материю способной к движению, к общению этого движения [другим предметам] и к его возобновлению.

Он сделал ум способным мыслить, а также повторять и сравнивать свои мысли.

Он дал материи главное движение, которое затем различным способом преобразуется в ее частях, по мере того как они между собою сталкиваются.

Он дал уму главную мысль, которая различно преобразуется под влиянием воздействия частных объектов на ум.

Эта главная мысль: *я мыслю, я существую.*

Отсюда происходит то, что в любую мысль включена эта главная: *я мыслю, я существую.*

Бог дал законы движения.

Он дал и законы мышления.

Я не постигаю с помощью законов мышления главные правила, рожденные в нашем уме, которые он применяет к вещам, дабы судить, истинны они или нет,— иначе говоря, те правила, которые обычно воспринимаются как аксиомы.

Я постигаю произвольное движение моего ума, с помощью которого он считает вещь истинной, не зная, почему он так считает.

Второй фрагмент

Если мне говорят: «В этой вазе — три капли воды, и за час из нее испаряется одна капля, причем в нее

ничего не добавляется», я заключаю отсюда, что ваза станет совершенно пустой в течение трех часов.

Действие, произведенное при этом моим умом, предполагает только способность выводить следствие.

Оно ни в коей мере не предполагает никакого представления о бесконечности и даже способности иметь подобное представление.

Если мне говорят: «За сто лет из моря испаряется на одну каплю воды больше, чем в него попадает», я делаю вывод: значит, по истечении определенного времени, очень долгого, испарится все море.

Это допущение в сущности того же рода, что и первое: оно даже не требует от меня бóльших усилий.

Оно относится всего лишь к конечной материи: ибо время, относительно которого я предполагаю, что в конце его море испарится, это такое же конечное время, как три часа, за которые испаряются капли в вазе.

Итак, я способен сделать такого рода заключение, не имея при этом нужды в способности обозревать бесконечность.

Я предполагаю, что ум мой остается в границах, как раз и необходимых для того, чтобы сделать подобный вывод.

Если бы мне теперь сказали: «В море попадает всегда точно столько же влаги, сколько из него испаряется», я сказал бы, что я могу сделать следующий вывод: значит, море не иссякнет никогда. Ибо невозможно усмотреть, что море испарится, если в него попадает меньше влаги, чем из него испаряется, и не усмотреть, что оно никогда не иссякнет, если оно всегда получает столько же влаги, сколько отдает.

Одно дело — усматривать этот принцип: *отнять больше, чем получить, значит уменьшить.*

Другое дело — принимать во внимание и другой принцип: *возместить столько же, сколько отнять, значит ничего не уменьшать.*

Однако непостижимо, как можно, воспринимая один из этих принципов, оказаться неспособным воспринять другой.

Даже если бы это было возможно, все же гораздо легче понять, что возместить столько же, сколько отня-

то, означает совсем не уменьшить, чем понять, что отнять больше, чем возместить, означает уменьшить.

Ибо то, что возместить столько, сколько отнять, совсем не значит уменьшить,—это положение об отношении равенства; а то, что отнять больше, чем возместить, означает уменьшить,—это положение об отношении неравенства. Но разумеется, наш ум гораздо легче постигает отношения равенства, чем отношения неравенства.

Итак, совсем не обладая способностью обозреть бесконечность, я могу вынести суждение, что море никогда не иссякнет.

Тем не менее в этом суждении содержится идея бесконечного времени, в течение которого море вообще не иссякнет.

Итак, эта идея бесконечного времени ни в каком случае не является истинной идеей бесконечности...

Что же это, однако, за идея?

Когда я хочу при первом предположении постигнуть время, в течение которого море иссякнет, а при втором — время, в течение которого оно вообще не иссякнет, совершенно ясно, что я не представляю себе ни ограниченной протяженности одного, ни бесконечной протяженности другого.

Я не только не способен представить себе бесконечность, я оказываюсь также неспособным представить себе конец определенной величины.

Когда я хочу представить себе время, в течение которого море иссякнет, я чувствую, что мой ум слишком быстро предлагает мне границы: но я вовсе не хочу их принимать в соображение и решаю про себя, что их надо отодвинуть подальше, не понимая в то же время точно — куда.

Когда я хочу представить себе то время, в течение которого море вообще не иссякнет, мой ум вопреки мне заставляет меня увидеть границы: я категорически и абсолютно отвергаю эти границы и заявляю, что в них вообще нет нужды, хотя они всегда находятся перед моим взором.

В одном из этих случаев я отдаляю границы, которые кажутся мне слишком близкими, причем не могу видеть их настолько далекими, насколько бы следовало;

в другом случае я упраздняю эти границы, но в то же время вопреки себе самому вижу их постоянно.

Сравним два этих случая.

Если я не способен отодвинуть границы какого-либо объекта настолько, насколько нужно, то есть еще больше оснований считать, что я не смогу их полностью снять.

Итак, идея бесконечности, по меньшей мере, у меня столь же несовершенна, сколь идея определенной конечной величины.

Итак, все то, чего не обнаружит моя идея конечного, тем более не обнаружит имеющаяся у меня идея бесконечного.

Ложность обычного рассуждения состоит в том, что человеческий ум считают не достигающим понимания бесконечности. Однако он точно так же не достигает понимания многих конечных вещей.

Тем не менее конечные вещи, понимания которых он не достигает, он видит, и вот каким образом это происходит.

Ум воспринимает и действует. Он воспринимает через ощущения ясно выраженные идеи бесчисленного количества вещей, которые видит, например идею протяженности стопы. Но он воздействует на эти идеи — увеличивает их, уменьшает, комбинирует их тысячью разных способов. Таким образом из идеи одной стопы образуется идея ста тысяч стоп.

Совершенно невозможно, чтобы он когда-либо увидел сто тысяч стоп так, как он увидел одну. У него никогда не будет по поводу их отчетливой идеи.

Но у него есть предположительная идея. Он предполагает протяженность ста тысяч стоп, которую он совершенно не постигает, и, если ему угодно, вслед за тем рассуждает.

И заметьте: нет никакой нужды в том, чтобы предположение это было основано на природе вещей, иначе говоря, чтобы в действительности существовала протяженность ста тысяч стоп.

Ибо если бы я мог видеть собственными глазами всю Вселенную и одновременно положительно усмотреть ее границы и находящееся за ее пределами небытие и не видел бы никакой протяженности, большей, чем протя-

женность в сто тысяч стоп, ясно усматривая при этом, что сам бог не мог бы создать большей, то у меня образовалась бы предположительная идея протяженности в сто тысяч стоп.

Ибо эта предположительная идея не требует от меня ничего, кроме возможности увеличить какую-либо ясно выраженную идею, совершенно безотносительно к тому, возможно это [в природе] или нет.

Заметьте еще и то, что я не могу иметь большей или меньшей возможности увеличивать мои отчетливые идеи.

Требуется больший объем и бóльшая сила ума, дабы отчетливо постичь и представить себе в совершенстве поле площадью в десять квадратных лье, чем для того, чтобы представить себе кусочек земли в один квадратный фут; но, уже восприняв идею квадратного фута, не более трудно образовать путем увеличения этой идеи предположительную идею, охватывающую пространство площадью в миллион футов, чем предположительную идею пространства в тысячу футов...

Верно, что требуется больший охват ума в соответствии с большим объемом охватываемого им объекта; но уму совсем не требуется большего объема, когда речь идет об объектах, которые он не объемлет и которые он созерцает лишь таким образом, что действие ума не имеет никакого отношения к величине объекта.

Поскольку наш ум постигает объект и видит его во всем его объеме, действие имеет отношение к величине объекта и ей соответствует; но, с того момента как ум начинает предполагать, что объект имеет такую-то величину, но не видит этой величины, действие его перестает соотноситься с данной величиной объекта, и то же самое действие ограничивается так же легко большей величиной объекта, как и значительно меньшей.

Таким образом, наш ум может иметь бесконечное число степеней постижения и при этом иметь отчетливые идеи, ибо можно воспринимать отчетливые идеи всё больших и больших объектов — до бесконечности, — и это даст столько же различных степеней постижения.

Но что касается предположительных идей, то здесь не может быть различных степеней; с того момента как мы можем предположить объект определенной величины,

которую мы не постигаем, можно предположить любую его величину, какой бы она ни была.

Я полагаю, что умы возвышаются друг над другом в соответствии с числом доступных им комбинаций.

Мы не усматриваем никакой ступени между животными и нами, а между тем какое огромное отличие! У них нет идеи ни будущего, ни бесконечного, наконец, ничего такого, что лежит за пределами их чувств; мы же... и т. д.

Это значит, что различие между умами должно основываться на отчетливых идеях — единственных, в которых заложена возможность увеличения: правда, согласно этим идеям, мы не больше, чем на несколько ступеней, выше животных.

Но что действительно создает большое различие между нами и ими, так это предположительные идеи, образованные путем увеличения или комбинации отчетливых идей. Поскольку, однако, обычно не сознают, что наша способность увеличивать отчетливые идеи гораздо ниже возможной, это нас сразу же ставит бесконечно выше животных.

Отсюда происходит эта очевидная странность человеческого ума, который имеет столь великий объем в одном смысле и столь малый — в другом... и т. д.

Идея бесконечности, которая у меня есть, не предполагает, таким образом, ни возможности бесконечности в природе, ни значительного объема моего ума; она требует лишь одного: чтобы я мог предположить, что определенные отчетливые и весьма ограниченные идеи, которые у меня есть, будут увеличены, хотя я и не могу постичь их в этом увеличенном виде.

Это так же, как если бы сосуд, содержащий пинту воды, мог сказать: «Я предполагаю, что к этой пинте воды я добавляю еще новую воду». Ясно, что у него не хватает для этого емкости и что он никак не сможет удерживать в себе эту воду, если объем ее увеличится...

Но, скажете вы, когда наш ум, делая усилие для того, чтобы постичь бесконечность, вопреки самому себе ограничивает эту возможность и одновременно чувствует, что следует снять эти ограничения, у него образуется чисто умозрительная идея бесконечности, и по

ней он выверяет недостоверную идею, поставляемую ему воображением.

На это я отвечаю: я знаю, что бесконечность совершенно не имеет пределов, не благодаря какому-то умозрению, но лишь благодаря предположению, которое я при этом делаю.

Однако, раньше чем делать такое предположение, скажут мне, необходимо по крайней мере знать, что возможна вещь, не имеющая пределов, и благодаря этому вы приходите к умозрительной идее бесконечности. Вовсе нет. Я предполагаю вещь, не имеющую пределов, не зная, возможна она или нет, и не постигая ее никоим образом.

Я мог бы предположить, если бы пожелал, такое число, квадрат которого был бы меньше, чем произведение его самого на 1:

$$zz = z \times 1 - a$$

Я предположил это число, не зная, возможно ли оно, и не постигая его: в самом деле, оно не может существовать³, и я тотчас же признаю, что оно невозможно из-за противоречия, содержащегося в предположении. Но совершенно ясно, что я сделал свое предположение до того, как располагал идеей возможности или невозможности этого числа.

Если вы в этом сомневаетесь, мне остается только сделать предположение, противоречивость которого была бы менее очевидна.

Допустим, я предположу такое число, квадрат которого будет равен произведению его самого на 3, уменьшенному на 5: $ZZ = 3Z - 5$. Это число может быть либо возможным, либо невозможным — я пока ничего об этом не знаю. Тем не менее я сделал это предположение.

Нельзя сказать, что у меня есть умозрительная идея этого числа: совершенно ясно, что таковой у меня нет и в помине; при этом возможность иметь ее столь невелика, что я не знаю — быть может, число это совсем невероятно, и тогда оно никоим образом не будет подходящим.

Тем не менее, обозначив это число как Z , я непременно буду сопоставлять его с другими числами, которые я в совершенстве знаю, и сумею доказать некоторые соотношения.

Но вы заметите, что я докажу лишь те из этих соотношений, которые содержатся уже в предположении: ибо для того чтобы извлечь другие соотношения, надо видеть число само по себе.

Если бы я не мог решить уравнение $ZZ=3Z-5$, я бы навеки остался в неведении, каково же это число, и не имел бы никаких идей и знаний, кроме тех, что могли бы быть извлечены из моего предположения.

Все это само собой распространяется на бесконечность. Она то самое Z , которое я никогда не могу увидеть само по себе, которое я знаю лишь предположительно, относительно которого мне известны лишь свойства, заключенные в этом предположении либо необходимо из него вытекающие, и которое, наконец, я предполагаю, не будучи уверенным в том, возможно оно или нет.

Таким образом, это не является доказательством ни того, что бесконечность существует, ни того, что она познаваема, поскольку здесь доказываются лишь те свойства, которые вытекают из предположения. И конечно, мы не знаем никаких других свойств...

Обычно говорят, что бесконечность не постигают, а усматривают.

Ее не постигают и не усматривают. Вместо этого постигают нечто конечное, которое, согласно предположению, должно быть частью бесконечности. Отсюда происходит, что мы воображаем, будто видим начало бесконечности, и это-то и называют «усматривать ее».

Последнее настолько верно, что можно вообразить, будто усматриваешь бесконечность, имеющую конец, например вечное бытие творения, имевшего начало; но совершенно невозможно усмотреть бесконечность, имеющую два конца,— такую, как продолжительность бытия бога. Продолжительность бытия творения исчисляют от его начала и потому полагают, что усматривают бесконечность в будущем; но никто не знает, с чего начать продолжительность бытия бога, если только не вести отсчет от воображаемой середины, из которой усматриваются два конца; однако предположение тотчас же обнаруживает ложность этой идеи.

Об инстинкте

Под словом *инстинкт* принято понимать нечто дополняющее мой разум и производящее благоприятный эффект ради сохранения моего существа; нечто совершаемое мною без того, чтобы я сознавал причину поступка; и притом это нечто мне весьма полезно, в чем и состоит чудо инстинкта. Дело происходит таким образом, что в тот самый момент, когда я падаю, я вытягиваю руку, не зная того, что рука эта, будучи более удаленной от неподвижной точки — центра тяжести, — тем самым оказывается противовесом: таким образом я возвращаю себе равновесие.

Исследуем это действие более пристально.

Оно вызывается вовсе не механическим устройством моего тела. Движение, заставляющее меня наклониться в одну сторону, вовсе не заставляет мою руку вытягиваться в противоположную сторону. Если бы это было так, явление это не было бы тем, что мы подразумеваем под инстинктом.

Действие это не совершалось бы, если бы я об этом не думал: ведь, если бы я в это время задремал и не проснулся бы хоть немножко, я всем телом рухнул бы на землю.

Следовательно, это произвольное движение, вызванное моей душой, — такое же движение, как ходьба.

Но при всяком произвольном движении душа моя знает, что она хочет сделать, здесь же она этого не ведает.

Она только знает в общем и целом, что хочет воспрепятствовать телу упасть, но вовсе не знает в частности, что для этого надо вытянуть руку. Однако для произвольного движения надо знать в частности, что мы хотим сделать, какой член нашего тела надо привести в движение, и т. д.

Ибо хотя, играя на лютне, я не думаю в каждый отдельный момент о движении моих пальцев и у меня есть лишь общая воля [к игре], мне тем не менее необходимо и частное побуждение — когда я начинаю данную пьесу или когда я вообще решил поиграть на лютне, — и этого довольно. Однако в этом случае у меня никогда не бывает частного побуждения вытянуть руку.

Значит, надо —

либо чтобы бог в необходимый момент заставил вытянуться мою руку без участия в этом действии моей души;

либо, имея в виду общую волю души, направленную на то, чтобы воспрепятствовать падению тела, он должен включить в эту волю частное средство ее выполнения и заставить меня вытянуть руку;

либо он должен внушить моей душе частное побуждение вытянуть руку, без того чтобы она знала, почему она это делает;

либо он должен был ей дать в целом, в определенных случаях, предрасположение к тому, чтобы стремиться с помощью частных побуждений сберечь свое тело, но при этом она не знает точно ни того, почему это ей помогает, ни того, почему она к этому должна стремиться.

Этот четвертый случай явно таков же, как и третий, и потому надо учитывать всего только три случая.

В первом случае я вытянул бы руку и во сне: ибо для этого воздействия бога и для его намерения меня сохранить безразлично, сплю ли я или нет.

Во втором случае может быть тысяча других происшествий, столь же настоятельно требующих тех же оснований, по которым бог включал бы частные средства в мои общие волевые импульсы.

В третьем случае я бы бесспорно помнил, что хотел вытянуть руку, ибо я не могу меньше помнить о частном побуждении, внушенном мне богом, чем о том, которое есть у меня от природы.

Если по поводу этого третьего случая вы мне скажете, что привычка либо скорость действия стирают память о нем, я воспользуюсь теми же самыми основаниями и стану утверждать, пользуясь другим методом, что у меня могло быть частное побуждение; и тогда станет ясным, что не вспоминать о своем частном побуждении — это еще не доказательство того, что его не было, а следовательно, и не доказательство того, что действие мое было инстинктивным.

Общая и самая большая несообразность всего этого состоит в том, что бог должен исключить при этом все общие законы и действовать по законам частным.

Но с какой целью? Ради моей сохранности, потребовавшей бы бесчисленного количества других вполне обоснованных исключений, которых бог никогда не делал.

Следовательно, речь идет здесь вовсе не об инстинкте как о чем-то, дополняющем мой разум; и т. д. Лишь определенный род разума блюдет мою сохранность.

Но что же означает это движение, которым я вытягиваю свою руку?

Я предполагаю, что, когда у души есть общий план действий, она наугад пробует многие частные средства, дабы его осуществить.

Если я хочу пустить стрелу из лука, не имея при этом наставника, я буду наугад пробовать различные положения руки и головы, раньше чем найду такое положение, которое лучше всего позволит мне точно выстрелить.

После того как я найду это положение, я всегда буду его соблюдать; в тот момент как мне понадобится пустить стрелу, я придам моей руке и голове это положение, не думая об этом.

Если это положение дастся мне с самого начала и я с первого раза точно попаду в цель, я сохраню его навсегда еще легче; я приобрету привычку к нему моментально.

Разве можно здесь сказать, что бог даровал мне инстинкт стрельбы из лука?

Если бы я обладал только общей волей и наугад бы пробовал различные частные средства ее осуществления, все равно необходимо было бы, чтобы что-то определяло одно из средств как более полезное, чем другое: но этим «что-то» может быть только механическое предрасположение, иначе говоря, способность наших жизненных духов с большей легкостью течь в каком-то одном направлении, чем в другом.

Таким образом, то, что вызывает движения, называемые инстинктивными, есть не что иное, как следующее: душа, имеющая общую волю к тому, чтобы что-нибудь делать, наугад выбирает первое средство, которое ей представляется; притом это средство, которое в силу механического предрасположения представляется

ей первым, и является как раз наиболее пригодным к тому, чтобы выполнить намерение души. Легко понять, что после этого она всегда будет пользоваться им в подобных случаях, причем настолько поспешно, что она может иметь частное побуждение использовать это средство и потом об этом не помнить.

Не всегда получается так, что, когда душа пользуется наугад каким-нибудь средством, ей первым представляется именно то средство, которое наиболее пригодно для выполнения ее замысла.

Когда я перехожу реку по узкой дощечке, общая воля моей души — помешать мне упасть в реку; но душа моя не знает для этого частных средств. Она ищет их наугад, и первое, которое представляется ей, это шарить то одной, то другой рукой в поисках опоры, а именно это и приводит к падению.

Предположим человека, грезящего на ходу и встречающего на своем пути кол, образ которого запечатлевается в его глазу; однако от него он не отскакивает, поскольку совершенно не обращает на него внимания.

Человек этот не отскакивает от кола, хотя кол этот резко воздействует на его зрительный нерв, возбуждает его мозг, и т. д.

Итак, отскочить от кола — это действие, вовсе не являющееся механическим следствием возбуждения, вызываемого колом в глазу, и т. д.

Между тем совершенно очевидно, что, если бы человек думал об этом коле, он мог бы от него отскочить.

Таким образом, он не может от него отскочить, если он о нем не думает.

Итак, если бы он от него отскочил, движение это было бы результатом команды души, а не механическим.

Мне ответят: этому человеку мешает отскочить от кола не то, что он о нем не думает, а то, что он думает о чем-то другом; если бы он ни о чем не думал, он бы от него отскочил.

Ведь поскольку он глубоко погрузился в грёзы, волокна его мозга определенным образом напряжены или возбуждены; то же самое касается и его жизненных духов. К этому состоянию мозга вдруг добавляется возбуждение, вызванное колом. Это последнее слишком слабо для того, чтобы что-нибудь изменить в данном

состоянии мозга; сталкиваясь также с жизненными духами, уже занятыми чем-то другим, оно не заставляет их течь по нашим нервам так, как нужно было бы для того, чтобы ноги этого человека отклонились от кола.

Здесь действуют два принципа: [1] возбуждение слишком слабо по отношению к данному состоянию мозга; [2] жизненные духи имеют в это время иное направление.

Если бы всего этого не было, человек отскочил бы от кола, нимало об этом не думая.

Я согласен с тем, что возбуждение, вызываемое колом, слишком слабо по отношению к данному состоянию мозга; в самом деле, оно настолько слабо, что совсем не заставляет думать об этом коле.

А вследствие того что человек совсем о нем не думает, он от него и не отскакивает.

Но я утверждаю, что возбуждение это, достаточно слабое для того, чтобы не вызвать мысли о коле, в то же время достаточно сильно для того, чтобы направить жизненные духи по нашим нервам таким образом, как-им необходимо, чтобы мы могли отскочить от кола в том случае, когда нет необходимости в мысли, подающей команду к этому движению.

И вот мое доказательство: мозг этого предполагаемого человека одновременно испытывает два состояния.

Одно из них — это когда он сильно грезит: напряжение и возбуждение волокон мозга, возбуждение и расход жизненных духов.

Второе — это состояние, в котором он должен быть, чтобы идти. Не знаю, способствуют ли этому в какой-то мере волокна нашего мозга; но несомненно, что при этом действует много жизненных духов, непрерывно текущих по нервам ног, и т. д.

Жизненные духи, участвующие в наших грёзах, это совсем не те, что участвуют в нашей ходьбе.

Итак, теперь уже ясно, что фактор, мешающий возбуждению, вызванному в нашем мозгу колом, командовать ногам отклониться от кола, это вовсе не занятость жизненных духов процессом грёз.

Чтобы отклонить мои ноги от этого кола, не нужно ни делать какого-то сверхусилия, ни приводить в движение другие члены моего тела; нужно только немного

изменить направление моих ног; а для этого нужно всего лишь скомандовать тем же жизненным духам, которые питают наши мускулы в одном направлении, чтобы они насытили их немножко в другом. Однако несомненно то, что, когда тело движется в соответствии с одним решением, достаточно самого небольшого усилия для того, чтобы вызвать у него другое решение.

Итак, поскольку вопрос заключается лишь в том, чтобы определить течение жизненных духов, которые, приходя из мозга, передвигают ноги, для этого достаточно самого небольшого возбуждения в нашем мозгу.

Таким образом, для этого достаточно возбуждения, производимого видом кола.

Между тем того же самого возбуждения недостаточно, чтобы заставить нас думать о коле.

Ибо для того чтобы заставить нас думать о какой-либо новой вещи, в то время как мы заняты чем-то другим, требуется возбуждение мозга почти такой же силы, как то, что вызывало прежнюю мысль.

Это уже не значит давать новое направление одному и тому же движению: это значит придать тому же телу новое, совсем иное движение.

Силы руля, достаточной для того, чтобы придать горизонтальное движение кораблю по воде, не хватило бы для того, чтобы придать ему вертикальное движение — снизу вверх.

Итак, если предполагаемый нами человек не отскакивает от кола, это не потому, что он думает о чем-то другом, а потому, что он совсем не думает о коле.

Итак, собака, при том же самом предположении, также не сможет отскочить от кола, если она совсем не будет о нем думать.

Следствие, которое я извлекаю из этого, очевидно предполагает, что мозг человека и мозг собаки в этом отношении сходны между собой; то, что не может механически совершиться в мозгу человека, не может механически совершиться и в мозгу собаки, если обстоятельства при этом совершенно сходны.

Но вы не сумели бы не только указать, но даже вообразить себе что-либо в мозгу у собаки, требующееся для того, чтобы она механически отскакивала от кола, чего не было бы постоянно и в мозгу человека.

Полагаю, что на этот счет можно было бы себе строить бесполезные иллюзии всю свою жизнь.

Итак, животные мыслят и не являются механизмами.

Картезианцы⁴ обычно доказывают, что животные все-таки механизмы, привлекая к этому доказательству все, что люди делают механически, и делая из этого вывод, что животные могут так же механически делать то же самое.

Такой вывод справедлив в этом частном отношении, но не годится для заключения, что у животных все без исключения механистично.

Я рассуждаю более справедливо, опровергая это доказательство картезианцев и подходя к вопросу с противоположной стороны, о которой они не помышляют. Я говорю: то, что люди и животные делают одинаково, и то, что люди не делают механически, животные так же не делают механически, как и люди.

Примечания

Диалоги мертвых древних и новейших лиц

«Nouveau dialogues des morts anciens et modernes» — раннее философское сочинение Фонтенеля, впервые опубликованное в 1683 г. По своему названию и литературной форме эти диалоги напоминают знаменитые «Разговоры в царстве мертвых» античного сатирика Лукиана. Идейное содержание диалогов отразило ранний скепсис Фонтенеля, идущий от «Опытов» Монтеня. На русский язык «Диалоги мертвых» были впервые переведены Иваном Бутовски в 1821 г. (под заголовком «Разговоры в царстве мертвых древних и новейших лиц», СПб.). Перевод, публикуемый в настоящем издании, выполнен, как и переводы всех остальных вошедших в это собрание сочинений Фонтенеля (кроме «Сообщения об острове Борнео»), по изданию 1790—1792 гг. (Париж). В настоящее издание включено 12 диалогов из 35, отличающиеся более значительным философским содержанием.

Анакреонт, Аристотель

1. Стихотворение это, по-видимому, псевдоанакреонтическое. См. издание Эдуарда Мёрике (*Eduard Mörike. Aus dem griechischen. Anakreon und die sogenannte anakreontische Lieder. Stuttgart, 1864, № 11*). Судя по мифологическим терминам (Парка — латинский аналог греческой Мойры, богини судьбы), оригинал у Фонтенеля был латинским. Размер нашего перевода не анакреонтический, поскольку Фонтенель также не придерживается строго ямбического диметра, характерного для застольных анакреонтических песен.

2. У Аристотеля есть три сочинения по этике: так называемая «Большая этика», «Этика Никомахова» и «Этика Евдемова».

Гомер, Эзоп

1. Фонтенель имеет здесь в виду эпизод из «Илиады» (V. 846—906), в котором греческий герой Диомед с помощью богини Афины ранит бога войны Ареса (римск. Марс), покровителя троянцев.

Сократ, Монтень

1. В «Опытах» Монтеня очень часты упоминания Сократа, ссылки на него и похвалы в его адрес.

2. Наивная добродетель: naïf (-ve) («простодушный») — термин Монтеня, обозначающий Сократову манеру вести споры, внешне простоватую, с оттенком наивной хитрости, но всегда, если верить Платону, сообщавшую тому, что говорил Сократ, великую силу убеждения.

3. Особый метод рассуждения Сократа — так называемая «майевтика» («повивальное искусство», состоящее в серии наводящих вопросов, благодаря которым Сократ помогал своим собеседникам «родить» мысль).

Герострат, Деметрий Фалерский

1. Действительно, благодарные афиняне воздвигли 360 статуй в честь Деметрия Фалерского (см.).

Пармениск, Феокрит Хиосский

1. *Пещера Трофония* — прорицалище в Лебадии (Беотия). Трофоний — эпитет Зевса (возможно, от Zeus chthonios, т. е. «Зевс подземный»).

2. *Дельфы* — знаменитый древнегреческий оракул Аполлона, находившийся в Фокиде, у подножия горы Парнас.

3. На острове Делос (группа Кикладских островов в Эгейском море) также находился один из знаменитых оракулов Аполлона.

4. *Тиринфяне* — жители Тиринфа, древнего города греческой области Аргολиды.

Сенека, Скаррон

1. *Стоики*: название свое эта школа получила от stoa poikilē, портика в Афинах, украшенного картинами художника Полигнота. В «Пестром портике» учил основатель школы Зенон из Китиона (336—264 гг. до н. э.). Стоицизм, подобно эпикуреизму, отличали поиски твердых этических критериев. Но, в отличие от эпикурейцев, опиравшихся в своей онтологии на материализм Демокрита и его атомизм, античные стоики восприняли в качестве мировоззренческой основы учение Гераклита об Огне-Логосе в его идеалистическом аспекте, что в конце концов привело их к религиозному идеализму.

2. *Бурлеск* — жанр, творцом которого считается Скаррон (см.). Это пародии, авторы которых использовали вначале пародирование античных сюжетов и мифов: боги и герои наделялись человеческими слабостями и пороками, изображались в нарочито будничной обстановке. Создатель жанра Скаррон использовал бурлеск для пародирования прециозных поэтов, переносивших салонные нравы в античную мифологию.

3. *«Энеида»* — главная поэма Вергилия (см.), произведение торжественно-героического эпоса. После Скаррона «Энеида» Вергилия неоднократно пародировалась другими поэтами. У нас самые известные пародии принадлежат украинскому писателю XVIII в. И. П. Котляревскому, использовавшему в своей «Енеїді» трагестию и бурлеск для показа быта и нравов украинского общества второй половины XVIII в., и неизвестному белорусскому автору («„Энеїда“ наываварат», проникнутая народным юмором и духом демократизма).

4. *Один философ платоновской школы*: неоплатоник Плотин (ок. 204/5—269/70 гг. н. э.).

— *Правивший тогда император: Александр Север (222—235 гг. н. э.).*

Артемисия, Раймонд Луллий

1. «*Великое созидание (творение)*» — название, данное Луллием философскому камню, в поисках которого строили свои системы и учения все средневековые мистики.

2. *Юноша, в которого влюбилась Артемисия*: трудно сказать, из каких источников берет эту легенду Фонтенель; возможно, это его вымысел.

Апиций, Галилей

1. Здесь описывается эпоха Римской империи, постепенно клонящейся к упадку; это было время потери былой республиканской простоты и суровости, время морального упадка и разложения.

2. *Минтурны* — город в южном Латии, области древней Италии, расположенной между Тирренским морем, Этрурией и Кампанией.

3. Телескоп был изобретен в Голландии около 1608 г. и независимо от этого изобретения — Галилеем в 1609 г.

4. *Трубы, удваивающие и даже умножающие в несколько раз силу голоса*: как военный инструмент, применяемый для сигнализации, а также для воспроизведения торжественной музыки, трубы были известны с глубокой древности. Они имели первоначально прямую цилиндрическую форму с широким раструбом на конце. В XV в. были изобретены трубы изогнутой формы, позволявшие разнообразить и усиливать натуральные звуки. В дальнейшем трубы усовершенствовались как музыкальный оркестровый инструмент.

Стратон, Рафаэль Урбинский

1. *Тир* — приморский город в Финикии.

Парацельс, Мольер

1. Имя «Парацельс» составлено из греческой противительной частицы рага- и латинского имени Цельс (Celsus), подразумевающего римского врача Корнелия Цельса, автора сочинения «О медицине». Таким образом, псевдоним «Парацельс» означает «против Цельса», или «Анти-Цельс».

Лжедемитрий III, Декарт

1. Известны многочисленные путешествия Декарта: он служил во французских войсках, был участником Тридцатилетней войны; покинув в 1621 г. армию, девять лет путешествовал, затем поселился в Нидерландах, где к тому времени благодаря приходу к власти тор-

говой буржуазии создались благоприятные условия для свободного научного исследования. Здесь Декарт в уединении проработал 20 лет и здесь же анонимно, из боязни церковных преследований, выпустил в свет свои главные труды: «Рассуждение о методе» (1637), «Метафизические размышления» (1641), «Начала философии» (1644). Смутенный резкими спорами, поднявшимися вокруг его философии в голландских университетах, он в 1649 г. принял приглашение шведской королевы Христины и переселился в Швецию, где и умер.

2. Здесь подразумевается историческое влияние византийской культуры на культуру Древней Руси.

3. ...*выдать себя за родоначальника новой философии*: в «Метафизических размышлениях» («Первое размышление») Декарт пишет: «Если я хочу установить в науках что-либо прочное и постоянное, мне необходимо хоть раз в жизни предпринять серьезную попытку отделаться от всех мнений, принятых мною некогда на веру, и начать все сначала, с самого основания» (Р. Декарт. Избр. произв. М., 1950, стр. 335). Отбрасывая, таким образом, все предвзятые мнения, Декарт там же приходит к своему основному положению, единственному, какое, по его мнению, не является предрассудком, но вытекает из самой сущности его метода: «Я мыслю, следовательно, существую».

Сообщение об острове Борнео

«Rélacion sur l'île de Bornéo». Опубликовано в «Nouvelles de la République des lettres» в январе 1886 г. Пьером Бейлем, основателем и издателем журнала в 1883—1886 гг. Сочинение это — политический памфлет, направленный против монархических религиозных войн, бывших для Фонтенеля недавним прошлым. Остров Борнео — аллегория островов Великобритании: Фонтенель использует для своих аллегорий игру на фонетических созвучиях имен (Bornéo — Britain).

Во французские собрания сочинений Фонтенеля конца XVII—XVIII в. памфлет этот не включался. На русском языке публикуется впервые.

1. Речь идет здесь о предисловии к № 1 «Nouvelles...» (janvier, 1883).

2. *Батавия* — главный город бывшей Голландской Индии и резидентства Батавия (северо-западная оконечность о-ва Ява).

3. *Г. Банаж* — лицо явно вымышленное; слово *бапале* является старофранцузским синонимом слова *banalité* («банальность», «обычность»).

4. *Королева Милизео* — аллегорическое имя Марии де Гиз, матери Марии Стюарт.

5. *Мрео* — подразумевается Мария Стюарт, королева Шотландии (1542—1587), внучка короля Генриха VII. Опиралась в борьбе со своей сводной сестрой, Елизаветой Английской Тюдор, на католиков. Ей противостояла шотландская знать, использовавшая в качестве оппозиционной идеологии кальвинизм (пресвитерианство).

6. Намек на многочисленных любовников Марии Стюарт из числа приближенных.

7. Под «новой претенденткой на королевскую власть» Фонтенель разумеет Елизавету Английскую (имя этой претендентки составлено из английских фонем имени королевы Елизаветы: Ээнгю — Elisabeth of England, Tudor).

8. Елизавета Английская была внебрачной дочерью короля Генриха VIII и фрейлины Анны Болейн.

9. Граф *Сен-Жиран* (или Сен-Жермен: ср. упоминание этого имени в пушкинской «Пиковой даме») — светский авантюрист времен Фонтенеля, человек весьма темного происхождения.

10. Эта аллегорическая концовка выражает ироническое и пренебрежительное отношение автора к королевской борьбе за власть, во время которой проливается кровь подданных. В более узком смысле Фонтенель порицает католическую реакцию, имевшую место при Марии Стюарт.

11. *Корнель, Пьер* (1606—1684) — великий французский драматург, создатель классицистической трагедии. Наряду с идеалами абсолютизма в эпохальной трагедии Корнеля «Сид» явно проступают тенденции Фронды.

Племянник Корнеля, Фонтенель воспринял в своем творчестве — литературном и философском — именно эту тенденцию творений своего великого дяди.

12. «*Mercure galant*» (журнал, выходивший во Франции с 1672 г.) — первое название журнала «*Mercure de France*»; посвящал свои страницы литературе и литературной критике.

13. Галантными стихами издатель (Пьер Бейль) называет экологи (пасторали) Фонтенеля, публиковавшиеся им в «*Mercure galant*» и относившиеся к жанру так называемой прециозной поэзии, которой Фонтенель отдал дань в своем раннем творчестве.

Рассуждения о множественности миров

«*Entretiens sur la pluralité des mondes*» — известнейшее из философских сочинений Фонтенеля, вышедшее в 1686 г. в Париже и на протяжении XVII—XIX вв. переиздававшееся десятки раз в Париже, Лионе, Амстердаме, Ла Гэ и Лондоне. Огромная популярность этой книги, трактовавшей в доступной форме коперниканскую систему мироздания (развитую Джордано Бруно и Галилеем) и дававшей философское освещение всех новейших вопросов астрофизики, вызвала интерес к ней и в кругах русской передовой интеллигенции XVIII—XIX вв.: «Рассуждения о множественности миров» были переведены в России Антиохом Кантемиром («Разговоры о множестве миров». СПб., 1740). Кантемир — эрудит, просветитель-рационалист и поэт-сатирик, близко знакомый с Монтескье и переводивший его «Персидские письма», глубоко проник в дух блестящего сочинения Фонтенеля и сделал перевод, прекрасно отвечавший литератур-

ным требованиям его эпохи. Но само собой разумеется, для нашего времени язык его перевода звучит достаточно архаично, и потому мы предлагаем в нашем издании новый перевод, озаглавленный «Рассуждения о множественности миров». При переводе было учтено также новейшее критическое издание «Рассуждений» Роберта Шеклтона (Oxford, 1955).

1. *«Принцесса Клевская»* — роман французской писательницы Мари Мадлен де Лафайет (1634—1693), опубликованный в 1678 г. Сюжет романа построен на раскрытии глубоких и тонких переживаний героини.

2. В *«Георгиках»*, написанных между 37 и 30 гг. до н. э. и посвященных Меценату, Вергилий воспевае радость земледельческого труда, что вполне соответствовало политике Октавиана Августа, стремившегося к упрочению своей власти путем призыва к «возврату на землю». Монотонность сюжета в каждой из четырех книг поэмы нарушается каким-либо вставным эпизодом: так, в книге I, говоря о земледельческих приметах, Вергилий переходит к описанию небесных знамений, наблюдавшихся в год кончины Юлия Цезаря; в книгу II вставлен поэтический гимн Италии; в книге III есть даже два вставных эпизода — панегирик Октавиану и картина моровой язвы; в книге IV 250 стихов отведены изложению мифа о пастухе Аристее и жене Орфея Эвридике; миф этот почти не связан с основным сюжетом.

3. Поэма Овидия *«Искусство любви»* — шутливая пародия на дидактический эпос, сочетающая крайне легкомысленное содержание с дидактическим тоном.

4. Трудно сказать, кто скрывается за инициалом Л***. Это мог быть маркиз де Лафар, близкий знакомый Фонтенеля, и мадам де Месанжер (предполагаемый прототип Маркизы), хотя отсутствие частицы «де» и мешает такому предположению.

5. Мадам де Г*** — по-видимому, мадам де Месанжер, жившая неподалеку от Руана.

Вечер первый

1. Согласно мифу, однажды Фазтон попросил разрешения у своего отца, бога Солнца Гелиоса, прокатиться на его огненной колеснице по небосводу, но не смог удержать крылатых коней: они несли его слишком близко к Земле, так что Земля чуть не загорелась. За это Зевс, верховное божество греческого Олимпа, поразил Фазтона молнией.

2. Объяснение движения действием некой тайной силы принадлежит древнейшим мистическим философским учениям. Числовое объяснение исходит, по мысли Фонтенеля, от Пифагора, а о симпатии как причине взаимного сближения тел писал Аристотель; наконец, о том, что природа не терпит вакуума, особенно много говорили и писали после экспериментов Торичелли (1644) и Паскаля (1648).

3. Движение материального мира, по Декарту, вечно и протекает согласно законам механики.

4. Аналогия между строением Вселенной и часовым механизмом была очень распространена во времена Фонтенеля.

5. Перечисленные здесь пять планет были известны уже в древности. После Фонтенеля были открыты Уран (1781), Нептун (1846) и Плутон (1930).

6. *Халдеи* древнегреческие авторы именовали Вавилонию, по имени семитического племени халдеев, захватившего там власть в 625 г. до н. э. О развитии астрономии у халдеев пишет историк Диодор Сицилийский. Он же, следуя Геродоту («История», II, 109) и Страбону («География», XVII, 3), объясняет происхождение геометрии в Египте специфическими условиями земледелия в долине Нила.

7. «*Астрей*» — знаменитый пасторальный роман Оноре д'Юрфе (1568—1625), в котором изображалась галантная любовь дворянской верхушки французского общества; это была одна из любимых книг Фонтенеля.

8. Фонтенель имеет здесь в виду систему Птолемея.

9. *Один кастильский король* — Альфонсо X, известный как мудрец и астроном.

10. Ср. известную латинскую поговорку «*Natura nihil frustra facit*» («Природа ничего не делает впустую»).

11. Во времена Фонтенеля было принято считать Коперника, жившего в Пруссии, немецким ученым.

12. Труд всей жизни Коперника — «*De revolutionibus orbium caelestium*» («О небесных круговращениях») вышел в Нюрнберге в 1543 г., за несколько дней до смерти автора.

13. Первоисточник этого аргумента в пользу вращения Земли, по-видимому, Николай Кузанский (1401—1464): в своем сочинении «*De docta ignorantia*» («Об учёном невежестве») он пишет (кн. II, гл. XII): «Ведь если бы кто-нибудь не знал, что вода течет, и не видел, находясь на корабле посреди воды, берегов, как мог бы он постичь, что корабль движется?»

14. Возможно, Фонтенель имеет здесь в виду случаи кораблекрушений у необитаемых островов, рассказанные Луккианом в «Правдивой истории». Правда, ни один из них не соответствует в точности истории, вложенной здесь в уста маркизы.

15. ...на самой большой орбите — т. е. на небе неподвижных звезд, расположенном, согласно системе Птолемея, поверх орбиты Сатурна

16. По данным вычислений знаменитого физика и астронома Гюйгенса (1629—1695), число 27 660 есть отношение расстояния от Земли до неподвижных звезд к расстоянию от Земли до Солнца. 200 миллионов лье — длина окружности которую Солнце описывало бы вокруг Земли, если бы была верна система Птолемея. Длина орбиты неподвижной звезды равнялась бы в таком случае $27\,660 \times 200$ миллионов лье.

9000 лье — длина экватора Земли.

17. *Земля Жессо*: во времена Фонтенеля считали, что земля эта расположена между Сев. Америкой и Японией, хотя и не представляли себе точно, остров это или материк.

18. Аналогия между законами физики и этики стала особенно характерной для XVIII в. Ср. подзаголовок гольбаховской «Системы природы» — «О законах мира физического и нравственного».

19. Система Тихо Браге была компромиссом между системами Коперника и Птолемея.

Вечер второй

1. *Сен-Дени (Saint-Denis)* — город в департаменте Сена, фактически пригород Парижа.

2. *Нотр-Дам (Notre-Dame de Paris)* — знаменитый собор Парижской богородицы.

3. Фонтенель излагает здесь теорию света Декарта (см. «Начала философии», ч. III, § 55—56, а также «Трактат о свете»).

4. Затмение, о котором здесь идет речь, произошло 11 августа 1654 г.

5. На карте Луны, выполненной известным картографом XVII в. Гримальди, обозначены острова, носящие название «Коперник», «Архимед», «Галилей».

6. Парижская обсерватория была основана в 1667 г.

7. *Палладин Астольф и св. Иоанн* — действующие лица поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

8. Поэма Ариосто была посвящена кардиналу Ипполиту д'Эсте. Такого рода посвящениями знатым вельможам церкви авторы тех времен обеспечивали себе расположение церковной цензуры.

— ...*один из великих пап* — Лев X; его одобрительный отзыв есть уже в первом издании поэмы (Феррара, 1516).

9. История, изложенная здесь Фонтенелем, начинается у Ариосто с 55 станса XXXIV песни; в стансе 72 говорится о сходстве Луны с Землею.

10. Дискуссии относительно существования обширного южного континента был задан тон книгой Фердинандеса де Квира «*Terra australis incognita*» («Неизведанная южная земля», 1614).

11. В 1678 г. в «*Journal des savants*» (стр. 459) появилось сообщение о Джованни Батисте Данте, прозванном Дедалом, который сконструировал себе искусственные крылья. Во время его «полета» над Перуджей одно из крыльев сломалось, Данте упал на кровлю церкви св. Марии и сломал себе бедро. Там же описывается механизм, сконструированный таким образом, что он дал его изобретателю возможность «перелететь» довольно широкую реку. В конце XVI — начале XVII в. идея воздушных полетов человека обсуждалась учеными и изобретателями. Кеплер серьезно писал о будущей возможности межпланетных полетов и выселения колоний в различные космические миры.

12. Ср. *Плиний*. Естественная история, кн. II, гл. 68.

13. Древние греки верили, что на противоположной части Земли существуют люди, находящиеся как бы в перевернутом

положении по отношению к нам и ходящие, таким образом, вниз головами. Против этого мнения резко восставал св. Августин, называя его бессмысленным. Католическая церковь считала веру в антиподов ересью.

Вечер третий

1. Такое утверждение принадлежит, в частности, Мариотту («Essais de physique». Paris, 1679).

2. *Селадон, Астрей* — герои пасторального романа «Астрей» (см. прим. 7 к «Вечеру первому»).

3. В XVII в. вышли две большие книги, посвященные раскопкам в Риме, — «Roma sottoterranea» (Roma, 1632) Антонио Борзио и «Roma subterranea» (Roma, 1651) Паоло Ариньи.

4. ...великий философ древности — Плутарх (см. его трактат «De facie in orbe Lunae» — «О лице на диске Луны»).

5. Этот аргумент в пользу населенности миров до Фонтенеля использовал в своем философском романе «Иной свет, или государства и империи Луны» (1657) Сирано де Бержерак.

6. Ср. у Монтеня: «Кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трех или нескольких чувств?» («Опыты», кн. II).

7. Отрывок о муравьях был включен в текст издания «Рассуждений...» 1742 г., после выхода в свет книги Ж.-Б. Симона «Le gouvernement admirable, ou la République des abeilles», в которой жизнь пчел описывается в выражениях, характерных для человеческого общества. В 1740 г. во Франции был опубликован перевод «Басни о пчелах» («Fable of the Bees») Мандевилля.

Вечер четвертый

1. *Клелия* — героиня одноименного куртуазного романа Мадлен де Скюдери (1607—1701).

2. *В начале нашего века* — т. е. когда был изобретен телескоп (см. прим. 2 к диалогу «Апиций, Галилей»). В 1676 г. было также замечено три пятна, а в 1684 и 1686 гг. известный астроном Кассини наблюдал новые пятна.

3. По примеру Галилея, назвавшего открытые им спутники Юпитера «Sidera Medicea» («звезды Медичи»), Кассини назвал спутники Сатурна «Sidera Lodoicea» — в честь Людовика XIV. Другие астрономы, приняв солнечные пятна за планеты, дали им, не подозревая комизма ситуации, наименование «Sidera Burbonica», т. е. «звезды Бурбонов».

4. Ср. *Декарт*. Начала философии, ч. III, § 21.

5. Свою теорию вихрей Декарт излагает в «Началах философии» (ч. III, § 25, 30).

6. Этот анекдот о Тихо Браге рассказан в биографии датского астронома, написанной Пьером Гассенди («Tychoonis Braheii vita», lib. VI).

7. «Journal des savants» — первый журнал в истории — начал выходить в Париже в 1665 г. и существует до настоящего времени; в нем печатаются материалы по истории, археологии и филологии.

8. Первый из пяти известных в то время спутников Сатурна был открыт Гюйгенсом в 1655 г.; следующие четыре открыл Кассини в 1671, 1672 и 1684 гг.

9. Кольцо Сатурна впервые увидел Гюйгенс, объявивший о своем открытии в трактате «Systema Saturnica» (1659).

10. На самом деле Марс имеет два спутника, но они были открыты лишь в 1877 г. Любопытно, что Свифт как бы предвосхитил это открытие в 1726 г., так как в «Путешествии Гулливера» он говорит о двух спутниках Марса.

11. Речь идет о Фалесе, благодарившем, по сообщению Диогена Лаэртца, судьбу, во-первых, за то, что он человек, а не зверь, а во-вторых, за то, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, за то, что он грек, а не варвар.

Вечер пятый

1. См. *Расин*. Федра, ст. 264.

2. По мнению Джона Уилкинса, автора «Discovery of a New World» (1638) и «Discourse tending to prove that 'tis probable our Earth is one of the planets» (1640), Аристотель никогда не говорил о множественности миров лишь потому, что боялся разгневать своего великого ученика Александра Македонского. Анекдот этот приведен также Пьером Борелем в его «Discours prouvant la pluralité des mondes» (Genève, 1657).

3. *Мальдивские острова* — группа коралловых островов, расположенных западнее южной оконечности п-ова Индостан.

4. Это объяснение строения вихрей имеет много общего с тем, которое позже появилось в книге Филиппа Виллемота «Système nouveau, ou nouvelle explication du mouvement des planètes» (Lyon, 1707).

5. Фонтенель следует здесь картезианской теории комет (см. *Декарт*. Начала философии, ч. III, § 126—138). Представление о кометах как о посланниках других миров Фонтенель заимствовал у В. Стансея («Legatus Uranicus». Praga, 1683) и Сирано де Бержерака («États du soleil»).

6. См. «Начала философии», ч. III, § 94—104.

7. *Гай Юлий Цезарь* (100—44 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, в середине I в. до н. э. ставший в борьбе с республиканской сенатской партией единоличным правителем (диктатором) Рима и убитый представителями этой партии во главе с Брутом в 44 г. до н. э.

8. Об изобретении телескопа см. выше прим. 2 к «Вечеру четвертому».

Вечер шестой

1. «Вечер шестой» содержится во всех изданиях «Рассуждений...», кроме первых четырех: Paris, Blageart, 1686; Paris, Amaulry, 1686; Amsterdam, 1687; Amsterdam, 1689.

2. Этот вопрос маркизы — отзвук знаменитого положения Декарта: «Я считаю почти ложным все то, что не более как правдоподобно».

3. Согласно третьему закону Кеплера (1619), квадраты времени вращения планет вокруг Солнца пропорциональны кубам их расстояния от Солнца.

4. Об этом вечном колебании Вселенной писал в своих «Опытах» Монтень; однако о нем говорили и писали уже древние философы, например, индийские йоги.

5. В «Bibliographie astronomique» Лаланда нет ни слова о такого рода наблюдении. Правда, в 1652 г. в Париже вышла книга M-lle de B *** «La sphère de la Lune, composée de la tête de la femme»; второе издание этой книги появилось в Chalon-sur-Saône, в 1658 г. Быть может, Фонтенель намекает здесь на это сочинение.

6. Кассини в своем труде «De l'origine et du progrès d'astronomie», а также в записке, представленной Академии наук в 1699 г., дал описание этих явлений на поверхности Юпитера.

7. 18 марта 1683 г. Кассини наблюдал на небе необычное свечение и опубликовал отчет об этом наблюдении в июньском номере «Journal des savants». В 1685 г. он опубликовал статью «Découverte de la lumière céleste qui paraît dans le zodiaque», где сравнивает этот свет с хвостом кометы и выражает мнение, что «хвост» этот принадлежит Солнцу и не может быть виден днем или летом, когда «зори продолжают всю ночь».

8. ...две последние луны Сатурна были открыты Кассини в 1684 г. (см. прим. 50).

9. Речь идет о книге Мартино Мартини «Sinicae historiae decas prima» (Amstelaedami, 1659).

Отступление по поводу древних и новых

«Digression sur les anciens et les modernes» — один из двух очерков (эссе), опубликованных Фонтенелем в 1688 г. в его книге «Poésies pastorales». Очерк этот явился вторым откликом Фонтенеля — после «Диалогов мертвых» — на разгоревшийся в XVI в. (особенно в 90-х годах) во Франции в среде философов и литераторов «спор древних и новых». Сутью этого спора был отказ части современных Фонтенелю мыслителей, вслед за Декартом, от подчинения авторитету, в том числе авторитету античных авторов. Фонтенель — борец с предрассудками и сторонник культурного прогресса — выступает в этом споре как защитник научных и литературных достижений Нового времени и враг консерваторов и традиционалистов.

На русском языке «Отступление по поводу древних и новых» публикуется впервые.

1. Мысль о влиянии природы на человека и сравнение в этом плане человека с деревьями принадлежит Монтеню («Опыты», II).

2. *Животные духи* (лат. *spiritus animales*) Гоббс определяет следующим образом: «...животные духи не что иное, как очищенные в сердце и распространенные при помощи артерий жизненные духи...» (см. «Основы философии», ч. I, раздел IV, гл. XXV, § 10). И Гоббс и Гассенди (см. у последнего «Метафизические исследования, или Сомнения и Новые возражения против Метафизики Декарта», ч. I, «Против Второго размышления», «Сомнение VI») связывают наличие животных духов в организме человека со способностью ощущения и восприятия. Декарт понимает животные духи как некую жидкость, содержащуюся в мозгу и нервах и служащую проводником ощущений в мозг.

3. Теория влияния климата на жизнедеятельность человеческого организма, и особенно на духовное развитие человека, была широко распространена в XVI и XVII вв.; особую популярность ей завоевал Монтень.

4. Относительно преимуществ умеренной климатической зоны для интеллектуального развития учил в XVI в. Кардан (см. Орега, II, р. 533—534).

5. *Лапоны*, или лапландцы, лопари, — ныне устаревшее название части скандинавской народности *саами*, обитающей на Лапландском п-ове.

5а. Легенду о том, что Архимед сжег римский флот при помощи направленного издалека зеркала, сообщают более поздние авторы — Гален и Лукиан.

6. *Идеи Платона*: Платон учил об идеях как логических субстанциях, оформляющих вещи, но существующих отдельно от них.

— *Числа Пифагора*: основоположник древнегреческой математики Пифагор (571—497 гг. до н. э.), считал первоначалами Вселенной числа, порождающие и оформляющие, по Пифагору, вещи. Идеальным первоначалом — принципом оформления вещей — считалась единица.

— *Качества Аристотеля*: Аристотель (см.) учил о качестве как о третьей из десяти категорий, сущностью и назначением которой является завершение формы вещи.

7. *Новый метод рассуждения* Декарта — сомнение, с помощью которого можно опровергнуть предрассудки и прийти к установлению достоверной истины.

8. Бессмертной древнегреческой трагедии в лице трех ее крупнейших представителей — Эсхила (525—456 гг. до н. э.), Софокла (497—406 гг. до н. э.) и Еврипида (485—406 гг. до н. э.) — римская литература действительно ничего не может противопоставить. Сохранившиеся фрагменты трагедий древнейших римских поэтов Ливия Андроника (III в. до н. э.) и Квинта Энния (II в. до н. э.) явно носят подражательный характер, а трагедии философа-стоика Луция Анея Сенеки Младшего (I в. н. э.), призванные иллюстрировать

философские тезисы автора, нельзя сравнить по их художественным достоинствам с великими древнегреческими образцами.

9. Относительно препятствий, мешающих большинству людей достичь величия, подробно, хоть и несколько наивно, пишет позднее Гельвеций в своей книге «Об уме» (Рассуждение III, гл. XXVII).

10. Век первого римского императора Октавиана Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.), сменивший пришедшую в упадок Римскую республику, был веком расцвета римской литературы (к этому времени относится творчество Вергилия, Горация, Овидия и других поэтов и прозаиков); Август покровительствовал поэтам, призванным прославлять «божественного цезаря».

11. В наше время такого рода повторение в развитии одного человека всего хода развития предшествующих поколений кратко определяется биологической формулой «онтогенез повторяет филогенез». Во времена, предшествовавшие веку Фонтенеля, подобное сопоставление мы находим в трудах Роджера Бэкона (XIII в.; «Opus maius», ч. I, гл. VI) и Фрэнсиса Бэкона («Новый органон», кн. I, гл. XXXIV).

12. Из перечисленных Фонтенелем произведений французского классицизма (трагедии «Цинна» Пьера Корнеля и «Ариана» его брата Томаса Корнеля, «Андромаха» Расина и «Мизантроп» Мольера) ни одно не может быть непосредственно сопоставлено по своему стилю и содержанию с трагедиями и комедиями классической древности; все они представляют собой типичное порождение классицизма со всеми вытекающими отсюда следствиями и условностями. Оценка Фонтенеля в данном случае субъективна и связана с общей тенденцией его эссе. По-настоящему общими для древнегреческой и французской классицистической трагедии были сюжеты, черпавшиеся из мифологии и древней истории.

13. *Феаген и Хариклея* — главные персонажи романа «Эфиопика» Гелиодора (III—IV вв. н. э.).

— «*Клитофонт и Левкиппа*» — название романа Ахилла Татия (III в. до н. э.).

— «*Кир*» — роман м-ль де Скюдери.

— «*Астрейя*» — см. прим. 7 к «Вечеру первому» «Рассуждений о множественности миров».

— «*Заида*» — так же как и «Принцесса Клевская» (см. прим. 1 к «Предисловию» «Рассуждений о множественности миров»), роман Мари Мадлен де Лафайет.

14. «*Искусство поэзии*» («L'art poétique») — сочинение Буало (1636—1711), посвященное установлению канонов и норм французской поэзии; позднее свод этих канонов и следование им в литературе получило название псевдоклассицизма.

15. Аристотель был канонизирован Фомой Аквинским и другими схоластами, возводившими все некогда сказанное Аристотелем в ранг непререкаемой истины. Критике этого омерщвленного, схоластизированного аристотелизма посвящено большое сочинение Пьера Гассенди (1592—1655) «Парадоксальные упражнения против аристотеликов, в которых потрясаются главные основы перипатетического

учения...»; книга эта была серьезным ударом по католическим догмам.

16. «Рассуждение об эклоге» — второй из очерков (эссе), опубликованных Фонтенелем в его книге «Poésies pastorales».

О происхождении мифов

«De l'origine des fables». Время написания этого небольшого очерка спорно. Впервые он был опубликован в парижском издании сочинений Фонтенеля 1724 г. Поскольку по своим идеям очерк «О происхождении мифов» как бы примыкает к «Истории оракулов», некоторые современные исследователи (Мегрон и др.) склонны считать его предисловием к этой последней, написанным тогда же, когда и она, то есть в 1886 г. Несмотря на малый объем, сочинение это очень значительно по своему идейному составу, так как в нем дана четкая теория возникновения мифов на почве невежества людей и незрелости общественных отношений.

В переводе на русский язык сочинение это публикуется впервые.

1. Фонтенель высказывает здесь мысль (позднее получившую завершение у Маркса) о том, что мифология древних народов — это плод их невежества, делавшего их беспомощными перед силами природы.

2. *Кафры*, или кафиры (арабск. kafir — «неблагодарный», «неверный»), — название, дававшееся арабами начиная с VII в. н. э. всем немагометанам, «язычникам». В более узком смысле кафрами называли раньше ряд негрских племен — ксоза, зулу и др., — принадлежащих к лингвистической группе банту (восточная часть Южно-Африканской Республики).

— *Лапоны* — см. прим. 5 к «Отступлению по поводу древних и новых».

— *Ирокезы* — группа североамериканских индейцев, в эпоху колонизации европейцами Сев. Америки обитавшая в районе Великих Озер. В настоящее время ирокезы сохранились только в резервациях.

3. Этот эпизод — из «Илиады» Гомера (V, 846—863).

4. Фонтенель имеет здесь в виду античных историков-биографов, таких, как Плутарх, Светоний и др.

5. *Стикс и Ахеронт* — согласно греческим мифам, реки в подземном царстве — Аиде.

6. Такое суждение о финикийском и египетском языках — результат неизученности их во времена Фонтенеля. Сложная семантика не меньше является свойством древнегреческого и ряда европейских языков.

7. *Оракул Додоны*: Додона — город в центре Эпира (сев. часть Древней Греции), со священной дубравой и оракулом Зевса.

8. Здесь имеется в виду миф о путешествии в Колхиду аргонавтов (моряков корабля Арго) под предводительством Ясона с целью добыть золотое руно.

9. *Qui pro quo* — лат. выражение, ставшее ходовым и означающее букв. «одно вместо другого», то есть «недоразумение».

Сомнения по поводу физической системы окказионализма

«*Doutes sur le système physique des causes occasionelles*» — это сочинение опубликовано Фонтенелем в 1886 г. в Роттердаме.

Окказионализм — реакционное, связанное с теологией философское учение, сложившееся во второй половине XVII в. на базе Декартовой метафизики, точнее той ее части, которая тяготеет к догмату о боге как первопричине всего сущего. Виднейшим представителем этого учения был Мальбранш. Окказионализм отрицает существование естественных причин, считая единственной причиной всего божественную волю. Толчок, происходящий при встрече двух тел, и изменение их движения трактуются, таким образом, окказионализмом не как причина изменения движения двух тел, а как случайный повод (*occasio*) к этому изменению.

Никола Мальбранш (1638—1715), французский философ, член конгрегации ораторианцев, один из последних великих метафизиков XVII в. (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 156), пытался устранить картезианский дуализм путем объединения учения Декарта с учением св. Августина, философии с религией, рационализма с мистикой. Выступая против мистификации законов движения тел, Фонтенель развивает материалистическую теорию движения, основанную на физических учениях его времени.

На русском языке сочинение это публикуется впервые.

1. *Pro u contra* (лат.) — «за» и «против».

2. Автор этих «Размышлений» — аноним; им был, по выражению Бейля, некий «ревностный мальбраншист». Правда, позднее Бейль приходит к мысли, что этим анонимом был сам Мальбранш (см. J.-P. Carré. *La philosophie de Fontenelle*., p. 261, 262).

3. Автор этих «Размышлений» также аноним.

Фрагменты трактата о человеческом разуме

Этот труд, опубликованный посмертно в Собрании сочинений Фонтенеля 1758 г., остался незавершенным. В настоящее издание с небольшими сокращениями включены три больших фрагмента: первый — под общим заголовком, второй «О познании человеческого ума» и третий «Об инстинкте». Последний фрагмент был найден после смерти Фонтенеля как отдельный небольшой трактат, но

по своему содержанию он тесно примыкает к первым двум. В этом сочинении Фонтенель склоняется к теории разума, характерной для современных ему школ сенсуализма.

Фрагменты содержат рассуждения автора о границах человеческого познания и возможности познания бесконечности. Последний вопрос решается автором в отрицательном смысле. Относительно бесконечности возможно лишь недоказуемое предположение.

На русском языке «Фрагменты» публикуются впервые.

1. Слово «беф» — «дом» по-древнееврейски.

2. Утверждение это принадлежит далеко не всем античным философам. Подробно сенсуалистическая теория познания разработана Платоном в диалоге «Теэтет» (186 а — 195 а). Там же содержится знаменитый образ ума — восковой дощечки, в которой запечатлеваются наши ощущения, — использованный впоследствии Локком в его полемике против теории врожденных идей.

3. Поскольку такие числа все-таки возможны, ибо ими будут все числа между 0 и 1, ясно, что Фонтенель здесь имеет в виду лишь натуральные (целые положительные) числа.

4. Фонтенель полемизирует здесь с теорией Декарта и его последователей, согласно которой животные — это машины, полностью лишенные разума. Автоматизм («инстинкт») животных резко противопоставлялся ими разумному поведению человека. Эта теория в конечном счете приводила картезианцев к признанию бессмертия «разумной души» человека. Фонтенель в данном случае стоит на точке зрения Монтеня, утверждая: «То, что не может происходить машинально в мозгу человека, не может происходить машинально и в мозгу собаки... Следовательно, животные думают и ни в коей мере не являются машинами». На той же точке зрения стояли Шаррон и философы-сенсуалисты Гассенди, Локк и их последователи. Парадоксальным предомлением этой точки зрения явился вопрос: а не является ли, наоборот, человек машиной, подобно животным? Идею автоматизма животных резко опровергали такие последователи Гассенди, как Лафонтен, мадам Севинье и др.

Указатель имен

Август, Октавиан

(63 г. н. э. — 14 г. н. э.),

первый римский император — 180, 185, 194

Александр Великий (Македонский),

царь Македонии (IV в. до н. э.), сын Филиппа II Македонского, завоеватель многочисленных восточных земель, покоритель Эллады — 28, 114, 145, 161, 162

Анакреонт

(середина VI в. до н. э.),

греческий лирический поэт, изящный «певец любви», славивший в своих стихах Афродиту и Вакха — 27, 186

Антигон (царь),

полководец Александра Македонского, позднее — правитель Передней Азии, в том числе Сирии. Первый из диадохов принял царский титул, чем подал пример к созданию царских династий остальным правителям Александра. Был от природы крив на один глаз, за что получил прозвище Циклоп (или Одноглазый). Убит в 301 г. до н. э. в битве при Ипсе коалицией противников, оспаривавших у него власть над Передней Азией — 41

Антиох (царевич):

имя «Антиох» носили тринадцать царей эллинистической Сирии. Родоначальником династии был Селевк Никатор, сначала полководец Александра Великого, затем правитель Сирии. Здесь речь идет о его сыне, в дальнейшем — царе Антиохе I, прозванном после покорения Галлии Сотер (Спаситель). Умер в 261 г. до н. э. — 36

Апиций, Марк Габий,

знаменитый римский гурман, любитель тонких блюд и кутила времен императоров Августа и Тиберия; вошел как таковой в пословицу у римских авторов. Расточил свое состояние и принял яд из страха умереть голодной смертью — 51

Ариосто, Лодовико

(1474—1533),

поэт раннего Ренессанса, автор поэмы «Неистовый Роланд» — 101, 102, 103

Аристид,

афинский общественный деятель эпохи греко-персидских войн, аристократ, стоявший на умеренно демократических позициях и славившийся своей неподкупной честностью — 33, 34

Аристотель

(384—322 гг. до н. э.),

великий древнегреческий философ, ученик Платона, выступивший с критикой его учения об идеях, создатель перипатетической школы философии. Во время Македонского владычества в Греции был приглашен к македонскому двору и долго жил там в качестве воспитателя Александра (см.) — 27, 77, 81, 145, 177, 187

Аристофан

(ок. 466—395 гг. до н. э.),

знаменитый древнегреческий комедиограф, создатель жанра древнеаттической комедии и самый блестящий ее представитель. Творчество Аристофана до настоящего времени продолжает оказывать влияние на гротескно-комедийную литературу: влияние это заметно и в «Мистерии-буфф» Маяковского и в сатирах Брехта — 186

Арно, Антуан

(1612—1694),

картезианец и янсенист (последователь Корнелия Янсена, учение которого тяготело к кальвинизму); при его участии был создан картезианский учебник логики, получивший название «Пор-Рояль», по имени женского монастыря, основанного в 1204 г. неподалеку от Парижа; в 1625 г. главная резиденция была перенесена в Париж. Настоятельница монастыря в это время была сестра Арно, Анжелика, вместе с братьями превратившая Пор-Рояль в центр французского просвещения XVII в. Здесь жил и писал Б. Паскаль, трудились и другие выдающиеся люди века. Позже Людовик XIV, встав на сторону иезуитов в их борьбе с янсенистами, закрыл Пор-Рояль. История Пор-Рояля неразрывно связана с историей французской литературы и философии XVII—XVIII веков — 202, 203, 206

Артемисия,

правительница малоазийской области Кари, сестра и жена Мавзола, воздвигшая после его смерти знаменитый Мавзолей — усыпальницу, в которой был захоронен прах ее мужа. Мавзолей причислялся в древности к семи чудесам света — 48

Архимед

(287—212 гг. до н. э.),

великий древнегреческий математик; большую часть своей жизни проживший в Сиракузах. Основное направление его занятий математикой и механикой — прикладное. В числе других изобретений Архимеду приписывается создание водяного винта — 176

Вергилий Марон, Публий

(70—19 гг. до н. э.),

римский поэт, автор поэм «Энеида», «Буколики» («Эклоги») и «Георгики» — 46, 71, 180, 181, 182

Галилей, Галилео
(1564—1642),

великий итальянский физик и астроном, один из основателей точного естествознания Нового времени. Благодаря изобретению телескопа Галилею открылась совершенно новая и неожиданная картина мира (удаленность звезд, сложность Млечного Пути, спутники Юпитера, солнечные пятна, строение лунной поверхности) — 51

Гарвей, Уильям
(1578—1657),

английский врач и физиолог, выдающийся естествоиспытатель XVII в. Ему принадлежит открытие системы кровообращения, лежащей в основе современного учения о кровообращении. Он первый высказал мысль (которую и доказал) о том, что в теле живых существ постоянно циркулирует одно и то же, сравнительно небольшое, количество крови. Он также дал пример строгих экспериментальных исследований. Гарвей является подлинным основателем современной физиологии — 35

Герострат,

разрушитель храма Артемиды в Эфесе, навеки заслуживший себе дурную славу. Свой «подвиг» Герострат совершил в 356 г. до н. э., в ночь рождения на свет Александра Великого; эфесский храм был сожжен, остались лишь стены и колоннады. Побудительными мотивами этого преступления было стремление любой ценой увековечить свое имя. Решением ионийских городов Герострат был казнен, однако постановление о предании вечному забвению его имени и запрет произносить это имя вслух не могли осуществиться — 37, 38, 39

Гомер
(прибл. XII—XI вв. до н. э.),

великий творец древнегреческого эпоса, автор поэм «Илиада» и «Одиссея»; по преданию, слепой — 30, 172, 173, 180, 181, 184, 185, 192

Гораций Флакк, Квинт
(65—8 гг. до н. э.),

римский поэт «золотого века» (эпохи Августа). Автор стихотворных сатир, од, эподов, посланий — 180

Декарт, Рене
(1596—1650),

великий французский философ-дуалист, физик и математик — 62, 78, 131, 179, 190, 204, 205, 206

Деметрий Полиоркет,

сын Антигона, одного из диадохов («преемников») Александра Македонского. Мужество и большой полководческий талант соседствовали в нем с честолюбием и вспыльчивостью. Он первый пустил в ход

новые осадные орудия, чем и заслужил прозвище Полиоркет («заоеватель городов»). В 307 г. до н. э. освободил Афины из-под власти Кассандра, сына Антипатра, приближенного царя Филиппа II, ставленником которого в Афинах был Деметрий Фалерский (см.). Умер Деметрий Полиоркет в 283 г. до н. э. в Сирии — 38, 40

Деметрий Фалерский,

ученик философа Теофраста, правивший Афинами с 317 по 307 г. до н. э. Правление его считалось временем расцвета Афин впервые после начала македонского владычества. Тем не менее Деметрий Фалерский был в 307 г. до н. э. отстранен от власти другим Деметрием, Полиоркетом (см.), и даже приговорен афинским народом к смерти; бежал в Александрию к царю Птолемею Лагу, при котором остался советником. Умер в 283 г. до н. э., по преданию, от укуса змеи — 37

Демосфен,

великий древнегреческий оратор, глава антимакедонской партии в Афинах (IV в. до н. э.); особенно прославился своими политическими речами против царя Македонии Филиппа II («филиппики») — 172, 173, 180, 181

Еврипид

(V в. до н. э.),

великий древнегреческий трагический поэт, родоначальник европейской речевой (нехоровой) драмы — 186

Зенон (из Китиона на Кипре),

современник Эпикура (жил в III в. до н. э.), основатель стоической школы философии — 45

Кассини, Джованни Доменико

(Жан Доменик, 1625—1712), выдающийся астроном, с 1671 года — первый директор Парижской обсерватории. Открыл вращение и сплюснутость Юпитера, вращение Марса, четырех спутников Юпитера и темную полосу в кольце Сатурна («щель Кассини»). Несмотря на эти и другие основополагающие открытия, разделял грубейшие заблуждения своего времени — отрицал закон тяготения Ньютона и учение Коперника — 100

Катон Утический:

Марк Порций Катон Младший, правнук Катона Цензора, жил в 95—45 гг. до н. э. В юности участвовал в подавлении восстания Спартака. Как политический деятель был суров и непреклонен. Позднее выступил как ярый противник Юлия Цезаря и после разгрома Помпея, сторонником которого он был, покончил самоубийством в африканском г. Утике — 141

Колумб, Христофор
(1451—1506) —

105, 138

Константин (I),
римский император в 306—337 гг. н. э. — 102

Коперник, Николай,
создатель гелиоцентрической системы, родился в 1473 г. в Торине (Польша), умер в 1543 г. в Фрауенбурге (Вост. Пруссия) — 82, 83, 84, 89, 92

Корнель, Пьер
(1606—1684),
великий французский драматург, создатель классицистической трагедии. Наряду с идеалами абсолютизма в эпохальной трагедии Корнеля «Сид» явно проступают тенденции Фронды. Племянник Корнеля Фонтенель воспринял в своем творчестве — литературном и философском — именно эту тенденцию творений своего великого дяди — 68

Лжедимитрий Третий,
по-видимому, третий Лжедимитрий — вымысел Фонтенеля либо результат ложной молвы, распространившейся в Европе после авантюристических попыток двух Лжедимитриев занять русский престол — 62

Мавзол
(IV в. до н. э.),
тиран Галикарнасса (см. *Артемисия*) — 49, 51

Мальбранш, Никола
(1638—1715),
французский философ-метафизик — 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 217, 231, 233, 235, 239

Манко Гвина Капак,
легендарный вождь инков — 198

Микельанджело, Буонаротти
(1475—1564),
гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, крупнейший представитель художественной культуры Ренессанса. Творчество Микельанджело — одна из вершин в развитии мирового искусства как по глубине и разносторонности содержания, так и по совершенству формы.

В Риме и во Флоренции он постоянно соприкасается с Рафаэлем (см.), и между этими двумя великими художниками возникает невольное соперничество, обусловленное также разницей в творческом стиле. В отличие от возвышенной безмятежности творений Ра-

фаэля в работах Микельанджело с годами все сильнее проступает трагическое мироощущение. Об этом ясно свидетельствуют поэтические строки, как бы вложенные им в уста одного из своих величайших творений — фигуры Ночи на гробнице Лоренцо и Джулиано Медичи:

Мне любо спать, а пуще быть скалой,
Когда царят позор и преступленье,
Не чувствовать, не видеть — облегченье.
Умолкни ж, друг, не трогай мой покой — 55

Мольер, Жан Батист Поклен
(1622—1673),

великий французский комедиограф, старший современник Фонтенеля — 58

Монтень, Мишель Эйкем
(1533—1592),

французский философ и писатель, родоначальник эссеизма (главное его сочинение — «Essais» [«Опыты»]) — литературно-философского жанра размышлений над конкретными историческими фактами прошлого и настоящего, бытом и нравами людей самого различного положения. «Опыты» Монтеня явились результатом размышлений над состоянием современного Монтеню французского общества, волнуемого в ту пору религиозными и гражданскими войнами. Для «Опытов» характерно широкое вольнодумство и своеобразный гуманистический скептицизм. Монтень подвергает всесторонней критике нравственные устои цивилизованного общества, противопоставляя ему примитивный мир дикарей, жизнь которых строится по естественным законам. Монтень оказал большое влияние на Фонтенеля, особенно в ранний период творчества последнего — 32

Овидий Назон, Публий
(43 г. до н. э. — 18 г. н. э.),

римский поэт «золотого века». Его поэма «Искусство любви» — шутовская пародия на дидактический эпос, сочетающая крайне легкомысленное содержание с дидактическим тоном — 71, 199

Парацельс —

псевдоним знаменитого швейцарского врача и естествоиспытателя Теофраста Гогенгейма (1493—1541). Парацельс изучал алхимию в Базеле и стал там в 1526 г. главным городским врачом. Одновременно он читал лекции в университете. Проявил себя как новатор в области естествознания и медицины, выступив против схоластической мудрости и сделав ряд важных научных открытий, основанных на эксперименте. Это не мешало ему оставаться в плену мистических представлений и верить в чудеса магии. Впервые в истории подошёл к жизни как к химическому процессу, Парацельс в то же время считал всю природу одушевленной и стоял на позициях панпсихизма — 58

Пармениск,

пифагореец из Метапонта — 40

Перикл

(V в. до н. э.),

вождь демократической партии в Афинах, позднее — бессменный правитель Афин с 443 по 429 г. до н. э., т. е. до начала Пелопоннесской войны, когда после первых двух лет этой войны он был смещен с должности стратега, а затем умер во время эпидемии. Время Перикла было принято считать «золотым веком» афинской демократии — 33, 34

Пиндар

(518—442 гг. до н. э.),

древнегреческий лирический поэт, автор эпиникиев — торжественных од в честь победителей на состязаниях — 180, 181

Пифагор

(571—497 гг. до н. э.),

древнегреческий философ-мистик и математик, основатель южно-италийского религиозно-политического союза — 77, 177

Платон

(427—347 гг. до н. э.),

великий древнегреческий философ-идеалист — 48, 77, 172, 173, 177

Поликлет,

прославленный древнегреческий скульптор (середина V в. до н. э., классический период). Главный скульптурный сюжет Поликлета — статуи атлетов (например, знаменитая статуя Дорифора) — 55

Птолемей, Клавдий

(II в. н. э.),

знаменитый египетский математик, географ, астроном, создатель геоцентрической системы мира, пользовавшейся всеобщим признанием в европейской науке до появления гелиоцентрической системы Коперника — 80

Раймонд (Раймунд) Луллий

(1235—1315),

средневековый философ, теолог и мистик. Наибольшую известность ему доставило сочинение «Всеобщее искусство», описывающее мистический метод разрешения научных задач без их предварительного изучения. «Всеобщее искусство», по Луллию, — это система наивысших самоочевидных принципов, изображенная им в виде вращающихся концентрических кругов. Система эта привлекала внимание философов-идеалистов средних веков и Нового времени — 48

Рафаэль Урбинский, Санти

(1483—1520),

великий итальянский художник, представитель Высокого Ренессанса, родился в г. Урбино. В лучших своих работах Рафаэль изображает подлинных людей своего времени, целостных, разносторонних и пре-

красных. Представители академического направления в живописи подчеркивали в мастерстве Рафаэля идеальность образов, их «вне-временность», приподнятость над всем «низменным». Но если непредвзято подойти к творчеству Рафаэля, то станет понятным, что его безмятежно-спокойная, классическая манера была призвана воплотить те же гуманистические идеалы Возрождения, которые волновали и Микельанджело — 54

Сенека, Луций Анней Младший
(4 г. до н. э. — 65 г. н. э.),

знаменитый римский философ-стоик. Был наставником императора Нерона, который впоследствии обвинил его в заговоре, что заставило Сенеку покончить жизнь самоубийством. Свои взгляды он изложил в сочинениях «Письма к Луцилию», «Вопросы естествознания» и «Утешения» («Consolationes»), а также в специальных моральных трактатах.

Этика Сенеки противоречива: в ней соседствует активное отношение к жизни с «невозмутимостью» мудреца. Сенека утверждает естественное равенство людей (что очень важно для философской концепции Фонтенеля), пренебрежение материальными благами и даже жизнью во имя высвобождения духовного начала человека — 45

Скаррон, Поль
(1610—1660),

французский поэт, романист и драматург, выходец из буржуазно-чиновничьей среды. Ему принадлежат бурлескные стихи («Rescueil de quelques vers burlesques», 1643) и поэмы-трагедии «Тифон, или Гигангомахия» и «Перелицованный Вергилий», утвердившие его как создателя нового жанра в европейской литературе — бурлеска. Самую большую славу Скаррону принес «Комический роман» (1651—1657), который не был закончен; конец (третью часть) написал в 1678 г. д'Офре. Продолжая в этом романе борьбу с эстетикой галантных и пасторальных романов, Скаррон развернул в нем широкое полотно быта и нравов Франции первой половины XVII в.

Скаррону принадлежат также многочисленные пародии испанской комедии «плаща и шпаги» и других современных ему сюжетов и жанров. Острый, сочный народный язык, широкое вольнодумство были характерными чертами творчества Скаррона — 45, 46

Сократ
(469—399 гг. до н. э.),

великий древнегреческий мудрец, учитель Платона. Будучи по роду своих занятий софистом («учителем мудрости»), Сократ, однако, беседуя со своими учениками на нравственно-философские темы, не брал с них в отличие от софистов платы, объясняя свое учительство заботой о нравственном состоянии афинского общества. Платон сделал Сократа главным действующим лицом почти всех своих диалогов (кроме поздних «Законов») — 32, 33

Софокл
(V в. до н. э.),

великий древнегреческий трагический поэт, автор трагедий афинского «золотого пятидесятилетия» — 186

Стратон,

житель города Тира, спасенный во время восстания рабов своим рабом и возведенный за удачную выдумку в царский сан — 54

Стратоника,

мачеха Антиоха (см.), жена Селевка Никатора, дочь Деметрия Полиоркета (см.). Когда врачи установили причину болезни Антиоха, Селевк отдал ему в жены свою супругу и дал ему в управление все земли по ту сторону Евфрата, причем Антиох еще расширил свои азиатские владения до Геллеспонта — 36

Тит Ливий

(59 г. до н. э. — 17 г. н. э.),

автор монументальной «Римской истории» в 142 книгах, охватывающей период от основания Рима до века Августа (см.). До нас дошли 1—10-я и 21—45-я книги. Тит Ливий не только повествователь, но и большой художник — 180, 182

Тихо Браге

(1546—1601),

знаменитый датский астроном — 91, 136

Феокрит

(III в. до н. э.),

древнегреческий поэт, представитель буколического жанра. Здесь сравнивается с Вергилием как автором «Буколик» — 180

Феокрит Хиосский

(IV в. до н. э.),

оратор и поэт-эпиграмматист, современник Александра Македонского, сторонник антимакедонской партии, казненный приближенным Филиппа и Александра Антигоном (см.) — 40, 180

Фидий

(V в. до н. э.),

знаменитый афинский скульптор, художник и архитектор. Творчество Фидия считалось идеалом классического искусства. Фидий творил во времена Перикла (см.) и рассматривается обычно как выразитель идеологии афинской демократии «золотого века» — 55

Фокион,

видный афинский стратег и общественный деятель периода македонского владычества; сторонник македонской ориентации — 33, 34

Хрисипп

(прибл. 281—208 гг. до н. э.),

представитель Древней Стои. По сообщению Диогена Лаэртция, был автором 705 книг. Дал законченное изложение стоической философии и считается вторым после Зенона из Китиона (см.) основателем школы — 45

Цезарь, Юлий
(I в. до н. э.),

римский диктатор, положивший начало превращению Древнего Рима из республики в империю — 155

Цицерон, Марк Туллий
(106—43 гг. до н. э.),

знаменитый римский оратор последнего века Республики, автор сочинений по теории ораторского искусства и двенадцати философских трактатов, написанных, как правило, в форме диалога. Цицерону принадлежит заслуга создания латинской философской терминологии и утверждения пригодности латинского языка для выражения философских понятий — 68, 69, 180, 181, 182, 192

Эзоп
(середина VI в. до н. э.),

знаменитый древнегреческий баснописец, раб по происхождению, фригиец. Родоначальник европейского басенного жанра, использующего фольклорные сюжеты, народного по самой своей сути. «Эзоповский язык» стало нарицательным выражением для всякого рода аллегории, особенно политической. В баснях Эзопа действуют, как правило, всевозможные звери, принадлежащие как европейской фауне, так и азиатской. Участие в эзоповских баснях таких животных, как слон, обезьяна, верблюд, крокодил, попугай, указывает на заимствование этих сюжетов из Египта, Ливии или Индии. В новое время сюжеты басен Эзопа использовались Лафонтеном и Крыловым — 30

Эразистрат
(первая половина II в. до н. э.),

знаменитый александрийский врач и анатом. Объяснял явления жизни в соответствии с уровнем античной медицины механистично, считая, что кровь и пневма перемещаются по сосудам и нервам в другие места тела в силу «боязни пустоты». Однако Эразистрату принадлежат открытия разницы между сосудами и нервами и первое правильное описание строения сердца, его клапанов, а также печени, желчных протоков и т. д. — 35

Мифологические и библейские имена

Адам (библ.) — 72

Аполлон (миф., греч. и римск.),
бог искусств, предводитель Муз — 42

Вакх (миф., греч. и римск.),
эпитет Диониса, бога виноградной лозы, вина и плодородия — 55

Геракл (миф., греч.; римск. — Геркулес)

сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Излюбленный герой древнегреческой мифологии, обладавший сверхъестественной силой и совершивший множество подвигов во имя благополучия и безопасности людей — 167

Дедал (полумиф.),

знаменитый древнегреческий изобретатель, сделавший себе и своему сыну Икару искусственные крылья из перьев для перелета через море. Но Икар поднялся слишком высоко, солнце расплавilo воск, скреплявший перья, он упал в море и погиб — 195

Диомед (гомер.),

греческий герой, сражавшийся под Троей — 31, 192

Иисус Христос (еванг.),

как человек в Новом завете — 206

Иоанн (св.; еванг.) — 101, 102

Иуда (еванг.) — 196

Марс (миф., римск; греч. — Арес),

бог войны — 31, 192

Латона (миф., римск.; греч. — Лето),

жена Зевса, мать Аполлона и Артемиды (богини-охотницы) — 42

Нептун (миф., римск.; греч. — Посейдон),

бог морской пучины, океана — 43

Орфей (миф., греч.),

певец и автор лирических гимнов, по преданию, погибший от рук вакханок. С именем Орфея связаны древние таинства («орфические») и учение о переселении душ (орфизм) — 198

Парка (миф., римск.; греч. — Мойра),

богиня судьбы — 29

Сет (Сетх; миф., древнеегипетск.),

божество, почитавшееся главным образом на юге Египта. Согласно мифам, брат и соперник бога плодородия Осириса, коварно убивающий его и преследующий его жену Исиду. В более поздней греко-римской традиции Сет выступает как бог зла. Здесь отождествляется Фонтенелем с богом Луны Тотом (Тевтом), почитавшимся в Древнем Египте в качестве покровителя наук — 188

Трофоний,

божество, в честь которого был учрежден оракул в Беотии — 41, 43

Фазтон (миф., греч.),
сын бога Солнца — Гелиоса — 77, 78

Юнона (миф., римск.; греч. — Гера),
жена Юпитера — 31, 195

Юпитер (миф., римск.; греч. — Зевс),
царь богов, повелитель Олимпа — 31, 195

Содержание

5	У истоков французского Просвещения XVIII в.
27	Диалоги мертвых древних и новейших лиц
65	Сообщение об острове Борнео
68	Рассуждения о множественности миров
172	Отступление по поводу древних и новых
188	О происхождении мифов
202	Сомнения по поводу физической системы окказионализма
248	Фрагменты трактата о человеческом разуме
272	Примечания
288	Указатель имен

Фонтенель Бернар

Ф78 Рассуждения о религии, природе и разуме. Отв. ред. тома и авт. вступит. статьи Х. Н. Момджян. Сост., пер., авт. примеч. и указ. имен С. Я. Шейнман-Топштейн. М., «Мысль», 1979.

300 с. (Науч.-атеист. б ка).

В книгу вошел ряд впервые издающихся на русском языке сочинений французского писателя, зачинателя движения французских просветителей XVIII в. Бернара Фонтенеля. Автор этих сочинений с материалистических позиций опровергал учение о врожденных идеях и божественном вмешательстве в законы природы; критикуя язычество, он одновременно ставил под сомнение догматы христианской религии.

Ф 10509-142
004(01)-79 БЗ-16-31-79.

29

Б. Фонтенель

Рассуждения
о религии,
природе
и разуме

Заведующий редакцией

В. М. Прокопенко

Редактор

Н. Е. Цветков

Младший редактор

Е. Н. Лукашина

Оформление серии художника

А. А. Кузнецова

Художественный редактор

Е. М. Омеляновская

Технический редактор

Л. В. Барышева

Корректор

З. Н. Смирнова

Сдано в набор 22.04.78. Подписано
в печать 31.10.78. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 1. Лите-
раатурная гарнитура. Высокая пе-
чать. Усл. печатных листов 15,96.
Учетно-издательских листов 16,48.
Тираж 40 000 экз. Заказ № 1922.
Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Мысль». 117071.

Москва, В-71,

Ленинский проспект, 15

Ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знаме-
ни Ленинградское производственно-
техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союз-
полиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам из-
дательства, полиграфии и книжной
торговли 197136, Ленинград, П-136,
Гатчинская, 26.

В 1975 г. в издательстве вышла первая книга новой серии «Из истории свободомыслия и атеизма» — «Поль Гольбах — критик религиозных догматов» (авторы И. Б. Акулов, О. П. Малюк). В 1978 г. — книга А. С. Колесникова «Свободомыслие Бертрانا Рассела».

В 1979 г. издательство предлагает читателям:

Ям К. Е. **Жан Мелье и французский атеизм XVIII в.** — 1979—8 л. — (Из истории свободомыслия и атеизма). — 30 к. 46 000 экз.

Философ-материалист, основоположник французского утопического социализма, Ж. Мелье (1664—1729) сделал воинствующий атеизм орудием борьбы против социального неравенства, угнетения и эксплуатации. Глубокое понимание связи общественного неравенства и религии привело его к отрицанию частной собственности и подтвердило теоретическую и историческую связь коммунистических учений с конкретными формами материализма, диалектики и атеизма.

Обстоятельный анализ атеистического наследия Мелье предпринят впервые. Особый интерес представляет глава, в которой раскрывается сущность социальной программы Мелье, включающей уничтожение религии и ликвидацию имущественного неравенства путем народной революции.

Книга интересна как для философов, историков религии и атеизма, так и для широкого круга читателей.

Уважаемые читатели!

Книгу можно приобрести во всех магазинах общественно-политической литературы или заказать через отделы «Книга — почтой» местных книготоргов.